

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

3

МАЙ-ИЮНЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Е.В. Падучева (Москва). Имперфектив отрицания в русском языке	3
А.В. Архипов (Москва). К типологии комитативных конструкций. Часть II. Полисемия комитативных конструкций	22
Г.С. Старостин (Москва). Согласовательные классы и способы выражения множественного числа в языке !хонг	51
В.Л. Васильев (Великий Новгород). О проблеме древнебалтийского топонимического наследия на Русском Северо-Западе	76
Ж. Багана (Белгород). Локальные преобразования французской лексики на африканском континенте	95

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Д.В. Сичинава (Москва). Синонимия грамматических показателей: теоретические подходы лингвистики XX–XXI веков	104
Ж.В. Ганиев (Москва). Об адекватном описании русского нормативного произношения (в соответствии с учением акад. Л.В. Щербы)	121

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

К.Г. Красухин (Москва). Passivization and typology: Form and function	129
Г.И. Кустова (Москва). А. Мустайоки. Теория функционального синтаксиса: От семантических структур к языковым средствам	136
В. М. Алпатов (Москва). М.В. Панов. Труды по общему языкознанию и русскому языку	138
И.Б. Иткин (Москва). P. Garde. Le mot, l'accent, la phrase: Études de linguistique slave et générale	142

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

В.Б. Крысько (Москва). Международная научная конференция «А.И. Соболевский и русское историческое языкознание (к 150-летию со дня рождения ученого)»	151
В.В. Тимофеев (Москва). Международная конференция «Фонетика сегодня»	155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН,
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

© 2008 г. Е.В. ПАДУЧЕВА

ИМПЕРФЕКТИВ ОТРИЦАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Имперфектив отрицания принято описывать через правило «замены» совершенного вида на несовершенный в отрицательном контексте. Это описание не обладает достаточной объяснительной силой. В работе предлагается непосредственное толкование значения имперфектива в контексте отрицания. У отрицательного имперфектива различается два значения: одно редкое, контекстно обусловленное, синхронное, когда сочетание «не + глагол НСВ» обозначает длящееся состояние (*Он не читает мое письмо*); другое основное, ретроспективное (*Он не читал моего письма*). Для утвердительного контекста сходства и различия между ретроспективным имперфективом и перфективом хорошо известны. В работе показано, что в отрицательном контексте выбор между имперфективом в ретроспективном значении и перфективом определяется практически теми же факторами, что и в утвердительном.

1. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ И КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИМПЕРФЕКТИВУ ОТРИЦАНИЯ

До последнего времени господствующим в семантике и синтаксисе отрицательного предложения был трансформационный подход. В рамках этого подхода имперфектив (несовершенный вид), равно как и генитив, в контексте приглагольного отрицания считался своего рода следствием, сопровождающим – в обязательном или в необязательном порядке – переход от исходного утвердительного предложения к соответствующему отрицательному (а именно, к предложению, которое является «прагматически естественным» общим отрицанием исходного утвердительного [Borschev e.a. 2006]). Так, в [Падучева 1974: 149] рассматривается пример: отрицанием для (1.1а), с перфективом (т.е. совершенным видом) глагола, может быть как предложение (1.1б), с глаголом в имперфективе, так и предложение (1.1в), с перфективом, которое по смыслу почти неотличимо от (1.1б).

- (1.1) а. Иван *взял* с собой плащ или куртку;
 б. Иван ни плаща, ни куртки с собой не брал;
 в. Иван ни плаща, ни куртки с собой не взял.

Замена перфектива на имперфектив при отрицании обязательна разве что в повелительном наклонении или в модальном контексте (*возьми – не бери; надо взять – не надо брать*). Существенно, однако, что в контексте примера (1.2) имперфектив не возможен. Точнее, замена перфектива на имперфектив дала бы тут существенное изменение смысла предложения, после которого оно перестало бы вставляться в свой контекст:

- (1.2) Вятский губернатор *не принял* меня <, а велел сказать, чтоб я явился к нему на другой день в десять часов> (А.И. Герцен. Былое и думы).

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 08-04-00181а «Актантная структура глагола и отглагольного имени (на базе словарей экспертной системы «Лексикограф» и Национального корпуса русского языка».

Трансформационная модель хорошо вписывалась в традиции русской грамматики (в частности, в подходы к синтаксису, намеченные А.М. Пешковским) и существенно продвинула вперед соответствующую проблематику. Однако ей свойственна ограниченность.

Во-первых, помимо семантически общеотрицательных предложений, у которых есть исходное утвердительное, бывают семантически частноотрицательные [Падучева 1974: 151] – такие, как:

(1.3) Он неделю *не* умывался;

(1.4) Я три дня *не* садился за стол.

Для них понятие исходного утвердительного не имеет смысла; так, (1.3) ≠ ‘Неверно, что он неделю умывался’.

Во-вторых, даже для общеотрицательных предложений трансформационный анализ – не конец дела, поскольку он не описывает общих законов семантического взаимодействия отрицания с исходным видовым значением глагола. А без этого нельзя о б ъ я с н и т ь особенности семантики видовых форм в примерах (1.1)–(1.4).

Сейчас эту ограниченность можно преодолеть. В работе речь идет о ЧАСТНЫХ ВИДОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ имперфектива в контексте отрицания. Задача – понять, какие частные видовые значения имеет имперфектив в отрицательном предложении, и как семантически соотносятся друг с другом имперфектив и перфектив в этом контексте.

Рассматриваются только п а р н ы е глаголы (поскольку только для них может идти речь о в ы б о р е сов. или несов. вида в контексте приглагольного отрицания) и только прошедшее время.

От корреляции имперфектива отрицания с генитивом имени (которая видна уже в примере (1.1)) мы здесь отвлекаемся, принимая допущение, что скорее имперфектив влияет на выбор падежа, чем наоборот.

2. РУССКИЙ ВИД В ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. ГРАММАТИЧЕСКАЯ И ЛЕКСИЧЕСКАЯ АСПЕКТУАЛЬНОСТЬ

Один из важнейших процессов в лингвистике последних лет, в котором мы являемся одними свидетелями, а другие даже участниками, – бурное развитие типологии, в частности, семантической типологии. В результате, семантика русского вида (и славянского вида в целом), которая еще недавно была предметом нашей национальной гордости и придавала славянским языкам уникальную неповторимость, теперь заняла скромное место в разветвленной системе видовых значений языков мира. Иначе говоря, представилась возможность изучения русского вида в т и п о л о г и ч е с к о й п е р с п е к т и в е.

Частные видовые значения русского имперфектива в утвердительном контексте основательно изучены [Маслов 1948; 1984; Рассудова 1968; 1982; Forsyth 1970; Бондарко 1971; Апресян 1980; Гловинская 1982; 2001; Падучева 1986; 1996; Tatevosov 2002 и др.].

Уже после первых работ Ю.С. Маслова стало ясно, что в формировании частного видового значения большую роль играют лексические факторы, и важно отличить собственно грамматическую семантику видовой формы от лексического значения глагола. Под влиянием Рейхенбаха пришло осознание того, что г р а м м а т и ч е с к а я аспектуальность – это, прежде всего, точка отсчета, которая порождает ПЕРСПЕКТИВУ, РАКУРС. Параллельно входила в обиход классификация Вендлера: стало видно, что л е к с и ч е с к а я аспектуальность – это, прежде всего, акциональный класс глагола.

В книге [Smith 1997] излагается так называемая двухкомпонентная теория вида, где четко противопоставлены два вида аспектуальности – *lexical aspect* и *viewpoint aspect*. Тут требуются уточнения (поскольку факторов не два, а больше), но роль *viewpoint* (т.е. ракурса, перспективы) как самого важного фактора собственно грамматического значения вида подтверждает идеи, высказывавшиеся по отношению к славянскому ви-

ду [Исаченко 1960; Кошмидер 1962; Маслов 1976; Падучева 1986], и потому работы Карлоты Смит привлекают к себе внимание.

Viewpoint aspect охватывает аспектуальные оппозиции, касающиеся различной временной позиции наблюдателя по отношению к одной и той же ситуации. Ср. пару *встать – вставать*: перфектив *встал* обозначает ситуацию целиком, на всем ее протяжении, в ретроспективе, или в ретроспективном ракурсе; а имперфектив *встает* (в его главном значении) представляет ту же самую ситуацию в синхронной перспективе, как наблюдаемую в один из моментов ее развития – в одной из ее срединных фаз. Термин МОМЕНТ НАБЛЮДЕНИЯ из [Гловинская 1982] соответствует нем. *BETRACHTZEIT* [Kratzer 1978]. Момент наблюдения противопоставлен МОМЕНТУ РЕЧИ. Момент наблюдения может совпадать с моментом речи, текущим моментом текста или какой-то иной точкой отсчета. Отсюда отличие вида, ВТОРИЧНОГО эгоцентрика (ср. ВТОРИЧНЫЙ ДЕЙКСИС по [Апресян 1986]), от времени, которое является ПЕРВИЧНЫМ ЭГОЦЕНТРИКОМ, поскольку ориентировано, в своем первичном значении, на момент речи [Падучева 1996: 285–296]).

У формы СВ ракурс *фиксирован* как ретроспективный – он таков во всех употреблениях. А у формы НСВ ракурс принципиально изменчив: синхронная перспектива является для формы НСВ главной, но не единственной. В центре нашего внимания будет противопоставление синхронного и ретроспективного ракурса, допускаемое формой НСВ [Падучева 1986]. (Перспективный ракурс, составляющий основу семантики буд. времени и повелительного наклонения, тоже семантически значим, но здесь не рассматривается.) Ракурс и служит источником различий и сходств в интерпретации форм СВ и НСВ. Заметим, что в работах самой Смит не усматривается разных ракурсов в семантике имперфектива в русском языке: предполагается, что ракурс только ретроспективный у СВ и только синхронный у НСВ.

Далее мы развиваем многокомпонентную концепцию вида, согласно которой частное видовое значение складывается из нескольких источников.

а. Грамматическая семантика вида

Итак, в русском языке две видовых формы – СВ и НСВ, перфектив и имперфектив, и главное противопоставление, которое выражается грамматической формой вида, – это перспектива, или ракурс. Перфектив, в своем основном значении, обозначает ситуацию «в ее целостности», целиком – а следовательно, в РЕТРОСПЕКЦИИ. Иначе говоря, перфектив предполагает, и в прош. и в буд. времени, ретроспективный момент наблюдения (т.е. ретроспективного наблюдателя), см. (2.1а). А имперфектив в его основном значении (в наст. времени) выделяет в ситуации ее СРЕДИННУЮ ФАЗУ – т.е. имеет СИНХРОННУЮ перспективу (синхронного наблюдателя). Это значение имперфектива СИНХРОННОЕ (термин «дуративное», см. [Плунгян 2000]), я не считаю удачным, поскольку он использовался в другом значении во многих работах, начиная с [Timberlake 1985]). Синхронность предполагает ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. Главная разновидность синхронного значения, для случая динамической ситуации, – это ПРОГРЕССИВ (иначе – АКТУАЛЬНО-ДЛИТЕЛЬНОЕ значение: *длительное* = *длящееся*; *актуально* = *перед наблюдателем*; всегда СИНГУЛЯРНОЕ), см. (2.1б). Мена перспективы даст РЕТРОСПЕКТИВНОЕ значение (так наз. ОБЩЕФАКТИЧЕСКОЕ), см. (2.1в):

- (2.1) а. Иван *повесил* карту;
б. <Когда я вошел,> Иван *вешал* карту;
в. Иван *вешал* ↘ эту карту.

Форма имперфектива имеет несколько значений: кроме основного, принадлежащего сфере ЛИНЕЙНОЙ (по [Плунгян 2000]) аспектуальности, имперфектив имеет значения из сферы КОЛИЧЕСТВЕННОЙ аспектуальности, в частности, значение ПОВТОРЯЮЩЕГОСЯ события (ИТЕРАТИВ), и его производные: УЗУАЛЬНОЕ (= ХАБИТУАЛИС) и

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ (= КАПАЦИТИВ). Совмещение пучка значений (синхронного сингулярного и нескольких итеративных) типично для имперфектива во многих языках.

Совмещение функций прогрессива и итератива в одной форме не удивительно – последовательность повторяющихся событий легко переходит в процесс. Отсюда общая сочетаемость:

- (а) Он все время *вскакивал* [итератив];
- (б) Он все время *сидел в углу* [процесс].

Сказанное позволяет представить систему грамматических значений имперфектива в следующем виде.



Рис. 1. Динамическая семантика грамматического значения имперфектива

Стрелки на рис. 1 обозначают семантические сдвиги, т.е. показывают, как одно значение «переходит» в другое (т.е. мотивирует другое). Обычно в значении меняется какой-то один компонент. Курсивом выделен компонент, который является результатом сдвига. В скобки заключается компонент, который утрачивает различительную силу. Суть компонента «приращение» не эксплицируется. Примеры значений 1–6 (отчасти из работ [Рассудова 1968; Маслов 1984; Гловинская 1982]).

- 1. ПРОГРЕССИВ: Когда я вошел в аудиторию, он *вешал* карту.
- 2. ИТЕРАТИВ: Почему ты все время *вскакиваешь*?
- 3. ОБЩЕФАКТИЧЕСКОЕ ИЗ ИТЕРАТИВА:
Ты когда-нибудь *вешал* ↗ эту карту? [= 'хоть раз']
Мы с вами *встречались* [= 'возможно, не один раз'].
- 4. ОБЩЕФАКТИЧЕСКОЕ ИЗ ПРОГРЕССИВА:
Ты ↗ *вешал* эту карту?
Я *встречался* с друзьями (ср. Я *встречаюсь* с друзьями в значении предстояния).
- 5. УЗУАЛЬНОЕ: Перед занятием он *вешает* карту.

б. ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ:

Хороший был слесарь – любые замки *чинил*;
А ты и на скрипке *играешь*?

Синхронное (и длящееся) значение имперфектива бывает только у ПРЕДЕЛЬНОГО глагола, см. (2.2а); МОМЕНТАЛЬНЫЙ глагол не обозначает действия, которое можно было бы рассматривать в синхронной перспективе. Термины «предельный» и «моментальный» глагол я использую как перевод на русский язык вендлеровских терминов «accomplishment» и «achievement».

О п р е д е л е н и е. ПРЕДЕЛЬНЫМ называется глагол, имеющий видовую пару, в которой НСВ способен употребляться в актуально-длительном значении.

Иными словами, предельным является глагол, допускающий, без изменения лексического значения, две перспективы – синхронную и ретроспективную.

Пример (2.2б) показывает, что для моментального глагола возможна только ретроспекция; так что предложение (2.2в), где форма наст. времени фиксирует синхронную перспективу, может быть понято только в хабитуальном значении или в значении предстояния:

- (2.2) а. Когда я вошел в аудиторию, он *вешал* карту [предельный глагол; синхронное значение НСВ];
б. Я *встречался* с приятелями [моментальный глагол; ретроспективное сингулярное значение НСВ];
в. Я *встречаюсь* с приятелями [хабитуальное динамическое или предстояние].

Итак, «общефактическое» значение (в сингулярном варианте; на рис. 1 это пункт 4) имеет два источника; оно может быть мотивировано: а) прогрессивом – когда контекст создает ретроспекцию, и б) итеративом – когда контекст обеспечивает сингулярность. Так что в семантике имперфектива линейная и количественная аспектуальность неотделимы одна от другой. Значение 3, поскольку оно итеративное и ретроспективное, является и итеративным (не сингулярным) и общефактическим (не синхронным). Важные наблюдения над общефактическими значениями русского имперфектива сделаны в [Гроенн 2004].

б. Лексически обусловленные частные видовые значения имперфектива

1. Значения, возникающие на базе прогрессива от не-динамических и моментальных глаголов:

– от ПОСТОЯННЫХ СВОЙСТВ или СООТНОШЕНИЙ:

Окна гостиницы *выходят* на юг [постоянно-непрерывное значение по [Бондарко 1971: 30]].

– от ОБОБЩЕННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ (generic states по Вендлеру):

Иван *выращивает* новый сорт пшеницы [континуальное значение];
Его жена *руководит* аспирантом.

– от МОМЕНТАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ:

- (2.3) а. Он *выигрывает*, Мы *опаздываем* [тенденция];
б. Вы *ошибаетесь*, Ты *рискуешь* [интерпретация поступка];
в. Итак, я *прихожу* к вам завтра в семь [предстояние, наст. время];
г. Его *осуждали* на пять лет, но тут вышел указ [предстояние, прош. время];
В 1980 году *исполнялось* столетие со дня рождения Блока;
На следующей неделе он *уходил* в отпуск.

2. Значения, возникающие на базе ретроспекции:

– от НЕПРЕДЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ:

<Где мои ключи?> Они *лежали* на столе; Вы искали комснданта? [общефактическое непредельное; по [Гловинская 1982] – нерезультативное]

– от ПРЕДЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ:

Я их однажды на Фонтанку *подвозил*; Я вас *предупреждал*; Он *показывал* мне ее фотографию; [общефактическое результативное]

– от РЕВЕРСИВНЫХ ГЛАГОЛОВ:

К тебе кто-то *приходил* (= 'пришел и ушел'); Ты *открывал* окно? [общефактическое реверсивное: результат был достигнут, но аннулирован противоположно направленным действием / событием]

– от глаголов ПОПЫТКИ, т.е. конативных:

Я *умолял* ее вернуться; Кто *решал* эту задачу? *Объяснял*, да не *объяснил*. [конативнос по [Бондарко 1971: 27]: действие не достигло / не обязательно достигло) цели]

Предельность в общем случае является свойством не глагола, а глагольной группы. Так, неисчисляемая ИГ-накопитель переводит предельный предикат в непредельный (*ловить бабочку* действие – *ловить бабочек* деятельность). То же касается числовых ИГ-накопителей¹, см. обзор по проблеме АСПЕКТУАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ (работы Х. Феркейла, М. Крифки, Д. Даути, Х. Филип, С. Татевосова и др.) в [Paducheva, Pentus 2008]. Так что утверждение о том, что предельность обусловлена лексически, надо понимать расширительно: на самом деле – лексико-синтаксически.

З а м е ч а н и е. Ю.С. Маслов, который ввел термин «общефактическое значение», применял его преимущественно к результативным употреблением имперфектива, как в (2.1в). Расширенное употребление термина «общефактическое значение» в [Апресян 1980; Гловинская 1982] привело к знаку равенства между терминами «общефактический» и «ретроспективный».

в. Синтаксически обусловленные частные видовые значения имперфектива

Видовое значение называется СИНТАКСИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫМ, если в его толкование входит упоминание значения, выражаемого именно данным синтаксическим фрагментом предложения.

Дуратив (по [Timberlake 1985]) – это значение, которое возникает в контексте обстоятельства длительности:

(2.4) В этом ущелье с июля по октябрь геологи *искали* алмазы (пример из [Гловинская 1982]).

Контекст обстоятельства длительности может создавать ретроспективный ракурс, но в этом случае ракурс полностью обусловлен семантикой обстоятельства – если обстоятельство таково, что в его семантику входит синхронный наблюдатель, то значение будет синхронным:

(2.5) Шестой уж год я *царствую* спокойно (Пушкин).

¹ Термин «накопитель эффекта» предлагается как перевод для англ. *incremental theme* в [Падучева 2004а].

В [Гловинская 1982] употребления типа (2.4) отнесены к общефактическим. Но тогда утрачивается важнейшее свойство общефактических значений [Гловинская 1982: 120] – временная неопределенность. Кроме того, для обстоятельства длительности не обязательна ретроспекция, см. (2.5). И вообще, общефактическое (ОФ) значение свойственно моментальным и предельным глаголам, а дуративное – процессуальным и непредельным. Так что дуративное значение, по нашему мнению, не общефактическое.

Редчайший пример глагола, который допускает дуративное значение, не имея актуально-длительного, – *видеться*:

- (2.6) 1) °Они сейчас *видятся* [исключено сингулярное актуально-длительное значение];
2) Они *виделись* в Петербурге [общефактическое результативное];
3) Они *видятся* по пятницам [хабитуальное];
4) Они *виделись* всего несколько минут [дуратив].

Есть масса глаголов, которые в ряде свойств совпадают с *видеться*, но они не имеют дуративного значения:

- (2.7) *Они *встречались* несколько минут [возможно только на несколько минут].

В [Бондарко 1971] особое значение усматривается у имперфектива в контексте обстоятельства **кратности**, поскольку имперфектив тут противопоставлен перфективу:

- (2.8) а. *целовал* три раза [в жизни];
б. три раза *поцеловал* [в некоторый момент].

Однако все нужные различительные свойства имперфектива в (2.8а) (например, временная неопределенность) вытекают из идентификации значения имперфектива как ретроспективного (= несингулярного общефактического) итератива. Так что у имперфектива в (2.8) мы не усматриваем отдельного частного видового значения.

г. Частные видовые значения имперфектива, обусловленные режимом интерпретации

В контексте наст. «исторического», т.е. наст. времени нарративного режима, имперфектив имеет одно особое частное видовое значение, очень близкое к значению перфектива, хотя и не тождественное ему. Это значение не имеет общепринятого названия; будем называть его **СОБЫТИЙНЫМ**:

- (2.9) В 1994 году Солженицын *возвращается* [= *вернулся*] в Москву.

Это событийное значение имперфектива в контексте наст. исторического противопоставлено обычному прогрессиву:

- (2.10) Я его *спрашиваю* [событийное значение], а он *молчит* [прогрессив].

д. Дискурсивные функции имперфектива

Помимо внутрифразовых функций, о которых шла речь до сих пор, у видовых форм есть **ДИСКУРСИВНЫЕ**. Для формы имперфектива первичной дискурсивной функцией является **СИНХРОННАЯ** – в противоположность первичной **СЕКВЕНТНОЙ** функции перфектива (см. обзор литературы в [Падучева 2008 (в печати)]). Дискурсивные функции русского вида вытекают из значения этих форм в независимом высказывании (хотя в других языках, согласно [Плунгян 2004], вид может иметь одни только дискурсивные функции).

3. СИНХРОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМПЕРФЕКТИВА ОТРИЦАНИЯ: СОСТОЯНИЕ НЕНАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ

Вернемся теперь к частным видовым значениям имперфектива в контексте отрицания в прош. времени.

До сих пор не обращалось внимания на то, что имперфектив с отрицанием в прош. времени (от парных нестативных глаголов) употребляется, как правило, не в актуально-длительном значении, которое является синхронным, а в общефактическом, т.е. ретроспективном:

(3.1) Я *не читал* твою статью.

В самом деле, в примере (3.2), где интерпретация синхронная, она форсированная – отрицание воспринимается как контрастное:

(3.2) Я *не читал* твою статью, когда ты позвонил [, а делал что-то еще].

Синхронная интерпретация отрицательного имперфектива возможна для непарных глаголов, как в (3.3), (3.4):

(3.3) Когда ты позвонил, я *не спал*.

(3.4) Я тебе что-то говорил, но ты *не реагировал*.

Что же касается парных глаголов, то у них синхронная интерпретация отрицательного имперфектива возможна лишь как следствие некомпозиционного взаимодействия глагола с отрицанием. А именно, сочетание «глагол НСВ + отрицание» может описывать СОСТОЯНИЕ НЕНАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ (примеры (3.7), (3.8) – из Национального корпуса русского языка, далее – НКРЯ):

(3.5) Почему он *не забирает* свою байдарку?

(3.6) – Родственник? – спросил он <...> Я *не отвечал*, но так же прямо смотрел в глаза его превосходительства (Герцен. Былое и думы).

(3.7) А вот Марат Сафин <...> после турнира в «Куинс-клубе» *не покидал* Альбион.

(3.8) Он настаивал на том, чтобы тётя <...> *не продавала* дом, окутанный приятными воспоминаниями детства.

Состояние ненаступления события – это синтаксически обусловленное частное видовое значение: оно возникает за счет того, что глагол в контексте отрицания переходит в другой акциональный класс: глагол без отрицания обозначает действие или событие, а в сочетании с отрицанием – СОСТОЯНИЕ несовершенства действия / ненаступления события.

Наблюдение о том, что сочетание событийного глагола с отрицанием может обозначать длящееся состояние, было сделано еще О.П. Рассудовой [Рассудова 1982: 67], которая приводит, в частности, следующий пример:

Я подошел и остановился в двух шагах. Они *не замечали* меня (А. Куприн).

Состояние ненаступления события лучше всего видно в контексте обстоятельства длительности. Глагол НСВ с отрицанием в (3.9б) не просто указывает на то, что действие не имело места – как в контексте примера (3.10); несов. вид в сочетании с показателем длительности (в (3.9б) – *месяц*) означает, что имеется в виду длящееся состояние:

(3.9) а. Я *не брал* у нее свои деньги месяц;

б. Я *не беру* у нее свои деньги уже месяц.

(3.10) Я *не брал* деньги.

Состояние ненаступления события может занимать определенный временной интервал, и адвербиал указывает длительность этого интервала:

(3.11) *не брал деньги месяц* = 'неверно, что в какой-то момент – на интервале в месяц – <хоть раз> взял' [итеративность / сингулярность несовершенного действия зависит от контекста].

Как мы видим, тут глагол с отрицанием входит в сферу действия адвербиала, а не глагол с адвербиалом – в сферу действия отрицания. Поэтому форме НСВ (*брал, беру*) самой по себе здесь нельзя приписать ни одного из видовых значений, возможных для этого глагола в утвердительном контексте.

Отметим отличие значения ненаступления от других стативных значений имперфектива. В (3.12а) у имперфектива с отрицанием значение тоже стативное, но это обычное значение тенденции – оно возможно и без отрицания. Если из (3.12а) убрать отрицание, видовое значение останется то же, см. (3.12б):

(3.12) а. Теперь я уже *не попадаю* на концерт [= 'я нахожусь в некоем состоянии – таком что если оно продлится, то не попаду'];

б. Теперь я *попадаю* на концерт [тенденция]. Ср. Я *опаздываю* на концерт.

Между тем значение ненаступления события порождается контекстом отрицания.

Итак, у отрицательного имперфектива есть одно, контекстно обусловленное и достаточно редкое, синхронное значение. Между тем в основных и самых распространенных употреблениях отрицательный имперфектив имеет ретроспективную интерпретацию.

Значения ретроспективного имперфектива в положительном контексте известны – они описываются через соотношение с перфективом, который тоже ретроспективный. В некоторых контекстах возникает квазисинонимия НСВ и СВ (так называемая конкуренция видов); сходства и различия между НСВ ретроспективным и СВ подробно описаны в [Падучева 1996: 53–65]. Можно думать, что в отрицательном контексте НСВ ретроспективное семантически соотносится с СВ так же, как в положительном. Если это так, т.е. если ретроспективное значение имперфектива в положительном и отрицательном контексте одно и то же, то выбор вида глагола при отрицании, равно как и семантика видовой формы в отрицательном контексте, определяется теми факторами, с которыми мы уже имели дело в положительном.

4. РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИМПЕРФЕКТИВА ОТРИЦАНИЯ

Итак, мы обратимся к контекстам, где имперфектив с отрицанием имеет ретроспективное значение, как в (3.1) или в (3.10). Моя цель – показать, что отличия ретроспективного имперфектива от перфектива в контексте отрицания практически те же, что в положительном контексте. После этого возможности замены перфектива на имперфектив при отрицании предложения будут ясны сами собой.

Ниже мы рассмотрим несколько аспектуально значимых классов глаголов.

4.1. Предельные глаголы.

Из предельных глаголов мы рассмотрим только действия. Схема толкования этих глаголов состоит из следующих компонентов (сокращения: МН – момент наблюдения).

Схема 1. Толкование глагола предельного действия в СВ

(а) X действовал с Целью [компонент «деятельность»]

(б) это вызвало [компонент «каузация»]

(с) возник и в МН имеет место результат, соответствующий Цели X-а [компонент «результат»]

Например, для глагола *открыть* получаем следующее схематическое толкование:

X открыл Y =

- (a) X действовал с Целью: воздействовал на Y (определенным образом)
- (b) это вызвало
- (c) возник и в МН имеет место результат: наступило новое состояние Y-а, соответствующее Цели X-а

У предельных действий, по определению, форма НСВ имеет актуально-длительное значение: деятельность X-а может быть названа тем же глаголом в форме НСВ. Иначе говоря, их семантика такова, что допустим перенос фокуса внимания с компонента (c) «результат», соответствующего перфективу (*открыл*), на компонент (a) «деятельность», соответствующий имперфективу (*открывал*).

Схема 2. Толкование предельного глагола в НСВ (пример толкования):

X открывает Y =

- (a) в МН X действует с Целью: воздействует на Y (определенным образом);
- (b) если воздействие не прекратится, то:
- (c) в момент $t > \text{МН}$ возникнет результат: наступит новое состояние Y-а, соответствующее Цели.

«Деятельность» и «результат» – это ГЛАВНЫЕ семантические компоненты СВ. В семантику СВ входят также три ПЕРИФЕРИЙНЫХ компонента [Падучева 1996: 53–58], о которых будет сказано ниже.

В классе предельных глаголов две разновидности – конативы и не-конативы.

4.1а. Конативы.

Конативы – это действия, у которых деятельность составляет пресуппозицию, а асерцией является достижение результата, см. в [Апресян 1980: 64] о глаголах *решить*, *догнать* и в [Гловинская 1982: 89] о видовых парах типа ‘действовать с целью’ – ‘достичь цели’.

Презумптивный статус компонента (a) «деятельность» дает себя знать в контексте отрицания – между отрицательным перфективом и отрицательным имперфективом имеется отчетливое различие (ср. обсуждение в [Падучева 1996: 112]):

- (4.1) а. *не решил* = ‘пытался решить и не решил’;
- б. *не решал* = ‘не пытался решить’.

Такая же разница в парах из (4.2) и многих других:

- (4.2) не объяснил – не объяснял,
- не уговорил – не уговаривал,
- не догнал – не догонял.

Таким образом, общеотрицательным коррелятом для предложения (4.3а) может быть только (4.3б) – для более сильного отрицательного смысла (4.3в) ‘даже не решал’ семантика предложения (4.3а) не дает оснований:

- (4.3) а. Ваня *решил* задачу;
- б. Ваня *не решил* задачу;
- в. Ваня *не решал* задачу.

Итак, конативы составляют контекст, в котором «трансформация отрицания» принципиально НЕ сопровождается заменой исходного СВ на НСВ:

(4.4) НСВ общесфактическое ≠ СВ.

В самом деле, при отрицании глагола конативной группы компонент «деятельность» в НСВ отрицается, а в СВ входит в пресуппозицию; так, *не решал* ≠ *не решил*.

Возьмем еще глагол *догнать*. В [Smith 1997: 257] он отнесен к моментальным глаголам (achievements). Между тем *догнать* имеет парный имперфектив *догонять*, с нормальным прогрессивом, и по нашим определениям должен быть отнесен к подклассу конативов класса предельных глаголов. Не удивительно, что он ведет себя по отношению к отрицанию как конатив: *не догнал* имеет презумпцию 'догонял', и потому *не догнал* ≠ *не догонял*.

Есть контексты, которые отменяют в семантике конатива презумптивный статус компонента «деятельность», как в примере (4.5) из [Гловинская 2001: 106] или (4.6) из [Падучева 2004б: 39]:

(4.5) Почему же вы *не убедили* его поехать с нами?

(4.6) Почему ты *не уговорил* его остаться?

Скорее всего, упрек касается компонента «деятельность», так что этот компонент лишается своего презумптивного статуса. Тем не менее, и в этом случае СВ и НСВ не синонимичны. Дело в том, что семантика конативного глагола характеризуется отчетливым членением ситуации на два компонента – попытка и успех; глагол в НСВ обозначает только попытку, и отрицание глагола понимается как отрицание попытки; чтобы отрицать ситуацию в целом, нужен СВ.

Итак, в случае конатива отрицание не должно сопровождаться заменой перфектива на имперфектив: СВ и НСВ и под отрицанием имеют разный смысл, причем различие формулируется на основных компонентах их значения – «деятельность» и «результат».

4.16. Действия предельные не конативы.

При с и н х р о н н о м ракурсе имперфектив у действий предельных не конативов в утвердительном предложении имеет значение действия в развитии, так что НСВ синхронное и СВ противопоставлены четко – так же, как у конативов. Однако при р е т р о с п е к т и в н о м ракурсе имперфектив предельного действия, в принципе, может развивать, особенно при поддержке контекста, результативное значение – что конативу (в сингулярном варианте) не свойственно. Так, у *читать* в (4.5а), обычное предельное действие, имперфектив может пониматься в результативном смысле – в отличие от конативного *решать* в (4.5б), которое не может:

(4.5) а. Кто *читал* эту статью? Я *читал* эту статью [может значить 'и прочитал'];

б. Кто *решал* эту задачу? Когда ты *решал* эту задачу? [в контексте единичности вопрос не подразумевает 'и решил']

Соответственно, в отрицательном контексте ретроспективное значение НСВ у предельных действий противопоставлено СВ не так четко, как у конативов; оба компонента могут подвергаться отрицанию – не только результат, но и деятельность. Так, для предложения (4.6а) самое естественное понимание – такое, при котором оно квазисинонимично (4.6б):

(4.6) а. Я *еще не прочитал* вашу статью;

б. Я *еще не читал* вашу статью.

Компонент «деятельность» у предельных действий не конативов не составляет пресуппозиции и легко попадает в сферу действия отрицания. Больше того, само членение ситуации на эти два компонента становится нечетким.

Среди предельных глаголов не конативов основной – прототипический – подкласс составляют глаголы с семантикой «постепенного накопления эффекта» [Гловинская 1982: 78].

Схема 3. Толкование глаголов постепенного накопления эффекта в СВ:

- (a) X действовал с Целью [»деятельность«]
- (b) это вызвало:
 - (с') шел процесс в объекте, синхронный деятельности субъекта [«накопление эффекта»];
 - (b') в итоге
- (c) возник результат, соответствующий Цели [«результат»]

Фраза (4.6a) может быть употреблена в контексте, когда человек и не начинал читать, так что *не прочитал* и *не читал* сближаются по смыслу. Прямой оппозиции видов, когда отрицание СВ предполагает деятельность, которую НСВ отрицает, в (4.6), в отличие от (4.3), нет. В результате, у глаголов постепенного накопления результата НСВ общефактическое \approx СВ.

В [Smith 1997: 256] приводится со ссылкой на [Рассудова 1982] пример отчетливого противопоставления СВ и НСВ в контексте отрицания:

- (4.7) а. Спортсмен еще *не отдохнул*;
- б. Спортсмен еще *не отдыхал*.

Значения (4.7a) и (4.7б) четко различны: фраза (4.7a) допускает наблюдателя в точке, когда отдых уже начался, но еще не кончился; а (4.7б) отрицает ситуацию целиком. При этом в [Smith 1997] глагол *отдохнуть* причисляется к предельным (accomplishments), что ставит под сомнение только что сформулированное правило. На самом деле, однако, глагол *отдохнуть* предельным не является. Скорее он примыкает к делимитативам. Например, он сочетается с обстоятельствами длительности – что исключено для всех глаголов СВ, кроме делимитативов [Всеволодова 1997: 25]. Так что пример (4.7) не опровергает положения о том, что у обычных предельных глаголов значения НСВ общефактического и СВ сближаются – во всяком случае, по линии достижения результата.

Итак, у предельных действий не-конативов СВ не наделяет компонент «деятельность» статусом пресуппозиции, которую отрицание не могло бы отрицать; и поскольку отрицание деятельности влечет отрицание результата, отрицание СВ и НСВ оказываются квазисинонимичны:

- (4.9) Эти люди *не платили* денег за билет, а остались здесь с предыдущего матча. [НКРЯ] [*не платили* \approx *не заплатили*].

Как известно, квазисинонимия НСВ общефактического и СВ возникает уже в положительном контексте: *платили* может означать 'заплатили'. Разница между положительным и отрицательным контекстом, однако, есть: имперфектив в результативном сингулярном общефактическом, т.е. ретроспективном значении употребляется в отрицательном контексте значительно шире, чем в утвердительном. Так, в примере (4.10) имперфектив отрицания квазисинонимичен перфективу, см. (4.10a); а имперфектив без отрицания не имеет результативного значения – по крайней мере, однонаправленного, см. (4.10б):

- (4.10) а. Коля не возвращался ≈ Коля не вернулся;
б. Коля возвращался ≠ Коля вернулся.

Про *вылететь* в [Гловинская 1982: 130] справедливо говорится, что его НСВ не имеет общефактического результивного однонаправленного значения 'вылетел'. Между тем под отрицанием это понимание возможно:

- (4.11) а. °Самолет вылетал из Москвы;
б. Самолет не вылетал из Москвы.

Так или иначе, мы вправе заключить, что у предельных глаголов не конативов отрицательный имперфектив в плане результивности сближается с отрицательным перфективом – аналогично тому, как в утвердительном предложении сближается с перфективом НСВ общефактический.

4.2. Моментальные глаголы.

Среди моментальных глаголов есть такие, у которых имперфектив обозначает состояние, наступившее в результате события (перфектное состояние). Это глаголы, которые входят в ПЕРФЕКТНЫЕ ПАРЫ: пары, где НСВ – статив, например, *понять* – *понимать*, *заслонить* – *заслонять*, *услышать* – *слышать* [Падучева 1996: 152–160]. Их мы рассмотрим в разделе 4.2б. А вначале о динамических моментальных глаголах, у которых НСВ не обозначает перфектное состояние.

4.2а. Моментальные динамичные.

У динамических моментальных глаголов (таких как *приходить*, *находить*, *замечать*, *заходить*) имперфектив не имеет значения действия в развитии (т.е. действия, длящегося на определенном интервале). Иными словами, моментальные действия – это действия с акцентом на результате: они несовместимы с прогрессивом, поскольку он требует синхронной перспективы (синхронного наблюдателя), когда в фокусе внимания деятельность. Нельзя сказать:

- *Он сейчас *приходит*, *находит*, *замечает*, *узнает* меня (в смысле 'recognize'), *заходит* к приятелю.

При этом не обязательно, чтобы наступление результирующего состояния было действительно моментальным; например, парного НСВ актуально-длительного может не быть потому, что деятельность, приведшая к результату, называется другим глаголом (*идти* для *прийти*; *искать* для *найти* и т.д., см. [Падучева 2004б: 40]).

При ретроспекции результивное сингулярное значение возникает у имперфектива моментального глагола (в утвердительном контексте) без затруднений:

- (4.12) а. Кто-нибудь *находил* мои очки? [= *нашел*]
б. Я у вас ручку *брала*. [= *взяла*]

В самом деле, у моментальных глаголов (в широком смысле – *взять*, *подписать*, *подойти* ведут себя как моментальные) компоненты «деятельность» и «достижение результата» не отделены один от другого – так же, как у предельных не-конативов: они утверждаются и отрицаются сразу оба. Но если у предельного глагола НСВ ретроспективный и СВ могут различаться по параметру результивность – тем, что у формы НСВ результивность отсутствует и она сохраняет свое значение срединной фазы, как в примере (4.10б), – то у моментального этой возможности нет (поскольку у него нет прогрессива): значение НСВ ретроспективного у моментального глагола в положительном контексте включает результивность, будучи производным от итератива. Соответственно, при отрицании имперфектива моментального глагола отрицается и деятельность, и результат, так что имперфектив не отличается от перфектива:

- (4.13) *находил* ≈ <хоть раз> *нашел*; не *находил* ≈ <ни разу> не *нашел*.

Отрицательный имперфектив моментального глагола может пониматься в сингулярном результативном значении в контексте, где для неотрицательного такое понимание невозможно (т.е. дело обстоит так же, как с предельным глаголом, см. пример (4.10)):

- (4.14) а. °Коля *находил* свой ключ [\neq Коля *нашел* свой ключ];
б. Коля *не находил* своего ключа [= Коля *не нашел* своего ключа].

Итак, в плане результативности СВ и ретроспективный НСВ моментальных глаголов равны. Если между ними ощущается различие, то оно касается периферийных компонентов значения СВ. Остановимся на этом подробнее.

Грамматическое значение глагола СВ в утвердительном контексте составляется из нескольких компонентов [Падучева 1996: 54]. Компоненты «деятельность» и «результат» – основные, см. 1) и 2), компоненты 3)–5), периферийные. У НСВ общефактического компоненты 3)–5) отсутствуют.

Смысловые компоненты значения СВ глагола действия:

- 1) деятельность [основной компонент];
- 2) результат [основной компонент];
- 3) сохранение итогового состояния в момент наблюдения [периферийный];
- 4) сингулярность [периферийный];
- 5) временная определенность [периферийный].

Ретроспективный имперфектив предельного глагола может отличаться от перфектива нерезультативностью. Но у моментального глагола, у которого нерезультативное понимание НСВ исключено, периферийные компоненты 3)–5) остаются единственным возможным источником различия между СВ и НСВ.

Что касается положительных контекстов, то роль компонентов 3)–5) как источника различия между НСВ общефактическим и СВ была продемонстрирована в [Падучева 1996: 53–65]. Пример:

- (4.15) а. Мне *предложили* написать рецензию на эту книгу;
б. Мне *предлагали* написать рецензию на эту книгу.

Различие между (а) и (б) в (4.15) касается компонента 3) «сохранение итогового состояния»: фраза (а) означает, что в момент речи сделанное предложение остается в силе, а (б), скорее всего, что нет – например, я отказался или слишком медлил с ответом. Аналогичные различия могут возникать в соответствующих контекстах, в парах *вызывать – вызвать, посылать – послать, дать – давать, взять – брать, получать – получить*.

Те же компоненты 3)–5) отличают НСВ моментального глагола от СВ в отрицательном контексте. Различие в этих периферийных компонентах и дает то, что мы называем квазисинонимией НСВ общефактического и СВ.

Квазисинонимия имеет место и в отрицательном контексте. Ярче всего проявляет себя компонент 5; так, временная неопределенность отличает НСВ в (4.16а) от СВ в (4.16а):

- (4.16) а. *не получил* стипендию;
б. *не получал* стипендию.

Фразы (4.16а) *не получил (стипендию)* и (4.16б) *не получал (стипендию)* обе обозначают несостоявшееся событие; но в (4.16а) речь идет о событии, не состоявшемся в **н е к и й м о м е н т**, а в семантике (4.16б) время не фиксировано. Примеры из Национального корпуса русского языка:

- (4.17) Ни головная компания, ни ее «дочки» *не подавали* [= *не подали*] заявление в ГТК;
(4.18) Вернее, он и *не просил* [= *не попросил*] прощения, и давно забыл обо мне.

Аналогичным образом соотносятся *не предложили* и *не предлагали*, *не показал* и *не показывал*, *не говорил* и *не сказал*, *не вызвал* и *не вызывал* <такси>, *не попадался* и *не попался*.

З а м е ч а н и е. Различие на периферийный компонент может, все-таки, оказаться существенным. Так, человек, который опровергает факт убийства Иваном Грозным своего сына Ивана, скорее всего, скажет фразу (а), но не (б) – фраза (б) требует пояснений относительно того, что все-таки имело место:

- (а) Иван Грозный *не убивал* своего сына;
(б) Иван Грозный *не убил* своего сына.

Более того, в контексте примера (в) (фраза из фельетона Дмитрия Быкова) уместен только СВ, поскольку НСВ ретроспективный принципиально не фиксирует времени несовершения события:

- (в) Прошло 400 лет с тех пор, как Иван Грозный *не убил* (**не убивал*) своего сына.

Отличия НСВ общефактического от СВ, как с отрицанием, так и без, возникают за счет того, что обе формы могут обрастать семантическими приращениями. Так, имперфектив, переключая акцент с результата на деятельность, имплицитно подразумевает понимание события в значении сознательного акта выбора (см. [Булыгина, Шмелев 1989; Partee 1973]):

- (4.19) а. Я *не выключила* плиту [в одном из пониманий – ‘забыла’];
б. Я *не выключала* плиту [скорее сознательный выбор].
(4.20) а. Я *не взяла* ключи [в одном из пониманий – ‘забыла’];
б. Я *не брала* ключи [скорее сознательный выбор].

Аналогично в примере из [Падучева 1996: 56]:

- (4.21) а. Я тебя *не перебил*? [нечаянно]
б. Я тебя *не перебивал*. [сознательно]

Еще один компонент, отличающий ретроспективный имперфектив от перфектива, – «ожидание» (отмечен в [Рассудова 1968: 20]). Рассказ Гр. Горина «Почему повязка на ноге?» начинается с анекдота:

Приходит больной к доктору. У больного забинтована нога. – Что у вас болит? – спрашивает доктор. – Голова, – отвечает больной. – А почему повязка на ноге? – Сползла...

Вопрос доктора *А почему повязка на ноге?* в контексте этого рассказа мог бы звучать и как (4.22а) и как (4.22б):

- (4.22) а. А зачем Вы *завязывали* ногу?
б. А зачем Вы *завязали* ногу?

Но ответ рассказчика анекдота на вопрос «человека без чувства юмора» звучит как (4.23а) и не мог бы звучать как (4.23б):

- (4.23) а. – Да он *не завязывал* ногу! – сказал я. – Он *завязал* голову!
б. Он *не завязал* ногу.

Почему предложение (4.23б), с перфективом, неуместно в этом контексте? Потому что перфектив означал бы, что не произошло событие, которое ожидалось.

Если глагол обозначает не действие, а происшествие, то речь идет не об ожидании, а о возможности события, ср. *Я не терял паспорт* и *Я не потерял паспорт*.

4.26. Моментальные стативные.

Особое поведение в контексте отрицания свойственно моментальным глаголам типа *понять – понимать*, с ПЕРФЕКТНЫМ значением НСВ (класс 'начать быть в состоянии' – 'быть в состоянии' в [Гловинская 1982]). У них НСВ не имеет общефактического результирующего значения: *Кто понимал?* не имплицитно означает *Кто понял?* (в том смысле, в каком *Кто покупал?* имплицитно означает *Кто купил?*). Соответственно, нет и квазисинонимии НСВ прош. ≈ СВ прош. в речевом режиме: у НСВ этих глаголов нет динамики, направленной на переход в новое состояние.

Различие между моментальными динамическими глаголами и моментальными перфектными показывает пример:

- (4.17) а. – Ты взял? – Нет, я не брал. [*брать* – глагол моментальный динамический; СВ и НСВ ретроспективное квазисинонимичны; *не брал* ≈ *не взял*]
б. – Ты понял? – *Нет, я не понимал. [*понимать* – глагол моментальный перфектный]

В положительном контексте речевого режима сближаются значения форм НСВ прош. ≈ СВ наст. – в силу компонента 3) семантики СВ «сохранение итогового состояния в момент наблюдения», особенно важного для перфектных пар [Падучева 1996: 152]:

- (4.18) *понял* [НСВ.прош.] ≈ *понимаю* [СВ.наст.].

Соответственно, отрицательное предложение (4.19а) близко по смыслу к (4.19б) (в силу перфектного значения НСВ), но не к предложению (4.19в), которое нас интересует:

- (4.19) а. Я этого *не понял* [СВ прош.];
б. Я этого *не понимаю* [НСВ наст.];
в. Я этого *не понимал* [НСВ прош.].

Суммируем сказанное о частных видовых значениях имперфектива в контексте отрицания и отличии имперфектива от перфектива.

У отрицательного имперфектива имеется одно собственное частное видовое значение – состояние ненаступления события; этого значения нет у имперфектива за пределами контекста отрицания. Отличие фразы *Я не потерял надежды*, с перфективом, от *Я не теряю надежды*, с имперфективом, формулируется в терминах акциональных классов: первая просто отрицает наступление события, а вторая описывает длящееся состояние ненаступления.

В остальных контекстах частное видовое значение отрицательного имперфектива может быть идентифицировано как общефактическое, т.е. ретроспективное.

Выделено четыре класса парных глаголов. Отличие имперфектива от перфектива может касаться главных компонентов семантики вида – деятельность и достижение результата – и периферийных.

1а. Предельные конативные. В отрицательном контексте имперфектив отрицает и деятельность и (само собой) результат, а перфектив отрицает только результат, деятельность в пресуппозиции. Таким образом, отрицательный имперфектив не совпадает с перфективом уже на уровне основных компонентов; НСВ ≠ СВ. Например, *не решил* ≠ *не решил*.

1б. Предельные не конативные. В отрицательном контексте перфектив отрицает обычно не только результат, но и деятельность, так что имперфектив, который отрицает деятельность, и перфектив, который допускает отрицание деятельности, близки по значению; НСВ ≈ СВ. Например: *не читал* ≈ *не прочитал*.

2а. Моментальные динамические. Имперфектив в отрицательном контексте отрицает не только результат, но и деятельность. То же верно для перфектива. Так что имперфектив и перфектив квазисинонимичны – они совпадают в основных компонентах; различие касается только периферийных. Например: *не предлагали = не предложили*.

2б. Моментальные стативные. Форма НСВ прош. неспособна иметь ретроспективное результативное значение ни в положительном, ни в отрицательном контексте: НСВ ≠ СВ. Например: *не понимал ≠ не понял*.

Этими соотношениями и определяется возможность замены СВ на НСВ при «трансформации отрицания».

5. РАЗБОР ПРИМЕРОВ ИЗ РАЗДЕЛОВ 1 И 3

Вернемся к примерам (1.1)–(1.4). В примере (1.1) глагол *взять* можно считать моментальным динамическим (тип 2а); так что фраза (1.1б), с имперфективом, и (1.1в), с перфективом, квази-синонимичны. Оставаясь в пределах предложения, разницы между *не взял* и *не брал*, увидеть нельзя. Между тем, скажем, в контексте *...и тут же попал под дождь* предпочтение будет отдано перфективу *не взял*, поскольку для продолжения текста существенно сохранение результата.

В примере (1.2) форму СВ *принял* нельзя заменить на НСВ *принимал*, поскольку для несостоявшегося события принципиальна временная определенность: *не принял* обозначает событие, которое произошло в некий определенный момент, и этот момент служит точкой отсчета для обстоятельства *на другой день* в следующем предложении. События *не принял* и *велел* произошли, практически, в одно и то же время. Пример (1.2) выявляет очевидную дискурсивную роль видовой формы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отметим несколько факторов, способствовавших решению проблемы взаимодействия отрицания с глагольным видом.

Первый фактор – становление **типологии** как новой области лингвистики; рассмотрение вида в типологической перспективе, которое позволило понять диалектику соотношения линейной аспектуальности (point of view aspect) с количественной в частных значениях русского имперфектива.

Второй фактор – **точка отсчета по Рейхенбаху**, интерпретированная как временная позиция наблюдателя. Наблюдатель позволил идентифицировать источник двух значений у НСВ: одно значение синхронное, другое ретроспективное. Одновременно это выявило общность в семантике НСВ «общефактического» и СВ: в обоих случаях есть ретроспективный наблюдатель.

Третий фактор – акциональные классы глаголов **Маслова – Вендлера** и отделение лексической составляющей в семантике вида от собственно грамматической.

Четвертый фактор – достижения отечественной **лексической семантики**, которые позволили различить (среди парных глаголов, т.е. глаголов, входящих в видовые пары) несколько аспектуально значимых классов: конативы (типа *уговорить*) и действия обычные не конативы (типа *открыть*); моментальные не перфектные (типа *взять*) и моментальные перфектные (типа *понять*), см. формальное определение акционального класса через схему толкования в системе «Лексикограф» [Падучева 2004б: 39–40].

Пятый фактор – вовлечение в сферу аспектологии **дискурсивных функций** вида. Здесь следует отметить компонент «временная определенность» в семантике СВ. Этот компонент составил надежную базу для выявления связей между внутрифразовым значением вида и его дискурсивными функциями.

Компоненты «деятельность» и «результат», так четко выявляемые семантикой коннотаций, существенны и для других аспектуальных проблем. Так, в модальных контекстах замена СВ в утвердительном контексте на НСВ в отрицательном обязательна, ср. пример, обсуждаемый в [Рассудова 1982] и в [Rapaport 1985: 212]):

- (2) а. Надо *уйти* [СВ];
б. Не надо *уходить* [НСВ] / **уйти* [СВ].

Объяснение состоит в том, что деонтическая модальность требует акцента на деятельности (поскольку именно деятельность можно разрешить или запретить), т.е. акционального имперфектива, а не перфектива с его акцентом на результате.

Предлагаемое описание семантики имперфектива в отрицательном контексте, возможно, еще не дает полного свода правил, достаточных для того, чтобы научить иностранца правильно употреблять ретроспективный имперфектив (например, не отвечает на вопрос, почему «*Войну и мир*» писал Толстой звучит странно, а «*Карнавальную ночь*» ставил Рязанов – нормально; по поводу этого примера см., впрочем [Israeli 1996]). Но оно достаточно для того, чтобы идентифицировать смысловые различия между видовыми формами в предложении с глагольным отрицанием в заранее принятой системе формально опознаваемых признаков*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1980 – Ю.Д. *Апресян*. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ⇔ Текст». Wien, 1980.
- Апресян 1986 – Ю.Д. *Апресян*. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семантика и информатика. Вып. 28. М., 1986.
- Бондарко 1971 – А.В. *Бондарко*. Вид и время русского глагола. М., 1971.
- Булыгина, Шмелев 1989 – Т.В. *Булыгина*, А.Д. *Шмелев*. Ментальные предикаты в аспекте аспектологии // Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М., 1989.
- Всёволодова 1997 – М.В. *Всёволодова*. Аспектуально значимые лексические и грамматические семы русского глагольного слова // Труды аспектологического семинара филологич. факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Т. 1. М., 1997.
- Гловинская 1982 – М.Я. *Гловинская*. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Гловинская 2001 – М.Я. *Гловинская*. Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.
- Исаченко 1960 – А.В. *Исаченко*. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Ч. 2. Братислава, 1960.
- Кошмидер 1962 – Э. *Кошмидер*. Турецкий глагол и славянский глагольный вид. Вопросы глагольного вида. М., 1962.
- Маслов 1948 – Ю.С. *Маслов*. Вид и лексическое значение глагола в русском языке // ИАН СЛЯ. 1948. Т. 7. № 4.
- Маслов 1976 – Ю.С. *Маслов*. Рец.: S.G. Andersson. Aktionalität im Deutschen // ВЯ. 1976. № 2.
- Маслов 1984 – Ю.С. *Маслов*. Очерки по аспектологии. Л., 1984.
- Падучева 1974 – Е.В. *Падучева*. О семантике синтаксиса. М., 1974.
- Падучева 1986 – Е.В. *Падучева*. Семантика вида и точка отсчета // ИАН СЛЯ. 1986. Т. 45. № 5.
- Падучева 1996 – Е.В. *Падучева*. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Падучева 2004а – Е.В. *Падучева*. Накопитель эффекта и русская аспектология // ВЯ. 2004. № 5.
- Падучева 2004б – Е.В. *Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

* Автор благодарен участникам семинара в ИППИ РАН под руководством Ю.Д. Апресяна, на котором обсуждалась эта работа, а также М.Я. Гловинской, которая прочитала работу в рукописи и указала на ряд недосмотров и неточностей в первоначальном варианте статьи.

- Падучева 2008 (в печати) – *Е.В. Падучева*. Дискурсивные слова и категории: режимы интерпретации // Исследования по теории грамматики. Вып. 4. М., 2008 (в печати).
- Плунгян 2000 – *В.А. Плунгян*. Общая морфология. М., 2000.
- Плунгян 2004 – *В.А. Плунгян*. К дискурсивному описанию аспектуальных показателей // Типологические обоснования в грамматике: К 70-летию проф. В.С. Храковского. М., 2004.
- Рассудова 1968 – *О.П. Рассудова*. Употребление видов глагола в русском языке. М., 1968.
- Рассудова 1982 – *О.П. Рассудова*. Употребление видов глагола в современном русском языке. 2-е изд. М., 1982.
- Borschev e.a. 2006 – *V. Borschev, E. Paducheva, B. Partee, Y. Testelefs, I. Yanovich*. Sentential and constituent negation in Russian BE-sentences revisited // Formal approaches to Slavic linguistics: The Princeton meeting 2005 (FASL 14). Ann Arbor, 2006.
- Forsyth 1970 – *J. Forsyth*. A grammar of aspect. Cambridge, 1970.
- Groenn 2004 – *A. Groenn*. The semantics and pragmatics of the Russian factual imperfective. Oslo, 2004.
- Israeli 1996 – *A. Israeli*. Discourse analysis of Russian aspect: accent on creativity // JSL. 4. 1996.
- Kratzer 1978 – *A. Kratzer*. Semantik der Rede. Kronberg, 1978.
- Paducheva, Pentus 2008 – *E. Paducheva, M. Pentus*. Formal and informal semantics of telicity // S. Rothstein (ed.). Theoretical and crosslinguistic approaches to the semantics of aspect. Amsterdam, 2008.
- Partee 1973 – *B. Partee*. Some structural analogies between tenses and pronouns in English // The journal of philosophy. V. 70. 1973.
- Rappaport 1985 – *G. Rappaport*. Aspect and modality in contexts of negation // M. Flier, A. Timberlake (eds.). The scope of Slavic aspect. Columbus (Ohio), 1985.
- Smith 1997 – *C.S. Smith*. The parameter of aspect. 2-nd ed. Dordrecht, 1997.
- Tatevosov 2002 – *S.G. Tatevosov*. The parameter of actionality // Linguistic typology. V. 6. 2002.
- Timberlake 1985 – *A. Timberlake*. The temporal schemata of Russian predicates // M.S. Flier, R.D. Brecht (eds.). Issues in Russian morphosyntax. Columbus (Ohio), 1985.

© 2008 г. А.В. АРХИПОВ

К ТИПОЛОГИИ КОМИТАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЧАСТЬ II. ПОЛИСЕМИЯ КОМИТАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В первой части статьи (см. [Архипов 2005]) было предложено рабочее определение комитативной конструкции и разработаны основы формальной типологии таких конструкций. Во второй части работы исследуются возможности полисемии комитативных показателей в языках мира, т.е. структурные и семантические разновидности конструкций, в которых могут использоваться те же показатели, что и в собственно комитативных конструкциях.

1. ПОЛИСЕМИЯ КОМИТАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Напомним, что под собственно комитативной конструкцией (КК) понимается такая морфосинтаксическая конструкция, в которой множественный участник некоторой ситуации обозначается с помощью двух выражений (например, именных групп) с различным структурным рангом, ср. *Мальчик пришел домой с другом*. Комитативные конструкции (КК) занимают важное место в репертуаре структурных средств многих языков, поскольку позволяют **эксплицитно** выразить состав множественного участника **в пределах одной предикации**, не прибегая к структурно симметричным средствам (сочинению), которые имеются далеко не во всех языках.

Показатели комитатива замечательны своей полифункциональностью, т.е. богатым набором тех функций, которые они могут выполнять **помимо** маркирования собственно КК. Так, в произвольной выборке из Национального корпуса русского языка¹ объемом около 700 примеров основной показатель комитатива в русском языке – предлог *с* с творительным падежом – маркирует собственно КК всего лишь в 28 употреблениях (около 4%), а в 96% случаев имеет другую функцию.

Конструкции, не являющиеся собственно комитативными, но использующие те же самые морфосинтаксические средства, что и собственно КК, мы будем называть формально комитативными конструкциями (ФКК). В русском языке в число ФКК входят, например, сочинительные комитативные конструкции ([*Петя с Машей*] *пошли в кафе*), различные обстоятельственные обороты (*Бригадир появился с опозданием*) и мн. др.

В задачи изучения ФКК входит инвентаризация полисемических расширений КК в языках мира, а также их возможных структурных типов. На дальнейших этапах возможно построение моделей диахронического развития комитативных конструкций, в которых будут учтены потенциальные направления и пути структурных и семантических изменений.

2. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ФОРМАЛЬНО КОМИТАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Параметры структурного варьирования

Напомним вкратце структуру собственно комитативных конструкций. В семантическом плане выделяются три элемента: Ситуация и два ее участника, Ориентир и

¹ <http://www.ruscorpora.ru>, по состоянию на июнь 2004 г.; для подсчета был использован корпус со снятой омонимией.

Спутник. В плане выражения Ситуации соответствует некоторый Предикат, а Ориентир и Спутник выражаются соответственно Центральной и Периферийной именной группой (= ЦИГ и ПИГ), причём один из элементов конструкции (Предикат или Периферийная ИГ) несет на себе Маркер комитатива (если он не выражен дополнительным предикатом).

Формально комитативные конструкции могут отличаться от собственно КК по одному или нескольким параметрам, в том числе:

- а) набором релевантных элементов плана содержания ({ Ситуация, Ориентир, Спутник } или { Ориентир, Спутник });
- б) семантическими связями между ними;
- в) семантическим типом Ориентира и Спутника (ситуация или терм);
- г) набором элементов плана выражения (из множества {Вершина, Центральная группа, Периферийная группа, Маркер комитатива²});
- д) синтаксическими связями между ними;
- е) синтаксическим типом центральной и периферийной групп {ИГ/предикация/прилагательное/наречие};
- ж) выбором элемента(-ов), несущего(-их) комитативный маркер.

Эти параметры не являются полностью независимыми друг от друга, так что реальных сочетаний по-видимому меньше, чем комбинаторных возможностей. Ниже будут перечислены с иллюстрациями основные зафиксированные в языках мира структурные разновидности ФКК (перечень этот, вероятно, не является исчерпывающим).

2.2. Конструкции с маркированием на зависимом

КК с маркированием на зависимом (2.1) демонстрируют самый широкий спектр модификаций, причем подавляющее большинство из них представлены в русском языке.

(2.1) Петя пришел к нам в гости со своей младшей дочерью³.

2.2.1. Копредикатная конструкция

Этот очень широко распространенный тип ФКК отличается тем, что семантически Спутник состоит в предикативном отношении к Ориентире, т.е. описывает его признак. При этом периферийная ИГ является сирконстантом, как и в собственно КК.

(2.2) Петя пришел к нам в гости с альбомом новых фотографий.

Характеризующий копредикат⁴ семантически является предикатом к одному из участников ситуации (контролеру копредиката), то есть всегда является ориентированным на участника (participant-oriented), в отличие от типичных обстоятельств (адвербиалов), таких как *быстро*, *вчера* и т.п., ориентированных на ситуацию (event-oriented). В типологическом исследовании [Schultze-Berndt, Himmelmann 2004] формулируется рабочее определение характеризующих копредикатов, призванное отграничить их от многих сходных явлений: адвербиалов, результативных копредикатов, предикативных дополнений и др.

«Характеризующая копредикатная конструкция (depictive secondary predicate construction) – это конструкция на уровне элементарного предложения (clause-level), удовлетворяющая следующим критериям:

² Здесь имеется в виду маркер комитатива, реализованный как дополнительный предикат.

³ В типовых примерах комитативная группа выделена полужирным, вершинный предикат отмечается двойным подчеркиванием, центральная ИГ – одинарным.

⁴ Классический пример копредиката в русском языке – *Друзья привели его домой пьяным*.

- (i) Она содержит два отдельных предикативных элемента, главный предикат и характеризующий копредикат (*depictive*), причем ситуация, выражаемая копредикатом, имеет место во временной рамке ситуации, выраженной главным предикатом.
- (ii) Копредикат обязательно имеет контролера, т.е. состоит в формальном отношении с одним из партиципантов главного предиката, и это отношение обычно интерпретируется как предикативное (т.е. копредикат является предикатом по отношению к своему контролеру). Контролер отдельно как аргумент копредиката не выражается.
- (iii) Предикация, выражаемая копредикатом, по крайней мере частично независима от предикации, выражаемой главным предикатом, т.е. копредикат не образует вместе с главным сложный или перифрастический предикат.
- (iv) Копредикат не является аргументом главного предиката, т.е. не является обязательным.
- (v) Копредикат не образует составляющей нижнего уровня со своим контролером, т.е. не является его (синтаксическим) модификатором.
- (vi) Копредикат не является финитным (имеется в виду: не несет маркеров времени и модальности), или же его зависимость от главного предиката выражается другими формальными средствами.
- (vii) Копредикат входит в ту же просодическую единицу, что и главный предикат».

[Schultze-Berndt, Himmelmann 2004: 19–20]

2.2.2. Определительная конструкция

В этом типе ФКК Спутник также характеризует Ориентир, однако синтаксически он при этом выражается как приименное определение (т. о., объемлющая ситуация и вершинный предикат для этой конструкции нерелевантны).

(2.3) *Петя показал нам [альбом с новыми фотографиями].*

Эта модификация КК менее распространена, чем предыдущая, поскольку в значительном числе языков именные группы в приименной позиции требуют оформления особыми показателями (атрибутивизаторами), что обычно (но не всегда) исключает появление комитативного маркера. В некоторых языках собственно приименное использование КГ невозможно. В таких случаях функция определения реализуется с помощью относительного предложения, которое само содержит ФКК предикативного типа (см. ниже):

тамильский < ДРАВИДИЙСКИЕ

[Asher 1985: 113]

- (2.4) *vella veestj-yootē irunta manuṣan*
 [белый набедренная.повязка-СОМ быть:PST.PART.REL] человек
человек в белой набедренной повязке [= бывший с повязкой]

Как расширение определительной ФКК можно рассматривать употребления, в которых комитативная группа является модификатором не именной группы, а другого модификатора – прилагательного или наречия. Комитативная группа при этом может содержать ИГ или выражение того же типа, что и центральное выражение (прилагательное, наречие).

- (2.5) *Волосы, черные с синеватым отливом, грубые и блестящие, как конский волос, туго заплетены и свернуты на затылке.* [корп.: Хазанов] ПРИЛ + ИГ

2.2.3. Предикативная конструкция

В данном типе Периферийная ИГ выступает в роли предиката (именного сказуемого); такая структура может требовать или не требовать финитного глагола-связки. Предикативное употребление комитативной группы является одним из распространенных типов предикативного выражения обладания (*predicative possession*) [Stassen

2001: 955–956]. Однако ФКК этого типа могут передавать не только посессивное значение; подробнее см. 3.3.

(2.6) *Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил.*

монгольский < МОНГОЛЬСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ

(2.7) *бин ном-той*

ISG книга-COM

У меня есть книга [= Я с книгой].

[корп.: Домбровский]
ПРЕДИКАТИВ СО СВЯЗКОЙ
[Цэдэндамба 1978: 17 сн. 1]

ПРЕДИКАТИВ
БЕЗ СВЯЗКИ

2.2.4. Сентенциальная конструкция

В этой модификации Ориентир и Спутник принадлежат не к классу участников, а к классу ситуаций и выражаются предикатами. При этом противопоставлены они обычно по коммуникативным характеристикам: ситуация-Спутник используется в дискурсе как фон для ситуации-Ориентира. Такая структура характерна для КК с сентенциальным маркированием.

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ

[Кибрик (ред.) 2001: 588]

(2.8) s'e-bali, sajid-i-g naq'ira qa-rā-X-da-lēna, L'e-rā-X ek'a
гость-PL [Саид-OBL-ERG гармошка играть-IPF-CONV-DA-COM] танцевать-IPF-CONV COP
Гости, пока Саид играет на гармошке, танцуют.

2.2.5. Маркирование актанта симметричного предиката

Комитативные конструкции в узком смысле служат для референции ко множественному участнику. Аналогичным образом ФКК могут использоваться при симметричных предикатах, т.е. тех, которые обязательно требуют наличия множественного участника. В этом случае, в отличие от собственно КК, комитативная группа является синтаксическим актантом предиката: она не может быть опущена, если центральная ИГ обозначает единичного участника.

(2.9) а. *Петя познакомился с Машей в прошлом году.*
б. **Петя познакомился в прошлом году.*

Симметричные предикаты по ряду причин не могут служить диагностическим контекстом для выявления комитативных конструкций. Зачастую для симметричных предикатов используются средства, нехарактерные для собственно КК. Так, в китайском языке помимо комитативных показателей *gēn* 'следовать/COM' и *hé* 'COM' существует предикат/предлог *tóng* 'быть одинаковым/COM', который в предложном употреблении маркирует только актанты симметричных предикатов, но не образует собственно КК:

китайский < КИТАЙСКИЕ < СИНО-ТИБЕТСКИЕ

[Hagège 1975: 70; КРС 1990]

(2.10) yú píngcháng bù-tóng
к обычный NEG-БЫТЬ_ОДИНАКОВЫМ/COM
(Это) не то же самое, что обычно.

ПРЕДИКАТ

(2.11) tā tóng wǒ yīyàng

3 COM I одинаковый

Мы с ним [= он со мной] одинаковые.

СИММ. АКТ.

Симметричным предикатам вообще свойственно разнообразие доступных моделей управления. Одни способы выражения МНУ подчеркивают симметричность элементарных участников (напр., множественная ИГ: *война между Англией и Францией*, в

меньшей степени ФКК: война с Францией), другие выводят на первый план семантику их ролей (война против Франции). Кроме того, известны языки, напр., австралийский язык нгиямбаа (< ПАМА-НЬЮНГА), где множественный аргумент при некоторых симметричных предикатах, а именно при взаимных глаголах, в пределах одной клаузы не может быть выражен никаким образом, кроме единой ИГ с множественной референцией [Maslova 2000]: при раздельной референции к участникам необходимо использовать полипредикативную конструкцию.

2.2.6. Комитатив при предикатах, производных от симметричных

На примере русского языка можно видеть, что симметричные предикаты могут иметь несимметричные употребления (ср. (2.12)–b, (2.13)), в которых сохраняется оформление актантов с помощью КК, хотя роли участников различаются. Центральная ИГ соответствует Агенсу (говорящему), а КГ – Адресату, в соответствии с семантикой предиката ('приветствовать друг друга' > 'приветствовать').

(2.12) а. *Они тепло поздоровались друг с другом.*

б. *Я с ним поздоровался, а он со мной нет.*

(2.13) *Я с тобой больше не дружу!*

Другой возможный случай показан в (2.14). Если в предыдущем примере мы наблюдали утрату компонента взаимности при сохранении таксономического класса участников, то в (2.14)-а Спутник принадлежит уже к другому классу, чем Ориентир.

(2.14) а. *Вася неустанно борется с несправедливостью.*

б. **Несправедливость неустанно борется с Васей.*

И в этом случае производный предикат наследует способ выражения актантов несмотря на изменения в семантике. Новая ситуация принципиально не может рассматриваться как симметричная, отсюда невозможность (2.14)-b. Как кажется, именно под влиянием подобных употреблений за комитативной группой могла закрепиться специфическая ролевая семантика, развитие которой на базе собственно комитативных употреблений объяснить сложно (см. § 3.5.6), как, например, маркирование адресата глаголов говорения (*говорить с кем* > *сказать кому*).

2.2.7. Маркирование актантов и сирконстантов при несимметричных предикатах

Одной из важнейших структурных разновидностей ФКК можно назвать ту, в которой Спутник, выраженный комитативной группой, получает собственную ролевую семантику как самостоятельный участник ситуации, независимый от Ориентира. (В таких конструкциях Ориентир может быть вообще исключен из рассмотрения.)

При этом в одних употреблениях КГ может быть однозначно признана семантическим актантом вершинного предиката, в других – однозначно сирконстантом, относительно третьих решение будет зависеть от принимаемого теоретического подхода к вопросу об их разграничении. В русском языке к первым относятся, например, КГ, выражающие при определенных группах предикатов обязательных участников, роль которых обычно близка к Пациенсу (2.15) или к Теме (2.16).

(2.15) *Что с ним случилось?*

(2.16) *С бензином у нас перебои.*

Несомненно сирконстантные употребления ФКК включают, например, обстоятельства времени (2.17) и образа действия (2.18).

(2.17) *Баг с последним ударом колокола ступил на влажные плиты террасы.* [X. ван Зайчик]

(2.18) *Он посмотрел на нас с недоверием.*

В последних двух примерах Спутник принадлежит к классу ситуаций, но, в отличие от сентенциальных ФКК, выражается именной группой (т.е., в большинстве случаев, номинализацией). Благодаря этому может создаваться иллюзия, что конструкция не отличается от собственно комитативной. Очевидно, однако, что подлежащее не является в данном случае Ориентиром для комитативной группы: они не имеют одинаковой семантической роли.

2.2.8. Сочинительная модификация

Широко распространены в языках мира сочинительные КК – формально комитативные конструкции, которые, несмотря на косвенное морфологическое маркирование периферийной ИГ (характерное для несимметричных отношений синтаксической зависимости), синтаксически проявляют, полностью или частично, свойства сочинительных конструкций (синтаксически симметричных).

Например, русские сочинительные комитативные конструкции (2.19) отличаются от собственно комитативных согласованием предикатной вершины «по сумме» центральной и периферийной ИГ, обязательным контактным расположением двух ИГ, невозможностью выноса одной из ИГ (ср. **Петя уехали с женой в Прагу*; *{*Петя с кем / Кто с женой*} *уехали в Прагу*). Одним из возможных средств достижения симметрии является повторение комитативного маркера на всех ИГ.

(2.19) *Петя с женой уехали в Прагу.*

японский < АЛТАЙСКИЕ

[Stassen 2000: 32]

(2.20) **John to Mary to Tom to ga kita**
 Джон СОМ Мэри СОМ Том СОМ SUBJ **приходить**
Пришли Джон, Мэри и Том.

2.3. Конструкции с дополнительной предикацией

Напомним, что в КК с дополнительной предикацией маркер комитатива является сам по себе предикатом, который может подчиняться смысловому предикату или подчинять его. Центральная и периферийная ИГ фактически являются актантами предиката-маркера комитатива. КК с дополнительной предикацией могут располагать тем же набором модификаций, что и КК с маркированием на зависимом, например, сочинительными. Их особенностью являются ФКК, в которых комитативный маркер выступает как независимый предикат:

китайский < КИТАЙСКИЕ < СИНО-
 ТИБЕТСКИЕ

[Hagège 1975: 319; Li, Thompson 1981: 364]

(2.21) **Jin Gui biàn gēn Yu Feng zǒu le КОМИТАТИВ**
 Цзинь Гуй тогда [следовать/СОМ Юй Фэн]] уходить COS
Тогда Цзинь Гуй ушел с Юй Фэном.

(2.22) **jǐngchá gēn-le tā sān tiān le НЕЗАВИСИМЫЙ**
 полиция СЛЕДОВАТЬ-PF 3 три день COS ПРЕДИКАТ
Полиция преследовала его три дня.

2.4. Конструкции с вершинным маркированием

В собственно комитативных конструкциях с вершинным маркированием показатель комитатива в глаголе маркирует добавление комитативной группы как актанта. ФКК с этими показателями также обычно маркируют некоторую актантную деривацию (например, каузатив или реципрок). Можно заметить, что отдельный кластер образуют употребления ФКК с естественно множественными предикатами (см. § 3.4).

киньяруанда < БАНГУ < НИГЕР-КОНГО	[Maslova 2000: 8]		
(2.23) -kurèba	umugabo>	kurèb<an>a	РЕЦИПРОК
смотреть	человек	смотреть<COM/REC>	
<i>смотреть на человека>смотреть друг на друга</i>			

3. СЕМАНТИЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ ФОРМАЛЬНО КОМИТАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Копредикатные ФКК

- (3.1) *Петя пришел к нам в гости с альбомом новых фотографий.* КОПРЕДИКАТ
- аякучо кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Parker 1969: 58–59]
- (3.2) wasi-yuq-nintin gi-n КОМИТАТИВ
- дом-PROPR-COM2 уходить-3SG
- Он идет со своим хозяином [= имеющим дом].*
- (3.3) rukfana-ntin gi-puga КОПРЕДИКАТ
- игрушка-COM2 уходить-3SG.PST
- Он ушел со своей игрушкой.*

Копредикатные ФКК широко распространены в индоевропейских языках (романские, германские, славянские); они также зафиксированы, среди прочих, в баскском, тамильском, супире, нкоре-кига, аякучо кечуа, удэгейском. К сожалению, во многих описаниях они смешиваются с другими употреблениями комитативных конструкций.

3.1.1. Ролевая vs. копредикатная трактовка

Копредикатные ФКК во многих работах смешиваются с КК, и им может приписываться некоторая специфическая ролевая семантика, ср. определение В.А. Плунгяна: «роль второстепенного агенса, сопровождающего действия главного (*пришел с друзьями*) и/или объекта, который имеет при себе главный участник ситуации (*как настоящий англичанин, он спал с грелкой*)...» [Плунгян 2000: 170] (здесь в первом примере представлена собственно КК, а во втором – копредикатная ФКК). Представляется, однако, что свойство ‘быть объектом, который имеет при себе главный участник ситуации’ не составляет описания роли участника ситуации (см. [Архипов 2005] об определении комитатива). Копредикатные употребления комитатива гораздо более естественно рассматривать аналогично другим копредикатам: синтаксически они зависят от главного предиката, семантически определяют одного из участников. Семантические отношения, возникающие между Ориентиром и Спутником в такой ФКК, могут быть описаны как частный случай предикативных отношений, возможных в данном языке между двумя именами. Некоторые специфические черты им все же присущи, а именно:

1. Ситуация, выражаемая копредикатом, имеет место во временной рамке ситуации, выраженной главным предикатом (общее свойство характеризующих копредикатов).

2. Копредикатные ФКК чаще всего строятся с глаголами движения или позиции, как и прототипические комитативные конструкции.

3. Наконец, типы (классы эмпатии) участников в копредикатных ФКК не вполне произвольны: речь обычно идет об одушевленном Ориентире и неодушевленном предмет-

ном Спутнике. Дело в том, что в случае совпадения характеристик Спутника и Ориентира (в частности, признака одушевленности), конструкция с большой вероятностью интерпретируется как собственно комитативная. Асимметрия Спутника и Ориентира, их неравная способность быть участниками Ситуации и открывает дорогу копредикатной интерпретации.

Именно в силу сочетания трех указанных признаков и возникает отраженный в традиционных определениях семантический эффект: типичным случаем отношения между одушевленным участником ситуации движения и неодушевленным предметом, при условии временного включения в саму ситуацию движения, является отношение каузативного перемещения (*X идет с Y-ом ≈ X несет Y*) или, шире, актуального обладания (*X идет с Y-ом ≈ у X-а [с собой] есть Y*).

3.1.2. Спутник – часть тела Ориентира

У копредикатных ФКК можно выделить особую разновидность, в которой Спутник является частью тела Ориентира. В этих конструкциях посессивные отношения между Спутником и Ориентиром носят не актуальный, а постоянный характер. Требование временной вложенности выполняется за счёт отдельного предиката, характеризующего Спутник и выраженного атрибутивной синтагмой. Отличается здесь и информационная структура: в (3.4) основным содержанием всей конструкции является обладание ('у него была монтировка'), в (3.5) – характеристика части тела ('его лицо было перепачкано').

(3.4) *Люк открылся, показался человек с монтировкой.*

(3.5) *Люк открылся, показался человек с перепачканным лицом.*

Не во всех языках копредикатные ФКК имеют такие употребления. Так, например, во французском языке, в отличие от русского и немецкого, характеризующие копредикаты с частями тела выражаются абсолютными оборотами:

французский < РОМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ

(3.6) *Il est rentré avec un gros sac.*

КОПРЕДИКАТ: ПРЕДМЕТ

Он вернулся с огромным мешком.

(3.7) *Il est resté bouche bée.*

КОПРЕДИКАТ: ЧАСТЬ ТЕЛА

Он остался (стоять) с открытым ртом.

немецкий < ГЕРМАНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ

[Любимова 2002]

(3.8) *Er kam mit Blumen und einem Geschenk.*

КОПРЕДИКАТ: ПРЕДМЕТ

Он пришёл с цветами и подарком.

(3.9) *Er stand mit offenem Mund da.*

КОПРЕДИКАТ: ЧАСТЬ ТЕЛА

Он стоял с открытым (от удивления) ртом.

3.2. Определительные ФКК

имбабура кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ

[Cole 1985: 114]

(3.10) *tika maki-wan gupa*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

грязный рука-СОМ1 человек

ЧАСТЬ ТЕЛА

человек с грязными руками

Вообще говоря, спектр семантических отношений, потенциально возможных между ИГ-вершиной и ИГ-зависимым⁵, чрезвычайно широк – от разного рода «посессивных» (*дом отца, опера Чайковского* и т.д.) до местных и временных (*человек из Рио, любовь с первого взгляда*). Комитативные показатели главным образом тяготеют к

⁵ Включая сюда зависимые ИГ, оформленные предложениями/послелогоми и/или косвенными падежами.

выражению посессивных отношений, но ориентированных противоположно генитивной группе, где вершина соответствует обладаемому, а зависимое – посессору. В определительных ФКК посессор выражается вершинной ИГ, а обладаемое – определением: ср. [крыша [дома]] vs. [дом [с красной крышей]]. Подобные конструкции называются проприетивными.

По выражению К. Лемана, английские словосочетания (a) *the old man's dog* 'собака старика' и (b) *the old man with the dog* 'старик с собакой' отражают одни и те же когнитивные отношения между человеком и собакой; но в примере (a) *старик* используется для референции к *собаке*, а в (b), наоборот, *собака* используется для референции к *старик*у. [Lehmann, Shin 2005: 21]. Тем не менее, проприетивные конструкции нельзя заведомо рассматривать как точное зеркальное отображение генитивных. Для разных языков и разных показателей набор покрываемых той или иной конкретной конструкцией семантических отношений может различаться весьма существенно. Например, во французском языке проприетив выражается не с помощью комитативно-инструментального *avec*, а с помощью дативно-лативного предлога *à*, напр.: *L'homme à la lèvre tordue* 'Человек с рассеченной губой'⁶. Ср. англ. *The man with the twisted lip* '[то же]'. Примечательно, что в некоторых случаях этот же предлог может, наряду с общим генитивно-аблативным *de*, выражать и «прямые» посессивные отношения, ср.: *la femme à Ernest* 'жена Эрнеста (разг.)' / *la femme d'Ernest* 'жена Эрнеста (станд.)'; *un ami à moi* '(один) мой друг'.

3.3. Предикативные ФКК

3.3.1. Обладание

Как и в предыдущих двух случаях, одним из основных видов семантических отношений в предикативных ФКК являются посессивные. По данным Л. Стассена, комитативная стратегия выражения предикативного обладания распространена в Африке южнее Сахары, в восточно-австронезийских и папуасских языках. Ср. пример маркирования на зависимом:

санго < УБАНГИ < НИГЕР-КОНГО [Stassen 2001: 956]
 (3.11) lo eke na bongo
 3SG быть COM одежда
 У него/нее есть одежда [= Он(а) с одеждой].

Л. Стассен указывает, что «языки, которые используют [этот] комитативный показатель на обладаемых ИГ, также используют этот показатель как средство сочинения именных групп...» [Stassen 2001: 956]. Против этого, однако, имеются контрпримеры.

В частности, в монгольском и бурятском комитативный показатель маркирует предикативное обладание, но для сочинения ИГ имеются специальные средства. В монгольском языке сочинительная конструкция образуется с помощью числительного с покрывающей референцией ((3.14)-а) или с помощью заимствованных из книжного языка союзов ((3.14)-б). Если сочинительная комитативная конструкция и возможна, то во всяком случае она не является основным средством соединения ИГ. В языке супире комитатив выражается комбинацией предлога *на* и послелога *иле*. Этим же средством может маркироваться предикативное обладание. В функции координатора, однако, используется только предлог; таким образом, маркеры морфологически связаны друг с другом, но не совпадают [Carlson 1994].

монгольский < МОНГОЛЬСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ
 (3.12) би Лувсанжав-тай ир-эв КОМИТАТИВ
 1SG Лувсанжав-СОМ приходит-PST [Интернет]
 Я пришел с Лувсанжавом.

⁶ Название одного из рассказов А. Конан-Дойля; букв. «с изуродованной губой».

- (3.13) би ном-той ПРЕДИКАТИВНОЕ ОБЛАДАНИЕ
 1SG книга-СОМ [Цэдэндамба 1978: 17 сн. 1]
У меня есть книга [= Я с книгой].
- (3.14) а. Цэрэн Бат хоёр б. Цэрэн болон Бат СОЧИНЕНИЕ ИГ
 Цэрэн Бата два Цэрэн И Бата [Санжеев 1960: 79]
Цэрэн и Бата

Что касается вершинных маркеров комитатива, то они могут образовывать переходные глаголы обладания, присоединяясь к непереходным глаголам типа 'быть'. Такая транзитивизация нередко происходит путем переразложения сочетаний с комитативным маркером на зависимом, который превращается в клитику или инкорпорируется внутрь предиката.

- луганда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Stassen 2001: 956]
 (3.15) o-li-na ekitabо ПРЕДИКАТИВНОЕ
 2SG-быть-СОМ книга ОБЛАДАНИЕ
У тебя есть книга [= Ты с книгой].

В языке сонгаи, например, комитативный предлог *nda* образует глаголы: *goo-nda* 'иметь' < *goo* 'быть'; *sii-nda* // *šii-nda* 'не иметь' < *sii* // *šii* 'не быть'; *bara-nda* 'иметь' < *bara* 'быть, существовать'; *čindi-nda* 'обычно иметь' < *čindi* 'оставаться' [Heath 1999: § 6.2.5].

3.3.2. Другие семантические разновидности

Предикативные употребления комитатива могут иметь и другие значения, помимо посессивных. Во-первых, семантика обладания естественнее всего возникает при различии в эмпатии Ориентира и Спутника, ср. (3.11), (3.15). При равной эмпатии участников обычно появляется другая интерпретация, лежащая ближе к совместной или локативной: ср. рус. *Не бойся, я с тобой!*; *Мысленно с вами!*

Но и различие в эмпатии не предопределяет автоматически семантических отношений в предикативной ФКК. Так, в арчинском языке наиболее стандартная интерпретация таких конструкций предполагает не обладание предметом, а некоторую активную деятельность в связи с этим предметом, часто его починку (ср. рус. *возиться с чем-л.*):

- арчинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНОКАВКАЗСКИЕ
- | | |
|--|---|
| (3.16) zon noL'-li-ɬ:u iwdi | (3.17) zon noL'-li-ɬ:u erdi |
| 1SG дом-OBL-СОМ М.БЫТЬ.PF | 1SG дом-OBL-СОМ F.БЫТЬ.PF |
| <i>Я отремонтировал дом [= был с домом].</i> | <i>Я работала по дому [= была с домом].</i> |

Наконец, если обратиться КК с дополнительной предикацией, то для них предикативными ФКК будут являться самостоятельные употребления этих глаголов (т.е. в качестве вершины независимой предикации). Ясно, что в таком случае «сопутствование в чистом виде» может оказаться весьма отличным от обладания. Напомним, что КК с дополнительной предикацией могут образовывать глаголы со значениями: 'следовать', 'сопровождать', 'иметь', 'держат', 'брать' [Stassen 2000: 20]; к этому списку следует добавить значение 'быть одинаковым', а также «чисто комитативные» глаголы ('быть/находиться с (кем)').

- китайский < КИТАЙСКИЕ < СИНО-ТИБЕТСКИЕ [Hagège 1975: 319; 87]
- | | |
|---|-----------|
| (3.18) Jin Gui biàn gēn Yu Feng zǒu le | КОМИТАТИВ |
| Цзинь Гуй тогда СЛЕДОВАТЬ/СОМ Юй Фэн уходит СОС | |
| <i>Тогда Цзинь Гуй ушел с Юй Фэном.</i> | |

(3.19) wǒ jìu gēn-le wǒ dà 'СЛЕДОВАТЬ'
 I тогда СЛЕДОВАТЬ-PF I отец
Тогда я пошел за отцом.

В отличие от китайского, в языке цоциль предикат, образующий комитативную конструкцию, в самостоятельном употреблении интерпретируется как стативный (*быть с кем*), а не динамический (*следовать за кем*). Переходный неглагольный предикат *-chi7uk* 'быть с (кем)' согласуется с двумя своими аргументами (3.21). Однако застывшая форма третьего лица *xchi7uk* также функционирует как предлог (3.20) и как сочинительный показатель.

цоциль < МАЙЯ < ПЕНУТИ [Aissen 1987: 194, 185]
 (3.20) mi ch-a-bat xchi7uk a-tot? КОМИТАТИВ
 Q IPF-2.P-уходить COM 2-отец
Ты ходил с отцом?

(3.21) ja7 j-chi7uk-ot 'БЫТЬ С'
 EMPH 1.A-БЫТЬ_С-2.P
Я с тобой.

Исходным для показателя *hoo* 'быть с' в языке тетун является, по-видимому, глагольное употребление типа (3.22). Второе значение этого глагола, 'иметь', покрывает широкий спектр посессивных отношений [van Klinken 2000: 361]. С посессивным значением глагола *hoo* связана непереходная форма *noo* 'иметься, существовать' с застывшим показателем третьего лица *n-* (3.25).

тетун < ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < [van Klinken 2000: 358–362]
 АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ

(3.22) ha'u k-oo emi 'БЫТЬ С'
 ISG ISG-БЫТЬ_С 2PL
Я с вами {так что не бойтесь}.

(3.23) ha'u la'o k-oo ha'u-kan ina-n КОМИТАТИВ
 ISG идти ISG-БЫТЬ_С ISG-POSS мать-GEN
Я шел с (моей) матерью.

(3.24) ha'u k-oo ina kaa lale ОБЛАДАНИЕ
 ISG ISG-БЫТЬ_С мать или нет
У меня есть мать или нет? [= Я с матерью или нет?]

(3.25) dadī ema sei la noo 'СУЩЕСТВОВАТЬ'
 так человек еще NEG СУЩЕСТВОВАТЬ
Итак, людей {на Земле} еще не было.

В риау индонезийском макрофункциональное слово *sama* (см. § 3.5 *passim*) в предикативном употреблении означает 'быть одинаковым'.

3.4. Естественно множественные конструкции

3.4.1. Вершинные маркеры естественно множественных предикатов

Естественно множественными предикатами мы будем называть такие предикаты, которые подразумевают обязательное наличие у ситуации множественного участника. Естественно множественные предикаты складываются из нескольких разнородных классов (совместные, взаимные и пр.), принадлежность к любому из которых невозможна без множественного участника. Во многих языках мира, однако, существуют показатели, покрывающие два или более из этих классов. Рассмотрим примеры из тюркских и монгольских языков.

В тюркских языках существует глагольный суффикс *-(V)c-l-(V)u-l-(V)h-*; набор его функций различается по языкам, но в целом можно отметить реципрокальную, социативную

(совместную), комитативную и ассистивную функции. Традиционное название – совместно-взаимный (взаимно-совместный) залог. Как отмечает В.П. Недялков [2004: 20], «полисемия показателя, включающая все четыре значения, характерна для таких языков как якутский, татарский, тувинский, туркменский, казахский, и не наблюдается, например, в турецком, азербайджанском, карачаево-балкарском, где нет ассистивного значения».

Ассистивом называется разновидность актантной деривации, добавляющая участника-Помощника. В отличие от Каузатора в каузативной конструкции, Помощник не является инициатором ситуации. Помощник в ассистивной конструкции выражается подлежащим, а главный Агенса-инициатор – дополнением, обычно дативным (башкирский, хакасский, якутский) или с послелогом (*кытта 'с'* – якутский). Отмечается, что ассистив не употребляется в случае равноправного участия Помощника и главного Агенса [Харитонов 1963].

- якутский < ТЮРКСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Харитонов 1963]
 (3.26) Үлэ-ҕэ КИМ бар-ыс-та? КОМИТАТИВ
 работа-DAT кто.Q уходить-POLY-PST
Кто пошел вместе (с кем-то) на работу?
- (3.27) КИНИ {МИ-ЭХЭ/МИИГИНКЫТТА} ОТ ТИЭЙ-ИС-ТЭ АССИСТИВ
 он я-DAT/я:ACC COM трава возить-POLY-PST
Он мне помогал возить сено.
- (3.28) тураах-тар даа ҕын-аһ-ал-лар СОВМЕШНОСТЬ
 ворона-PL каркать-POLY-PRS-3PL
Вороны каркают (все вместе, дружно).
- (3.29) илии тут-ус-ту-лар РЕЦИПРОК
 рука держать-POLY-PST-3PL
Они пожали друг другу руку.

В монгольских языках функцию суффикса «совместного залога» *-лса/-лица-* можно описать как комитативно-ассистивную: главный Агенса выражается комитативным или инструментальным дополнением, «тогда как предмет-подлежащее выступает лишь в качестве его соучастника на начальном или заключительном этапе действия» [Санжеев (ред.) 1962: 239].

- монгольский < МОНГОЛЬСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Санжеев 1960: 65]
 (3.30) Цэрэн бол Дамдин-тай ажил хий-лц-эв КОМИТАТИВ/
 Цэрэн СОР Дамдин-СОМ работа делать-SOC-PST АССИСТИВ
Цэрэн работал с Дамдином {Дамдин работал, а Цэрэн к нему присоединился}.
- бурятский < МОНГОЛЬСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Санжеев (ред.) 1962: 239]
 (3.31) Доржо эсэгэ-тэээ газаа гара-лса-ба КОМИТАТИВ
 Доржи отец-SOM:POSS на.улицу уходить-SOC-PST
Доржи вместе с отцом вышел на улицу.

Наряду с введением дополнительного Агенса, совместный залог может означать, что «попутным является какой-нибудь объект» (объектный комитатив; (3.32)) или что «какое-л. действие само является попутным, совершаемым в ходе выполнения другого» (добавление фоновой предикации; (3.33)) [Санжеев 1960: 65].

- монгольский < МОНГОЛЬСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Санжеев 1960: 65]
 (3.32) тэр гутл-аа ова-лц-ав ОБЪЕКТНЫЙ КОМИТАТИВ
 тот сапог-POSS брать-SOC-PST
{Заодно с другими вещами он} прихватил и те сапоги.

- (3.33) гол тийш явахдаа мин-ий морь хара-лц-аарай ФОНОВАЯ
 река в.сторону уходить:CONV я-GEN конь смотреть-SOC-OPT ПРЕДИКАЦИЯ
Когда будешь идти к реке, (заодно) посмотри, нет ли там моей лошади.

Кроме того, совместный залог может употребляться в функции взаимного, и наоборот (монгольский [Санжеев 1960: 65]; бурятский [Санжеев (ред.) 1962: 241]), а также при естественно взаимных предикатах (напр. 'беседовать') и (преимущественно в монгольском) «для простого обозначения множества субъектов» [Санжеев 1960: 65].

3.4.2. Маркирование симметричных актантов

В случае симметричных актантов имеет смысл говорить не столько о семантических разновидностях ФКК, сколько об их сочетаемости с различными подклассами симметричных предикатов. Можно выделить по крайней мере следующие подклассы: взаимные предикаты (получающие наиболее эксплицитное поверхностное маркирование взаимности), естественно взаимные (в которых взаимность может, в зависимости от языка, не маркироваться вовсе или маркироваться более «легкими» средствами) и невзаимные предикаты. Невзаимные симметричные предикаты (типа *дружить*, *танцевать*, *совпадать*, *одинаковый*) предполагают наличие множественного участника, но каждый элементарный участник соответствует только одной семантической роли, а не двум разным ролям, как у взаимных предикатов.

Различия между языками, допускающими комитативное оформление МНУ симметричных предикатов, сводятся главным образом к возможности или невозможности выражения МНУ при [маркированно] взаимных предикатах. Помимо этого, значительную роль играет индивидуальная сочетаемость конкретных предикатов.

русский < СЛАВЯНСКИЕ < ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ

- (3.34) *На вечеринке Петя танцевал с Машей.* СИММ., НЕВЗАИМНЫЙ
 (3.35) **Петя женат с Машей.* / **[Петя с Машей] женаты.* СИММ., НЕВЗАИМНЫЙ
 (3.36) *Петя познакомился с Машей в прошлом году.* СИММ., ЕСТЕСТВЕННО
ВЗАИМНЫЙ
 (3.37) **И тут вдруг Петя увидел друг друга с Машей.* СИММ., ВЗАИМНЫЙ

имбабура кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ

- (3.38) *Maruya-wan tushu-rka-ni* [Cole 1985: 105]
 Мария-COM1 танцевать-PST-1SG СИММЕТРИЧНЫЙ
Я танцевал с Марией. НЕВЗАИМНЫЙ

тамильский < ДРАВИДИЙСКИЕ

- (3.39) *kaṇṇaṇ ḍaaktar-oote* *reccinaan* СИММЕТРИЧНЫЙ
 Каннан доктор-COM говорить:PST.3SG.M ЕСТЕСТВЕННО
Каннан поговорил с доктором. ВЗАИМНЫЙ

аякучо кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ

- (3.40) *giku-na-ku-n qan-wan* [Parker 1969: 69]
 видеть-REC-MED-3 2SG-COM1 СИММЕТРИЧНЫЙ
Вы с ним видите друг друга [= он видит друг друга с тобой]. ВЗАИМНЫЙ

3.5. Актанты и сирконстанты при несимметричных предикатах

Среди семантических функций актантных ФКК наиболее изучена инструментальная; ср., например, серию работ Т. Штольца и его коллег [Stolz 1996; 1996a; 2001; 2001a]. Роль Инструмента, в свою очередь, тесно связана с ролью Агенса и с обстоятельствами Образа действия. И. Шлезингер высказывал предположение, что оппозиции «Инструмент – Агенс» и «Инструмент – Образ действия» имеют континуальный

характер [Schlezinger 1989]. В нескольких языках комитатив употребляется для выражения Агенса в пассивной конструкции и Каузируемого агенса (Causee); в индонезийском Риау отмечается также использование «макрофункционального» показателя *sa-ta* для обозначения Переходного агенса (вне диатезных преобразований) [Gil 2004].

Далее среди распространенных «ролевых» функций ФКК следует упомянуть функции, связанные с экспериенциальными глаголами (Стимул эмоции: *рассердиться на кого*; Экспериенцер: *нравиться кому*) и с временными посессивными отношениями (Реципиент: *дать кому*; Источник: *получать от кого*; Владелец: *оставить у кого*). Некоторые функции возможно интерпретировать как наследие симметричных предикатов; в частности, использование комитативных показателей для обозначения Стандарта сравнения (особ. равенства: *большой, как что*), Адресата при глаголах говорения (*сказал кому*), одной из границ интервала, расстояния (*от чего до чего*). Из распространенных обстоятельственных функций ФКК отметим выражение апудэссива (локализации 'около'), одновременности, условия, уступки, образа действия.

3.5.1. Инструмент (Орудие)

Роль Инструмента в широком смысле (Орудия в терминах Е.В. Муравенко [1994 и др.]) понимается как роль участника, на который воздействует Агенса и который вследствие этого оказывает воздействие на Пациенса. Семантическая зона орудийности имеет сложную внутреннюю структуру. Наиболее известные частные категории внутри этой зоны включают Средство, Материал, Средство передвижения (Транспорт). Все они могут выражаться комитативными показателями.

О распространенности и ограничениях синкретизма показателей комитатива и инструменталиса в языках мира см. [Stolz 1996a]. В качестве объяснения оснований для возникновения такого синкретизма можно принять схему Т. Штольца [Stolz 2001a: 172]. Комитативная конструкция вводит двух участников с *одинаковой* семантической ролью, часто (но не обязательно) – двух Агентов. Инструменталис же обозначает участника агентивной ситуации (предполагается наличие Агенса), который имеет частично агентивные свойства (в частности, контроль [Lehmann, Shin 2005: 13]). Т. е. в такой ситуации есть два участника с *похожими* ролями, сходными с ролью Агенса. (Аналогичное объяснение было предложено в личной беседе Ю.А. Ландером.)

3.5.1.1. Обязательное vs. факультативное орудие

Как отмечает Е.В. Муравенко, семантическая орудийная валентность в большинстве случаев в предложении не выражается, т.е. соответствующий синтаксический актант факультативен: ср. *Хозяйка нарезала хлеба к обеду* [Муравенко 1998: 184]. Упоминание Орудия появляется в основном в тех случаях, когда он обладает какими-либо важными отличительными свойствами, либо когда используется неожиданное, нестандартное Орудие: ср. *Я не могу нарезать колбасу этим тупым ножом; Он вскрыл консервную банку гвоздем, так как под рукой не оказалось консервного ножа*. «Однако семантическая орудийная валентность в приведенных примерах обязательна (действия 'нарезать' или 'вскрыть банку' не мыслятся без орудия)» [Там же: 185]. Это наблюдение, видимо, касается главным образом так наз. глаголов способа, семантика которых предполагает определенный стандартный тип Инструмента (*резать, красить, пилить*) или Средства. При глаголах результата явное упоминание Орудия представляется менее маркированным, ср. *измельчить в мясорубке, разогреть в духовке* и т.д.

Действия типа *резать* в нормальном случае не мыслятся без Инструмента, поскольку у человека нет органа, приспособленного для резания. Однако существуют также действия, которые могут быть выполнены без применения Орудия: *рассматривать окрестности в бинокль / невооруженным глазом, чистить зубы пастой / щеткой без пасты*. При соответствующих предикатах орудийная семантическая валентность является факультативной [Муравенко 1998: 185]. Оказывается, что именно категория

факультативного Орудия существенна для описания русских формально комитативных конструкций: «Представляется целесообразным выделять категорию факультативности орудия, поскольку в русском языке есть специальная форма для ее выражения – с + тв[орительный] п[адеж]. Эта форма может использоваться в большинстве случаев факультативности орудия независимо от характера действия, например: *вышивать с пальцами (на пальцах)*, ...*подсчитать сумму с калькулятором (на калькуляторе)*, ...*нырять и плавать с аквалангом (в акваланге)*, ...*петь с микрофоном (в микрофон, через микрофон)*, *мыть руки с мылом (мылом)*...» [Там же: 185].

Инструментальная ФКК в русском языке часто обозначает Инструмент контроля («такой способ использования инструмента, когда агенс сверяет (приводит в соответствие) пациенс с показаниями инструмента» [Там же: 186]), имеющий стандартную форму выражения *по + твор. падеж (следить за временем заплыва (за заплывом) по секундомеру/с секундомером)*. Особенно часто КК употребляется в данной функции при эллипсисе глагола контроля, когда формально орудийная ИГ подчиняется предикату, обозначающему более общую ситуацию: *пройти маршрут с компасом (= 'пройти маршрут, контролируя направление движения по компасу')*, *считать с таблицами, читать и переводить со словарем...* [Там же: 186–187].

«В некоторых случаях форма с + тв. п. является единственной для выражения орудийного значения: *идти с палкой* = 'идти, опираясь на палку', *идти в темноте с фонариком* = 'идти в темноте, освещая путь фонариком'... В большинстве случаев факультативное орудие облегчает действие (*шить с наперстком*) или усиливает, улучшает его результаты (*рассматривать иероглифы с лупой*), по существу не меняя характера действия. В некоторых же случаях глагол, управляющий именем орудия в форме с + тв. п., можно считать реализующим другое, новое значение: *прыгать с шестом, прыгать с парашютом*» [Там же: 187].

Оппозиция обязательного vs. факультативного Орудия прослеживается не только в русском языке. Так, в баскском языке, где комитатив и инструменталис выражаются разными падежами, смысл 'охотиться с ружьем' передается с помощью комитатива (в отличие от смысла 'стрелять из ружья'):

баскский (изолят, ЕВРОПА)

(3.41) *eskopeta-rekin ehiza-tzen d<it>u orein-ak* ФАКУЛЬТ.
 ружье.DET-COM охотиться-PART.IPF AUX<3PL.P>3SG.A олень-PL ИНСТРУМЕНТ
Он охотится на оленей с ружьем.

(3.42) *eskopeta-z tiro egin du* ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
 ружье.DET-INS стрелять делать AUX.3SG.P + 3SG.A
Он выстрелил из ружья.

3.5.1.2. М а т е р и а л

Материал – разновидность ингредиентного Средства, из которого создается Пациенс. Материал нередко выражается синкретично с Инструментом, но довольно редко – с комитативом. В моей выборке во всех случаях маркер, выражающий одновременно Материал и комитатив, выражает также Инструмент:

удэгейский < ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Nikolaeva, Tolskaya 2001: 567]
 (3.43) *bi abuga-i men-e sita-zi: eme:-ti* КОМИТАТИВ
 1SG отец-1SG REFL-EP сын-INS.REFL. приходит.PST-3PL
(Мой) отец пришел со своим сыном.

(3.44) *ei unija-wa j'e-zi wo-so?* МАТЕРИАЛ
 этот ложка-ACC что-INS/COM делать-PART.PASS
Из чего сделана эта ложка?

3.5.1.3. Средство передвижения

Средство передвижения обычно рассматривается как особый вид Орудия. В частности, оно может кодироваться с помощью основного инструментального показателя (ср. рус. *поездом, самолетом*; баск. *tren-ez* 'на поезде' [поезд-INS]; япон. *densya-de* 'на поезде' [поезд-INS], [Lehmann, Shin 2005: 50]). Средство передвижения обычно характеризуется фиксированной пространственной конфигурацией относительно Передвигающегося, при этом своим размером сопоставимо с самим Передвигающимся или превосходит его. Это отражается в том, что во многих языках Средство передвижения кодируется как Место (ср. рус. *на лошади, на машине, на самолете*⁷; япон. *uma-ni not-te* 'на лошади' [лошадь-LOC ехать.верхом-CONV], *densya-ni not-te* 'на поезде' [поезд-LOC ехать.верхом-CONV], [Там же: 44]). Во-вторых, Средство передвижения само движется, как и Передвигающийся; следовательно, их роли частично совпадают, что позволяет кодировать Средство передвижения так же, как комитатив.

- ительменский < ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ [Georg, Volodin 1999: 83–84]
 (3.45) p'eç k'-ip]xe-] k'o]-en КОМИТАТИВ
 мальчик COM1-друг-COM1 приходит-3SG
Мальчик пришел с другом.
- (3.46) t-k'o]-kiçen atnoke k-leŋa-] СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
 1SG-приходить-1SG домой COM1-лыжи-COM1
Я пришел домой (в деревню) на лыжах.

В языке индейцев навахо комитативный предлог *-it* также употребляется при обозначении средства передвижения, включая верховых животных. Однако конструкция там зеркальна относительно приведенных выше примеров. Само средство передвижения выражается номинативом, а КГ обозначает того, кто перемещается:

- навахо < АТАПАСКСКИЕ < НА-ДЕНЕ [E. van Gelderen, л. с.; Young, Morgan 1992: 241]
 (3.47) b-it yi-sh-'ash КОМИТАТИВ
 3SG-COM PROG-1SG-идти.DU
Я иду с ним.
- (3.48) uootóodi chidí sh-it 'ilwod СУБЪЕКТ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
 Санта Фе автомобиль 1SG-COM бежать.PF
Я приехал в Санта Фе на машине. [= Машина прибежала в Санта Фе [в компании] со мной].

3.5.2. Агенс

Роль Инструмента, кроме того, тесно связана с ролью Агенса и с обстоятельствами Образа действия. И. Шлезингером, в частности, было высказано предположение, что оппозиции «Инструмент – Агенс» и «Инструмент – Образ действия» имеют континуальный характер [Schlezingen 1989].

Обращает на себя внимание, что в эргативных языках функции комитатива и эргатива не совмещаются, несмотря на регулярные совмещения функций эргатива и инструменталиса, а в неэргативных языках также инструменталиса и комитатива [Stolz 2001a]. При этом в диапазон ФКК попадают такие функции, как Агенс в пассивной конструкции (аякучо кечуа; реюньонский, маврикийский, сейшельский креолы) и вынужденный Агенс в каузативных конструкциях (Causee) (венгерский; аякучо кечуа),

⁷ «Форма на S_{np} при глаголах неавтономного перемещения всегда синкретично выражает значения инструмента и места» [Апресян 1995: 140].

т.е. синтаксически (и, возможно, семантически) «пониженные» воплощения агенса. Эти факты хорошо согласуются с требованиями пониженного структурного ранга ИГ в собственно комитативных конструкциях.

В этом отношении представляется исключительным отмеченное в индонезийском Риау использование «макрофункционального» (в т.ч. комитативного) показателя *sa-ta* для обозначения переходного агенса (вне диатезных преобразований) [Gil 2004].

3.5.2.1. Агенси в пассиве

Во многих языках Агенси в пассивной конструкции маркируется инструменталисом [Schlesinger 1989; Stolz 2001a]. Как и комитативная группа в КК при маркировании на зависимом, Агенси в пассиве занимает непрестижную позицию косвенного дополнения; отсюда бóльшая степень приемлемости объединения Агенса в пассиве и комитатива под одним показателем, по сравнению с совмещением функций комитатива и эргатива.

В подавляющем большинстве случаев при этом в качестве необходимого посредника выступает функция Инструмента: за одним известным исключением, показатели, совмещающие функции Агенса в пассиве и комитативе, выражает также и Инструмент. Этим исключением является суахили, где инструментальный маркер *kwa* противопоставлен комитативному *na*, который маркирует Агенси в пассиве. В других языках, в том числе родственных языках банту такой модели синкретизма не наблюдается [Stolz 2001a].

По данным Т. Штольца, функции комитатива, Инструмента и Агенса в пассиве совмещаются в языках бака, бамбара, кихунде, оромо, шона, умбунду (Африка), в кетском и в маратхи. В моей выборке такая модель синкретизма отмечается также в аякучо кечуа (см. выше) и нескольких креольских языках, в частности, сейшельском креоле.

сейшельский креол < ФРАНКО-КРЕОЛЬСКИЕ < КРЕОЛЬСКИЕ [Michaelis, Rosalie 2000: 81–82]

(3.49) mon'n travay vennset an Laprovidans avek Sye Raim КОМИТАТИВ
 1SG работать 27 год Ля Провиданс COM мсье Рахим
Я проработал 27 лет с мсье Рахимом в Ля Провиданс.

(3.50) pou fer servolan pou file ek difil ИНСТРУМЕНТ
 1PL делать воздушный.змея 1PL тянуть COM нитка
Мы сделали воздушного змея, мы его запустили на нитке [= с ниткой].

(3.51) mon'n ganny morde ek lisyen АГЕНС В ПАССИВЕ
 1SG получать кусать COM собаки
Меня покусали собаки [= Я был покусан с собаками].

3.5.2.2. Комитативные показатели в каузативных конструкциях

В языках с маркированием на вершине и на зависимом отмечено использование комитативных показателей в каузативных конструкциях. При этом наиболее близка к комитативу особая разновидность каузатива, которую М. Сибатани и П. Пардеша называют «социативным каузативом» [Shibatani, Pardeshi 2002]. Эта разновидность занимает промежуточное положение между прямой и непрямой каузацией и характеризуется тем, что каузатор сам принимает участие в ситуации, которую он каузирует:

номацигенга < МАЙПУРСКИЕ < АРАВАКСКИЕ [Wise 1990: 95]

(2.1) i-monti-ag-an-ë-gi КАУЗАЦИЯ + СОУЧАСТИЕ
 3М-переходить.реку-COM/CAUS-ABL-NONFUT-3М
Он помог ему перейти реку.

- мачигенга < МАЙПУРСКИЕ < АРАВАКСКИЕ [Wise 1990: 95]
 (2.2) по-panki-t-ag-ak-e-gi КАУЗАЦИЯ/КОМИТАТИВ
 1-сажать-ЕР-COM/CAUS-PF-NONFUT-3М
Я заставил его сажать (что-то). / Я сажал (что-то) (вместе) с ним.
- варгамай < ПАМА-НЬЮНГА [Dixon 1981: 78]
 (2.3) ɲaɖa ɖaɖa bapa-ma-gu КАУЗАЦИЯ + СОУЧАСТИЕ
 1SG.ERG ребенок возвращаться-COM/CAUS-PURP
Я должен отвести ребенка домой.
- (2.4) wiŋɖi-ŋgu ɲala bi:ɖa-ma-y КАУЗАЦИЯ
 змея-ERG 1SG бояться-COM/CAUS-UNMKD
Змея напугала меня.

В каузативных конструкциях, обозначающих социативный и не прямой тип каузации, присутствует по два участника с агентивными свойствами: Каузатор и вынужденный Агенс. Собственно комитативные конструкции вводят двух участников с одинаковыми ролями, часто – с ролью Агенса. Таким образом, наличие двух агентивных участников (которые могут различаться по некоторым другим признакам, ролевым или коммуникативным) составляет возможное общее основание для объединения функций комитатива и каузатива.

В отличие от эргативных и пассивных конструкций, где Агенс только один, для комитативно-каузативного синкретизма, видимо, не требуется (но допускается) посредничество инструментальной функции, по крайней мере в ФКК с вершинным маркированием. Для них характерна социативная разновидность каузации. Грамматические показатели, выражающие комитатив и социативную каузацию, встречаются в различных языках, в том числе в семьях тупи-гуарани, пама-ньюнга и аравакских языках.

- номацигенга < АРАВАКСКИЕ < ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ [Wise 1990: 95]
 (3.52) i-pi-ak-ak-a-gi КОМИТАТИВ
 3М-превращаться-COM/CAUS-PF-NONFUT.REFL-3М
Он исчез (вместе) с ним.
- (3.53) i-monti-ag-an-ë-gi АССИСТИВНАЯ КАУЗАЦИЯ
 3М-переходить.реку-COM/CAUS-ABL-NONFUT-3М
Он помог ему перейти реку.
- варгамай < ПАМА-НЬЮНГА [Dixon 1981: 78]
 (3.54) ɲulaŋga ɲulmbuɖu-ŋgu giŋɖu wuɲa-ma-lgani КОМИТАТИВ/СОВМ. КАУЗ.
 3SG.ERG женщина-ERG ребенок гулять-COM-CONT.TR.UNMKD
Женщина гуляет с ребенком {держит его за руку}.
- (3.55) ɲuɲa ɲulmbuɖu wuɲa-bali giŋɖu-giri КОМИТАТИВ/СОВМ. КАУЗ.
 3SG женщина гулять-CONT.INTR.UNMKD ребенок-COM
Женщина гуляет с ребенком {держит его за руку}.
- (3.56) ɲaɖa ɖaɖa bapa-ma-gu КОМИТАТИВ/СОВМЕСТНАЯ КАУЗАЦИЯ
 1SG.ERG ребенок возвращаться-COM/CAUS-PURP
Я должен отвести ребенка домой.
- (3.57) ɲaɖa ɲulmbuɖu ɖi:gi-ma-y КОМИТАТИВ/СИММ. АКТ.
 1SG.ERG женщина сидеть-COM/CAUS-UNMKD
Я женюсь на (этой) женщине [= Я буду сидеть с (этой) женщиной].
- (3.58) wiŋɖi-ŋgu ɲala bi:ɖa-ma-y ПРЯМАЯ КАУЗАЦИЯ
 змея-ERG 1SG бояться-COM/CAUS-UNMKD
Змея напугала меня.

Во всех известных мне языках, где каузатив маркируется комитативным показателем на зависимом⁸, за исключением языка хуа (см. ниже), наблюдается тройной синкретизм комитатива, инструменталиса и объекта каузации. Кроме этого, при наличии вариативности в падежном маркировании объекта каузации инструментально-комитативный показатель используется преимущественно в ситуации не социативной, а не прямой каузации, где наиболее явно проявляются его агентивные черты.

- венгерский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ [Н.В. Вострикова, личн. с.; Майтинская 1959: 132–133]
- (3.59) a tanár úr Olga-val men-t КОМИТАТИВ
 DET преподаватель господин Ольга-COM приходить-PST.3SG
Господин преподаватель пришел с Ольгой.
- (3.60) másol-tas-s-a le a hallgató-val a tétel-ek-t ВИНУЖД. АГЕНС
 копировать-CAUS-IMP-3SG.O вниз DET студент-COM DET тезисы НЕПРЯМ. КАУЗ.
Велите слушателю списать тезисы.
- (3.61) az apólónő minden nap egy órá-t sétál-tat-a ő-t ВИНУЖД. АГЕНС
 DET сиделка каждый день один час-ACC гулять-CAUS-3SG.O 3SG-ACC СОЦ. КАУЗА-
Сиделка гуляла с ним каждый день в течение часа. ЦИЯ
- (3.62) az orvos minden nap egy órát sétál-tat-ott vele ВИНУЖДАГЕНС
 DET врач каждый день один час:ACC гулять-CAUS-PST:3SG.S 3SG:COM НЕПРЯМ. КАУ-
Врач велел ему гулять каждый день в течение часа. ЗАЦИЯ
- болливийский кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Куликов 1994: 55]
- (3.63) puqa Fan-wan gumí-ta ara-či-ni ВИНУЖДЕННЫЙ АГЕНС
 1SG Хуан-COM камень-ACC нести-CAUS-1SG НЕПРЯМАЯ КАУЗАЦИЯ
Я заставил Хуана нести камень.

В папуасском языке хуа показатель комитатива маркирует вынужденный Агенса, но не Инструмент:

- хуа < ВОСТОЧНОЕ НАГОРЬЕ < ТРАНСНОВОГВИНЕЙСКИЕ [Haiman 1980: 236]
- (3.64) kosita de-gi' oe КОМИТАТИВ
 старый человек-COM приходить:1SG
Я пришел со стариком.
- (3.65) Kamani'-Ki' pasi kzo gu e ВИНУЖД. АГЕНС
 Камани-COM письмо писать FUT.1 IND.A
Я заставлю Камани написать письмо.

3.5.2.3. Посредник

Агенса-посредник не является инициатором ситуации, но контролирует ее; эта роль занимает промежуточное положение между неодушевленным Инструментом и вынужденным Агенса. Роль Посредника может выражаться инструменталисом (напр., в бурятском [Санжеев (ред.) 1962: 85]), поэтому можно предполагать наличие этой функции у ряда инструментально-комитативных показателей; в языковых описаниях, однако, конструкции со значением Посредника отмечаются редко. В русском чаще ис-

⁸ Венгерский, аякучо и болливийский кечуа – по моим материалам; плюс четыре языка из выборки Т. Штольца [Stolz 1996a: 185–188].

пользуется предлог *через*, однако возможна и формально комитативная конструкция с предлогом *с*.

- (3.66) *Король Родульф воспротивился и приказал {через послов / *с послами} графа Хериберта, чтобы собор отложили.* [Интернет]
- (3.67) *Оплату за заказ (для иногородних) можно передать {с проводником/через проводника}.* [Интернет]

В ситуациях, предполагающих физическое перемещение Пациенса, роль Посредника сближается со Средством передвижения; ср. *отправить посылку с проводником / с курьером / с оказией / с попуткой / с утренним поездом.*

3.5.3. Присутствующий

Существует особый тип участника, который не оказывает никакого влияния на ситуацию и не испытывает на себе ее воздействия никаким специальным образом, он лишь *присутствует* там, где ситуация имеет место. В некоторых языках эта роль имеет самостоятельное грамматическое выражение (номацигенга и др. аравакские языки; (3.68)–(3.69)); в других она может выражаться теми же средствами, что и комитатив (багвалинский; (3.70)).

номацигенга < АРАВАКСКИЕ < ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ [Payne 1990: 222; Wise 1990: 95]

- (3.68) Pablo i-kenga-**mo**-ta-h-i-gi Ariberto ПРИСУТСТВУЮЩИЙ
Пол он-рассказывать-PRESENCE-EP-снова-ТЕМП-М Альберт
Пол рассказывал (об этом) в присутствии Альберта.

- (3.69) kero ni-a-t-**omo**-t-i-gi ПРИСУТСТВУЮЩИЙ
NEG I-уходить-EP-PRESENCE-EP-NONFUT-3М
Я не хожу туда, где он (ягуар) [= в его присутствии].

багвалинский < НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ < СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИЕ [Кибрик (ред.) 2001: (i), сн. 1, 592]

- (3.70) den mašina iči maHammad-i-la gasul-ēna ПРИСУТСТВУЮЩИЙ
1SG.ERG машина давать Магомед-OBL-DAT Расул-COM
*Я отдал машину Магомеду в присутствии Расула.
{не 'отдал вместе с Расулом'}.*

Роль Присутствующего, по-видимому, наиболее периферийная из возможных ролей, однако она не абсолютно вырождена. Присутствующий обычно бывает одушевленным, что говорит об определенной семантической нагрузке, которая влечет это ограничение. У Присутствующего есть определенное отличие от неодушевленных элементов обстановки, которые тоже могут присутствовать там, где разворачивается ситуация. Это отличие – в его *потенциальном* участии или в изменении его состояния, которое *может произойти* в результате его присутствия. Присутствующий либо является свидетелем ситуации и приобретает некоторое новое знание, что может повлечь значимые последствия (ср. *Не говори об этом при детях*), либо потенциально может стать более активным участником – например, ягуар в (3.69) может напасть на идущего.

Следует отметить, что в аравакских языках группы кампа у суффикса *-(i)to* и возможно родственного ему префикса *imo-/omi(n)-* отмечается не только функция Присутствующего, но и комитативная, и каузативная функции. В языке апанинка суффикс *-(i)to* кодирует роль Присутствующего, комитатив и бенефактив [Wise 1990: 111].

3.5.4. Роли при экспериенциальных предикатах

Комитативные конструкции с маркированием на зависимом могут использоваться при экспериенциальных предикатах для обозначения как Стимула, так и Экспериенцера. При этом, однако, они применяются обычно не к глаголам чувственного восприятия (*видеть, слышать* и т.п.), а к эмоциональным или ментальным предикатам.

3.5.4.1. Стимул эмоции

баскский (изолят, ЕВРОПА) [корп.]

(3.71) Iker ni-**rekin** haserretu eta joan zen СТИМУЛ ЭМОЦИИ
 Икер 1SG-COM сердиться и уходить 3SG.AUX:PST
Икер рассердился на меня [= со мной] и ушел.

(3.72) roz-ten n-intzen bere ahots-a entzu-te-a-**rekin** СТИМ. ЭМОЦИИ
 радоваться-PART.IPF 1SG-AUX:PST 3SG.GEN голос-DET слышать-NMLZ-DET-COM
Мне было приятно слышать его голос [= со слышанием его голоса].

кенийский луо (дхолуо) < НИЛОТСКИЕ < НИЛО-САХАРСКИЕ [Tucker 1994: 229]
 (3.73) o-kwí`ny {**gí** cíégê/ **kod** cíégê} СТИМУЛ ЭМОЦИИ
 3SG-суровый COM жена/ COM жена
Он сердится на жену [= с женой].

цоциль < МАЙЯ < ПЕНУТИ [Aissen 1987: 187]
 (3.74) ta x-xi7 **xchi7uk** vo7ot li 7unen-e СТИМУЛ ЭМОЦИИ
 IPF-бояться COM 2SG DET ребенок-CLT
Ребенок боится тебя [= с тобой].

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004: 384]
 (3.75) malu lah **sama** pengawal СТИМУЛ ЭМОЦИИ
 стыдно CONTRAST SAMA вельможа
(Мне будет) стыдно перед вельможами [= с вельможами].

3.5.4.2. Экспериенцер

навахо < АТАПАСКСКИЕ < НА-ДЕНЕ [Young, Morgan 1992: 241]
 (3.76) sh-iʔ b-ééhózin ЭКСПЕРИЕНЦЕР
 1SG-COM 3SG-знать.об.IPF
Я знаю об этом [= Знание об этом существует со мной].

(3.77) dibé bi-tsj' sh-iʔ ʔikan ЭКСПЕРИЕНЦЕР
 овца POSS.3SG-мясо 1SG-COM быть.сладким.IPF
Мне нравится баранина [= Мясо овцы сладкое со мной].

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004: 384]
 (3.78) semua enak **sama** David ЭКСПЕРИЕНЦЕР
 все хорошо [SAMA Дэвид]
 {Жалуюсь, что адресату нравится слишком много разной еды}
Тебе [= Дэвиду] все нравится! [= С тобой все хорошо]

3.5.5. Посессор

В разделе 3.3.1 уже говорилось о связях комитативных показателей с выражением обладания. Эти связи проявляются и тогда, когда комитативная группа имеет функцию аргумента при некоторых предикатах, связанных с посессивными отношениями.

Если в предикативных посессивных ФКК комитативная группа выражает обладаемое, то в аргументных конструкциях – обладателя (3.79). В нескольких (немногочисленных) языках комитативный маркер может кодировать участника в роли Реципиента или Источника (3.80)–(3.84).

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ [Gil 2004: 382–383]

(3.79) tak ada duit kecil sama saya ОБЛАДАТЕЛЬ
NEG существовать деньги маленький [SAMA 1SG]
У меня нет (с собой) мелочи [= Со мной нет мелочи].

(3.80) saya simpan sama David mana? РЕЦИПИЕНТ/
1SG оставлять.на.хранение [SAMA Дэвид] который ОБЛАДАТЕЛЬ
(Где то,) что я оставлял у тебя на хранение?

(3.81) kenapa David tak kasi ikan sama dia ? РЕЦИПИЕНТ
почему Дэвид NEG давать рыба [SAMA 3]
Почему ты [= Дэвид] не дал ей рыбу?

(3.82) aku beli sama David ИСТОЧНИК
1SG покупать [SAMA Дэвид]
Я куплю (ее [= камеру]) у тебя.

сейшельский креол < ФРАНКО-КРЕОЛЬСКИЕ < КРЕОЛЬСКИЕ [Michaelis, Rosalie 2000: 82]

(3.83) mon ganny pansyon ek gouvernman ИСТОЧНИК
1SG получать пенсия COM правительство
Я получаю пенсию от правительства.

(3.84) i vann ek angle mon laba РЕЦИПИЕНТ
3SG продавать COM англичанин 1SG там
Он продал (его [= остров Фрегата]) англичанам, пока я был там.

3.5.6. Функции, производные от ФКК при симметричных предикатах

Некоторые функции возможно интерпретировать как наследие симметричных предикатов. Иными словами, по моим предположениям, некоторые употребления ФКК при несимметричных предикатах могут быть результатом расширения сочетаемости конструкции, на более ранних стадиях употреблявшейся при симметричных предикатах сходной семантики.

Так, например, в нескольких языках комитативные показатели используются в сравнительных конструкциях, обозначая стандарт сравнения. Эта функция, по всей вероятности, является расширением симметричной ФКК при предикатах равенства: *одинаковый с X-ом > (одинаково) большой, как X > больше, чем X.*

северный паюте < ЮТО-АЦТЕКСКИЕ < ЦЕНТРАЛЬНО-АМЕРИНДСКИЕ [Snapp et al. 1982: 39, 55]

(3.85) ni u-noo mia КОМИТАТИВ
1SG 3SG-COM уходить
Я пошел с ним.

(3.86) ani gai ka nota-noo raba-'yu СТАНДАРТ
муравей NEG ACC пчела-COM большой-PRED СРАВНЕНИЯ
Муравей не такой большой, как пчела. (РАВЕНСТВО)

цоциль < МАЙЯ < ПЕНУТИ	[Aissen 1987: 187]
(3.87) 7i-j-chon mas 7ep chtom xchi7uk ka7	СТАНДАРТ
PF-1.A-продавать больше много свинья COM лошадь	СРАВНЕНИЯ
<i>Я продал больше свиней, чем лошадей.</i>	(ПРЕВОСХОДСТВО)
сонгаи < НИЛО-САХАРСКИЕ	[Heath 1999: §9.7.8]
(3.88) ay beer nd-aa	СТАНДАРТ
1SG быть.большим INS/COM-3SG.OBJ	СРАВНЕНИЯ
<i>Я больше {т.е. старше} нее [= Я большой, чем она].</i>	(ПРЕВОСХОДСТВО)

В отличие от стандарта сравнения, роль параметра сравнения сближается с инструментальными функциями (ср. рус. *превосходить кого чем*). Совмещение функций комитатива и параметра сравнения предполагает синкретичное выражение инструменталиса (кенийский луо, сонгаи), тогда как совмещение комитатива и стандарта сравнения этого не требует (сев. пауте, цоциль, риау индонезийский).

кенийский луо (дхолуо) < НИЛОТСКИЕ < НИЛО-САХАРСКИЕ	[Tucker 1994: 229]
(3.89) o-ló`y-á gí té.kô / kóð té.kô}	ПАРАМЕТР
3SG-превосходить-1SG INS/COM сила INS/COM сила	СРАВНЕНИЯ
<i>Он сильнее меня [= он превосходит меня силой].</i>	

сонгаи < НИЛО-САХАРСКИЕ	[Heath 1999: § 8.1.1]
(3.90) woo da nda i baa noŋgur-oo woo	ПАРАМЕТР
[[DEM EMPH] INS/COM] 3PL быть.лучше место-DEF.SG DEM	СРАВНЕНИЯ
<i>Именно этим [фокус] они лучше, чем здешние (люди).</i>	

Еще одна роль, для которой можно предполагать происхождение от симметричных ФКК, – Адресат при глаголах говорения. ФКК, вводящая второго участника естественно-взаимных предикатов типа *разговаривать, беседовать*, может распространяться на несимметричные предикаты говорения. Ср. в русском несимметричные употребления *здороваться с кем* ‘приветствовать кого’; *Я с тобой разговариваю!* ‘Я к тебе обращаюсь!’ (см. тж. (2.12)–(2.14)); вариативность в управлении глаголов говорения, напр., англ. *speak to/with (someone)* ‘говорить с кем-то [DAT/COM]’, япон. *hito ni hanasu / hito to hanasu* ‘(то же) [DAT/COM]’ [Martin 1975: 203] и т.п.

сейшельский креол < ФРАНКО-КРЕОЛЬСКИЕ < КРЕОЛЬСКИЕ	[Michaelis, Rosalie 2000: 82]
(3.91) en zoug mon demann ek enn laba Pralen...	АДРЕСАТ
один день 1SG спросить [COM PRON] там Прален	
<i>Однажды я спросил у одного (человека) [= с одним (человеком)] с (острова) Прален...</i>	
(3.92)... i dir ek mwan mon'n ganny laz	АДРЕСАТ
3 говорить [COM 1SG.OBL] 1SG получать возраст	
<i>...Они мне[= со мной] сказали, что я достиг (пенсионного) возраста.</i>	

навахо < АТАПАСКСКИЕ < НА-ДЕНЕ	[Young, Morgan 1992: 241]
(3.93) sh-iʃ-ni	АДРЕСАТ
1SG-COM-говорить	
<i>(Он) говорит (это) мне [= со мной].</i>	

риау индонезийский < ЗАП. МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ < АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ	[Gil 2004: 383]
(3.94) orang bahasa inggeris sama david?	АДРЕСАТ
человек язык английский [SAMA Дэвид]	
<i>Люди (говорили) с тобой [= с Дэвидом] по-английски?</i>	

Аналогичное объяснение может быть высказано в отношении следующих примеров, где с помощью ФКК обозначается одна из границ интервала, расстояния (*между чем и чем > от чего до чего*):

сейшельский креол < ФРАНКО-КРЕОЛЬСКИЕ < [Michaelis, Rosalie 2000: 82]
КРЕОЛЬСКИЕ

(3.95) langar i koman la ek ruе esa ГРАНИЦА ИНТЕРВАЛА
сарай 3SG как DEM [COM дерево DEM]
Сарай был (размером) как отсюда до того дерева [= с тем деревом].

3.5.7. Участник с неуточненной ролью

Существуют случаи, когда нетрудно описать класс предикатов, при которых употребляется ФКК, но гораздо труднее определить, какова в этих употреблениях семантическая роль участника, обозначаемого комитативной группой. Рассмотрим следующие русские примеры (на основе классов предикатов, выделенных в [Золотова 2001: 288]; отсюда же взята часть примеров. Другие примеры адаптированы из Национального корпуса русского языка):

- (3.96) а. помочь с билетами; помочь с ногой; помочь с ребенком
б. помочь с трудоустройством; помочь с переводом
- (3.97) а. С бензином у нас перебои; С хлебом туго.
б. Начались неполадки с двигателем; С пьесой не ладилось.
в. С ней дурно!; Что с тобой (случилось)?
- (3.98) а. возиться с мотором; возиться с ребенком; возиться с корректурой
б. медлить с ответом; тянуть с решением
в. справиться с делами; хлопотать с обедом
г. надоел со своими книжками; приставать с расспросами

Г.А. Золотова [Там же] объединяет приведенные употребления в синтаксему тематива с общим значением «тема, субъект описываемой ситуации». В действительности вряд ли можно говорить о какой-то более конкретной общей семантике данных ФКК, чем просто «нечто, связанное с описываемой ситуацией». Вероятно, основанием для возникновения таких употреблений ФКК послужило то, что комитативная конструкция как таковая добавляет участника с неуточненной (неспецифицированной) ролью. В конкретном употреблении роль Спутника вычисляется слушающим по контексту. Но правила, по которым она вычисляется, могут быть различны. Если в собственно комитативной конструкции Спутнику приписывается роль, тождественная роли Ориентира, то в рассматриваемых ФКК – наиболее подходящая роль из числа центральных, не занятая другими участниками.

При этом в выражениях типа (3.96)-а, (3.98)-авг слушающий должен восстановить не только роль Спутника, но и ситуацию, в которой он участвует: *помочь купить/достать билеты; помочь вылечить ногу; помочь присмотреть за ребенком/накормить ребенка*. Обобщая, можно заметить, что во всех случаях Спутник скорее испытывает воздействие со стороны ситуации, чем контролирует ее; т.е. относится к гиперроли Претерпевающего, а не Актора. В примерах (3.96)-б, (3.98)-б Спутник относится к классу ситуаций и выражен номинализациями; их можно перифразировать с помощью соответствующих глаголов: *помочь трудоустроиться, помочь перевести*.

Материала для типологических наблюдений по данному вопросу пока недостаточно, хотя очевидно, что ФКК с неуточненной ролью встречаются не только в русском языке; ср. англ. *happen with sb.* ‘случиться с кем-л.’; *help with sth.* ‘помочь (кому) с чем-л.’; *mess about with sth., fiddle about with sth.* ‘возиться с чем-л.’.

3.5.8. Локализация 'около' (апудэссив)

Общие локативные маркеры и более специализированные показатели апудэссива ('около') являются важным источником грамматикализации комитативных показателей, ср. франц. *avec* 'с' < народн. лат. **apud hoc* 'с этим', усиленная форма предлога *apud* 'около' [Baumgartner, Ménard 1996: 61]. К апудэссиву восходит комитативный показатель *-f:u* в арчинском языке [А. Е. Кибрик, личн. с.]. Ср. также:

- аякучо кечуа < КЕЧУА < АНДСКИЕ [Parker 1969: 58]
 КОМИТАТИВ/АПУДЭССИВ
 (3.99) *gi*ku-ni wasi-**ntin** čakra-ta
 видеть-1SG дом-COM2 поле-ACC
Я вижу поле {с домом/рядом с домом}.
- марийский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ
 (3.100) *klas*-əšte окна **dene** peš čot jüštö АПУДЭССИВ
 класс-LOC [окно COM] очень сильно холодно
В классе у окна очень холодно.
- (3.101) *məj* ondruš **dene** una lij-əp-am ОДУШ. ЛОКАТИВ
 1SG [Андрей COM] в. гостях становится-PST-1SG ('CHEZ')
Я был в гостях у Андрея.

3.5.9. Прочие локативные функции

- марийский < ФИННО-УГОРСКИЕ < УРАЛЬСКИЕ
 (3.102) *urem* **dene** kajaš ПРОЛАТИВ
 [улица COM] идти-INF
идти по улице
- урумский < ТЮРКСКИЕ < АЛТАЙСКИЕ [Смолина 2004: 99]
 ПРОЛАТИВ
 (3.103) *jol*-nan lazum t'it-meje
 дорога-COM надо идти-INF
Надо идти по дороге.
- ренгао < МОН-КХМЕРСКИЕ < МЯО-АВСТРОАЗИАТСКИЕ [Gregerson 1979: 145]
 КОМИТАТИВ
 (3.104) *chop* bOy tok Ing aw paq jOng
 2PL PRON подниматься [COM 1SG] к общинный.дом
Не поднимайтесь со мной в общинный дом!
- (3.105) bOq plon brOk Ing hyE trUh paq ngok taw АБЛАТИВ
 дедушка Плон уходить [ABL дом] достигать к гора DEM
Почтенный Плон вышел из дома и добрался до той горы.

3.5.10. Образ действия

- тамилский < ДРАВИДИЙСКИЕ [Asher 1985: 115]
 ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ
 (3.106) *avan* ussaakatt-ooŋe veeleye seŋsaan
 он энтузиазм-COM работа:ACC делать:PST.3SG.M
Он работал с энтузиазмом.
- киньяруанда < БАНТУ < НИГЕР-КОНГО [Maslova 2000: 8]
 ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ
 (3.107) *umugóre* a-ra-kôŋ<an>a akazi ûmweête
 женщина 3SG-PRS-делать<COM> работа энтузиазм
Женщина работает с энтузиазмом.

удэгейский < ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ < [Nikolaeva, Tolskaya 2001: 374; 569]
 АЛТАЙСКИЕ
 (3.108) *ɲe-ne-je eke-zi* ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ
 идти-IMP.2SG медленный-INS/COM
Иди медленно.

(3.109) *ɲua-ni koli-zi diaŋ-ki-ni* ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ
 он-3SG закон-INS/COM говорить-PST-3SG
Он говорил в соответствии с законом (по закону).

3.5.11. Время

(3.110) *С каждым отточенным годами движением* [Х. ван Зайчик]
Баг выдавливал из себя усталость. ОДНОВРЕМЕННОСТЬ

баскский (изолят, Европа)

(3.111) *egunsentia-rekin esna-tzen da* ОДНОВРЕМЕННОСТЬ
 рассвет-COM просыпаться-PART.IPF AUX.3SG
Он просыпается с рассветом.

(3.112) *hamabost urte-rekin Mexiko-ra* ОДНОВРЕМЕННОСТЬ
 15 год-COM Мексика-LAT joan zen уходить AUX.PST.3SG
В пятнадцать лет он уехал в Мексику.

ительменский < ЧУКОТСКО-КАМЧАТСКИЕ [Georg, Volodin 1999: 86]
 (3.113) *ən-sɕ'el-qzo-kiçen x-q}hal-çom* ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ
 IPL-ехать-IPF-1PL COM2-день-COM2
Мы ехали целый день.

3.5.12. Условие

(3.114) *С третьим в тайге всеелее.* [Золотова 2001] УСЛОВИЕ (ИГ)

(3.115) *С деньгами-то мы и без ума проживем.* [Золотова 2001] УСЛОВИЕ (ИГ)
 сонгаи < НИЛО-САХАРСКИЕ [Heath 1999: § 9.5.1]

(3.116) *nd bor-aa kou gawey din, kul a ga ni gar* УСЛОВИЕ
 INS/COM человек-DEF уходить Гавей ANAPH все 3SG IPF 2SG найти (ПРЕДИК.)
Если этот человек пойдет в Гавей, он найдет тебя (там).

японский < АЛТАЙСКИЕ [Hinds 1986; Martin 1975: 974]

(3.117) *dare to sunde_masu ka ?* КОМИТАТИВ
 кто COM жить Q
С кем ты живешь?

(3.118) ... *oneesantachi to issho_ni sunde_rassharu to* УСЛОВИЕ (ПРЕДИК.)
 [сестры COM вместе] жить COND
 ii wa_nce
 хороший EMPH
Тебе повезло, раз [= если] ты живешь вместе с сестрами.

3.5.13. Уступка

супире < ГУР < НИГЕР-КОНГО [Carlson 1994: 572; 583]

(3.119) *ɲá u à ra ɲáhá, u gú kù ɲuè* УСЛОВИЕ
 COND он PF приходить сюда он POTH это видеть
Если бы он пришел сюда, он бы это увидел.

(3.120) mii a ù cyàhala, lire nà lì wùuní mù í УСТУПКА
 я его PF оскорблять [этот COM свой POSS.DEF тоже COM]
 u na л-cyàhà-li
 он PROG INTR-смеяться-IPF
 Я его оскорбил, а он (все равно)[= это со своим тоже] смеется.

3.5.14. Прочие роли

Кроме перечисленных выше разновидностей аргументных ФКК, назовем конструкции, выражающие объект отношения (*обходиться с кем-л. вежливо/почтительно*) и называющие само отношение (*относиться к кому-л. с уважением/с недоверием*), а также тесно связанную с Агенсом роль Причины (англ. *tremble with fear* 'дрожать от страха').

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование было посвящено типологическому изучению комитативных конструкций. Было предложено определение данного явления, не зависящее от конкретного способа его формального выражения в языках различного строя.

Утверждается, что определяющим моментом в комитативной конструкции является не какая-либо специфическая семантическая роль (роль «сопровождающего», роль «второстепенного агенса») и не такие семантические признаки, как совместность участия в ситуации, а концепт множественного участника вкуче с определенными структурными характеристиками. Комитативные конструкции рассматриваются как один из морфосинтаксических способов кодирования множественного участника ситуации, при котором выражения, обозначающие образующих его элементарных участников, имеют различный структурный ранг.

В работе предложена формальная типология средств выражения комитативных конструкций. Эта типология опирается на такие параметры, как локус маркирования (маркирование на зависимом vs. маркирование на вершине vs. дополнительная предикация) и ограничения на синтаксические функции элементов конструкции. Выделенные типы коррелируют, с одной стороны, с семантическим потенциалом конструкции (возможностями использования в других, некомитативных функциях), и, с другой стороны, с возможными диахроническими источниками комитативных маркеров и результатами их дальнейшей грамматикализации.

Впервые предложен собранный на широком типологическом материале семантический инвентарь формально комитативных конструкций. Одним из возможных направлений дальнейших исследований может стать целенаправленное изучение полифункциональности комитативных конструкций в языках мира на основе данного инвентаря. Перспективным представляется также изучение сочетаемости комитативных конструкций (как в узком, так и в широком смысле) с различными типами предикатов (ситуаций) и именных групп (участников).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В тексте: ИГ именная группа; КГ комитативная группа; КК комитативная конструкция; ПИГ периферийная именная группа; ЦИГ центральная именная группа. Примеры из русского, английского, французского, арчинского, баскского, марийского языков, если не указано обратное, сконструированы или получены от носителей языка автором. Примеры с пометой [корп.] получены из общедоступных электронных корпусов текстов.

В глоссах: 1 первое лицо; 2 второе лицо; 3 третье лицо; А агенс; АВЛ аблатив; АСС аккумулятив; АНАРН анафорический элемент; АUX вспомогательный глагол; CAUS каузатив; CLT клитика; COM комитатив; COND условие; CONTRAST контраст; CONV конверб; COP связка; COS показатель изменения состояния; DA частица *da* (в багвалинском); DAT датив; DEF определенность; DEM указательное местоимение; DET детерминант; DU двойственное число; EMPH эмфатическая частица; EP

эпентетический элемент; ERG эргатив; F женский род (класс); FUT будущее время; GEN генитив; IMP императив; IND индикатив; INF инфинитив; INS инструменталис; INTR непереходность; IPF имперфектив; LAT латив; LOC локатив; M мужской род (класс); MED медий; NEG отрицание; NMLZ номинализация; NONFUT небудущее время; O, OBJ прямое дополнение; OBL косвенная основа; P пациент; PART причастие; PASS пассив; PF перфектив; PL множественное число; POLY естественно множественный предикат; POSS посессивность; POT потенциалис; PRED предикатив; PRESENCE присутствующий; PROG прогрессив; PRON прохибитив; PRON местоимение; PROPR проприетив; PRS настоящее время; PST прошедшее время; PURP целевое наклонение; Q вопросительный маркер; REC реципрок; REFL рефлексив; REL. относительный показатель; SAMA макрофункциональный показатель *sama* (в индонезийском риау); SG единственное число; SOC социатив; SUBJ подлежащее; TEMP время; UNMKD немаркированная видовременная форма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*. Избранные труды. Т. I. Лексическая семантика. 2-е изд. М., 1995.
- Архипов 2005 – А.В. *Архипов*. Типология комитативных конструкций. Ч. I. Определение и формальная типология // ВЯ. 2005. № 4.
- Золотова 2001 – Г.А. *Золотова*. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 2001.
- Кибрик (ред.) 2001 – Багвалинский язык: грамматика, тексты, словарь / А.Е. Кибрик (ред.). М., 2001.
- КРС 1990 – Китайско-русский словарь. Пекин, 1990.
- Куликов 1994 – Л.И. *Куликов*. Типология каузативных конструкций в современных синтаксических теориях: опыт решения одной лингвистической метазадачи // Знак: Сб. ст. по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А.Н. Журина. М., 1994.
- Любимова 2002 – З.М. *Любимова*. Немецко-русский словарь активной лексики. М., 2002.
- Майтинская 1959 – К.Е. *Майтинская*. Венгерский язык. Т. 1: Фонетика. Морфология. М., 1959.
- Муравенко 1994 – Е.В. *Муравенко*. К описанию категории орудийности в русском языке: о соотношении форм с первообразными и производными предлогами // Знак: Сб. ст. по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А.Н. Журина. М., 1994.
- Муравенко 1998 – Е.В. *Муравенко*. О семантически факультативной орудийной валентности // Вопросы русского языкознания. Межвуз. сб. ст. Орехово-Зуево, 1998.
- Недялков 2004 – В.П. *Недялков*. Реципрокальные конструкции в тюркских языках (типологическая характеристика) // Междунар. симпозиум «Синтаксические отношения и структура аргументов». Казань, 2004.
- Плунгян 2000 – В.А. *Плунгян*. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2000.
- Санжеев 1960 – Г.Д. *Санжеев*. Современный монгольский язык. М., 1960.
- Санжеев (ред.) 1962 – Грамматика бурятского языка: Фонетика и морфология / Г.Д. Санжеев (ред.). М., 1962.
- Смолина 2004 – М.Ю. *Смолина*. Комитатив/инструментальный падеж в старокрымском диалекте урумского языка // Первая Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей (Санкт-Петербург, 24–25 сентября 2004 г.). Тезисы докл. СПб., 2004.
- Харитонов 1963 – Л.Н. *Харитонов*. Залоговые формы глагола в якутском языке. М.; Л., 1963.
- Цэдэндамба 1978 – Ц. *Цэдэндамба*. Сопоставительный синтаксис русского и монгольского языков. Улан-Батор, 1978.
- Aissen 1987 – J. *Aissen*. Tzotzil clause structure. Dordrecht, 1987.
- Asher 1985 – R.E. *Asher*. Tamil. London, 1985.
- Baumgartner, Ménard 1996 – E. *Baumgartner*, P. *Ménard*. Dictionnaire étymologique et historique de la langue française. Paris, 1996.
- Carlson 1994 – R. *Carlson*. A grammar of Supyire. Berlin; New York, 1994.
- Cole 1985 – P. *Cole*. Imbabura Quechua. London, 1985.
- Dixon 1981 – R.M.W. *Dixon*. Wargamay // R.M.W. Dixon, B. Blake (eds.). Handbook of Australian Languages. V. 2. Canberra, 1981.
- Georg, Volodin 1999 – S. *Georg*, A.P. *Volodin*. Die Itelmenische Sprache: Grammatik und Texte. Wiesbaden, 1999.
- Gil 2004 – D. *Gil*. Riau Indonesian *Sama*: Explorations in macrofunctionality // M. Haspelmath (ed.). Coordinating constructions. Amsterdam, 2004.
- Gregerson 1979 – K. *Gregerson*. Predicate and argument in Rengao grammar. Austin, 1979.
- Hagège 1975 – C. *Hagège*. Le problème linguistique des prépositions et la solution chinoise. Paris, 1975.

- Haiman 1980 – *J. Haiman*. Hua: A Papuan language of the Eastern highlands of New Guinea. Amsterdam, 1980.
- Heath 1999 – *J. Heath*. A grammar of Koyraboro (Koroboro) Senni: The Songhay of Gao, Mali. Köln, 1999.
- Hinds 1986 – *J. Hinds*. Japanese. London; New York, 1986.
- Lehmann, Shin 2005 – a draft of: *Ch. Lehmann, Y.-M. Shin*. The functional domain of concomitance: A typological study of instrumental and comitative relations // Ch. Lehmann (ed.). *Typological Studies in Participation*. Berlin, 2005.
- Li, Thompson 1981 – *Ch. Li, S. Thompson*. Mandarin Chinese: A functional reference grammar. Berkeley, 1981.
- Martin 1975 – *S. Martin*. A reference grammar of Japanese. New Haven; London, 1975.
- Maslova 2000 – *E. Maslova*. Reciprocal and polyadic: Remarkable reciprocals in Bantu // V.P. Nedjal'kov (ed.) (to appear). *Typology of reciprocal constructions*.
- Michaelis, Rosalie 2000 – *S. Michaelis, M. Rosalie*. Polysémie et cartes sémantiques: le relateur (*av*)*ek* en créole seychellois // *Études Créoles*. V. 23. № 2. 2000.
- Nikolaeva, Tolskaya 2001 – *I. Nikolaeva, M. Tolskaya*. A grammar of Udihe. Berlin, 2001.
- Parker 1969 – *G. Parker*. Ayacucho Quechua grammar and dictionary. The Hague; Paris, 1969.
- Payne 1990 – *D. Payne*. Morphological characteristics of Lowland South American languages // D. Payne (ed.). *Amazonian Linguistics: Studies in Lowland South American languages*. Austin, 1990.
- Schlesinger 1989 – *I.M. Schlesinger*. Instruments as agents: on the nature of semantic relations // *Journal of Linguistics*. V. 25. № 1. 1989.
- Schultze-Berndt, Himmelmann 2004 – *E. Schultze-Berndt, N.P. Himmelmann*. Depictive secondary predicates in cross-linguistic perspective // *Linguistic typology*. V. 8. № 1. 2004.
- Shibatani, Pardeshi 2002 – *M. Shibatani, P. Pardeshi*. The causative continuum // M. Shibatani (ed.). *The grammar of causation and Interpersonal manipulation*. Amsterdam; Philadelphia, 2002.
- Snapp et al. 1982 – *A. Snapp, John Anderson, Joy Anderson*. Northern Paiute // R.W. Langacker (ed.). *Studies in Uto-Aztecan grammar*. V. 3: Uto-Aztecan Grammatical Sketches. Arlington, 1982.
- Stassen 2000 – *L. Stassen*. AND-languages and WITH-languages // *Linguistic typology*. V. 4. № 1. 2000.
- Stassen 2001 – *L. Stassen*. Predicative possession // M. Haspelmath et al. (eds.). *Language typology and language universals: an international handbook*. V. 2. Berlin; New York, 2001.
- Stolz 1996 – *T. Stolz*. Komitativ-Typologie: MIT- und OHNE-Relationen im crosslinguistischen Überblick // *Papiere zur Linguistik*. V. 54. № 1. 1996.
- Stolz 1996a – *T. Stolz*. Some instruments are really good companions – some are not. On syncretism and the typology of instrumentals and comitatives // *Theoretical linguistics*. V. 23. № 1–2. 1996.
- Stolz 2001 – *T. Stolz*. Comitatives vs. instrumentals vs. agents // W. Bisang (ed.). *Aspects of typology and universals*. Berlin, 2001.
- Stolz 2001a – *T. Stolz*. To be with X is to have X: comitatives, instrumentals, locative, and predicative possession // *Linguistics*. V. 39. № 2. 2001.
- Tucker 1994 – *A. Tucker*. A grammar of Kenya Luo (Dholuo). V. 1. Köln, 1994.
- van Klinken 2000 – *C. van Klinken*. From verb to coordinator in Tetun // *Oceanic linguistics*. V. 39. № 2. 2000.
- Wise 1990 – *M.R. Wise*. Valence-changing affixes in Maipuran Arawakan languages // D.L. Payne (ed.). *Amazonian linguistics: studies in Lowland South American languages*. Austin, 1990.
- Young, Morgan 1992 – *R. Young, W. Morgan*. Analytical lexicon of Navajo. Albuquerque, 1992.

© 2008 г. Г.С. СТАРОСТИН

**СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В ЯЗЫКЕ !ХОНГ**

Статья посвящена детальному разбору системы именных согласовательных классов языка !хонг (южно-койсанская языковая семья). Основной вывод заключается в том, что в основе классной системы !хонг лежит категория отчуждаемости, имеющая три возможных значения («отчуждаемый», «неотчуждаемый», «нейтральный»), которые соответствуют трем именным классам этого языка. Следы того, что эта категория когда-то была словоизменяющей, до сих пор сохраняются в !хонг в виде реликтовых явлений. Поскольку с точки зрения устройства морфологии имени !хонг является наиболее сложным из всех известных на сегодняшний день койсанских языков, работа содержит также элементы формообразовательного, морфонологического и даже тонального анализа особенностей этого языка.

0. ВВЕДЕНИЕ

Язык !хонг (!Хбб), на котором говорят несколько сотен человек в юго-западной Ботсване и ряде районов Намибии, является на настоящий момент последним живым представителем так называемой южно-койсанской семьи языков, некогда распространенной на значительной части территории этих стран, а также современной ЮАР¹. Значение, которое имеет профессиональное описание этого языка для койсанского и африканского языкознания в целом, трудно переоценить, поскольку южно-койсанские языки в меньшей степени, чем северно-койсанские и центрально-койсанские, подверглись внешнему воздействию как языков банту, так и европейских языков, и, таким образом, в своем языковом строе могут сохранять чрезвычайно архаичные «исконно койсанские» черты не только в области фонетики, но и грамматического строя. При этом, однако, все имеющиеся у нас описания ныне мертвых южно-койсанских языков принадлежат исследователям, работавшим в конце XIX – первой половине XX века (В. Блик, Л. Ллойд – язык |хам [Bleek 1911] и др.; Д. Блик – языки //нг [Bleek 2000], |ауни [Bleek 1937]; Р. Стори – язык |хааси [Story 1999] и др.); большинство из них достаточно поверхностно и к тому же крайне малоудовлетворительно с точки зрения точности фонетической записи и адекватности морфологического и лексического описания.

Неудивительно поэтому, что появление детального, подробно откомментированного и снабженного фонетическими и морфологическими пометами словаря языка !хонг [Traill 1994] было в свое время отмечено специалистами как своеобразная веха в койсанском языкознании. Наибольший интерес при этом вызвала фонологическая система !хонг, которая, если верить Э. Трэйллу, насчитывает 126 согласных фонем, 83 из которых представляют собой так называемые «кликсы» (щелчковые) – максимально богатый из всех известных на сегодняшний день инвентарей (так, по общему числу

¹ Несколько лет тому назад в ЮАР был практически случайно обнаружен ряд пожилых носителей языка н|уки, также относящегося к южно-койсанской семье; к сожалению, он уже не является для них основным языком общения, а о молодых носителях н|уки говорить явно не приходится. Подробнее о н|уки см. [Crawhall 2004].

кликсов !хонг превышает, например, язык нама приблизительно в четыре раза). Именно на примере языка !хонг были впервые открыты такие интересные фонологические противопоставления, как «назализация кликса vs. преназализация кликса», «кликс с исходом на простой vs. абруптивный увулярный» и некоторые другие (подробное описание системы кликсов в !хонг см., в частности, в [Ladefoged, Traill 1994]).

Нужно, однако, подчеркнуть, что – по крайней мере, по сравнению с другими койсанскими языками – ничуть не меньший интерес !хонг представляет и в морфологическом отношении. Судя по имеющимся описаниям, глагольная морфология !хонг относительно бедна (основная масса грамматических значений выражается здесь при помощи препозитивных частиц), однако в области именной морфологии !хонг значительно выделяется даже на фоне близкородственных ему языков.

Во-первых, судя по краткому грамматическому описанию Трэйлла [Traill 1994: 7–43], !хонг – единственный из известных нам койсанских языков, где обнаруживается хорошо развитая система согласовательных классов. В прочих койсанских языках обычно отмечают либо наличие родовых противопоставлений (центрально-койсанские языки – нама, наро и пр.; подробнее см. [Vossen 1997]), либо ситуацию, когда скрытые классные противопоставления у существительных проявляются лишь в случае их анафорического замещения личными местоимениями (северно-койсанские языки, см. [Snyman 1970]). Напротив, в !хонг классная принадлежность имени может (хотя и не обязана, т.е. по отдельно взятой именной форме, как правило, нельзя определить именной класс) выражаться как в составе самого имени, так и в составе синтаксически связанных с ним членов предложения; ср. примеры, приводимые Трэйллом:

ḽ	à	nà-i	ǰ-i	!xà-i	t-í	ʔâa	ji	k-ì
я	<i>претерит</i>	видеть	лев	большой	REL ₁	мертвый	связка	REL ₂
ḽ	à	nà-a ⁰	ǰâ-a ⁰	!xà-a ⁰	t-a ⁰	ʔâa	ji	k-a ⁰
я	<i>претерит</i>	видеть	кость	большой	REL ₁	сломанный	связка	REL ₂
ḽ	à	nà-e	!ʔû-le	!xà-e	t-ē	ʔâa	ji	k-ē
я	<i>претерит</i>	видеть	блюдо	большой	REL ₁	сломанный	связка	REL ₂

Во-вторых, в !хонг налицо, по-видимому, наибольшее разнообразие (опять-таки по сравнению с прочими койсанскими языками) способов выражения значения множественного числа. Как правило, в каждом отдельно взятом койсанском языке можно зафиксировать один-два продуктивных суффикса множественного числа (в центрально-койсанских – по одному для каждого из трех родов), присоединяемых непосредственно к основе, и этого вполне достаточно для образования соответствующих форм подавляющего большинства существительных. Во всех языках, помимо этого, имеются отдельные случаи супплетивизма; засвидетельствовано также образование мн.ч. с помощью частичной или полной редупликации (в таких южно-койсанских языках, как |хам и др.). В !хонг редупликация как регулярное грамматическое средство, по-видимому, отсутствует, однако вместо этого наблюдается колоссальное количество нетривиальных морфонологических чередований, далеко не всегда предсказуемых и вынуждающих Э. Трэйлла регулярно приводить в своем словаре форму мн.ч. в качестве второй обязательной.

К сожалению, детального грамматического описания !хонг, по степени удовлетворительности соответствовавшего бы уровню словаря, на настоящий день ни Трэйллом, ни каким-либо другим исследователем-койсанологом предложено не было. В связи с этим, в частности, крайне насущным остается вопрос о причинах такого удивительного разнообразия способов образования множественного числа в этом языке и возможности сведения их к минимальному количеству обобщенных моделей. Этот вопрос, в свою очередь, оказывается тесно переплетенным с проблемой происхождения и общего функционирования классной системы в именных парадигмах !хонг, т.к. для правильного выделения формантов множественного числа нужно, естественно, уметь

выделять и форманты единственного, иногда совпадающие по своему сегментному составу с согласовательными суффиксальными элементами соответствующих классов (ср. в приведенных выше примерах – |á-í «лев» при |xà-í «большой» и т.п.). Данная работа представляет собой попытку дать хотя бы относительно удовлетворительный ответ на эти вопросы.

1. ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ В !ХОНГ

1.1. Количество выделяемых классов

Э. Трэйлл считает возможным распределить все именные словоформы !хонг по 5 классам в зависимости от того, какой из пяти возможных согласователей (1-й класс: -í; 2-й класс: -a⁰; 3-й класс: -e; 4-й класс: -u; 5-й класс: -n) употребляется при наличии в предложении данной словоформы.

Отметим сразу же, что 5-й класс – «дефектный»; к нему из всего многообразия именных форм !хонг относятся лишь три слова – личное местоимение ñ «я», tháa «вещь» и |qàa-bà «небольшой кусочек». В связи с этим в дальнейшем мы будем исключать 5-й класс из нашего рассмотрения (тем более что несупплетивной формы мн.ч. у местоимения «я» в !хонг нет, а слово tháa образует мн.ч. по аддитивной модели – thá-ní, см. 3.1.3).

Далее, бросается в глаза очевидная связь между 1-м и 4-м классами. Все без исключения существительные 4-го класса имеют значение множественного числа; при этом подавляющее большинство соответствующих им форм единственного числа относится к 1-му классу, напр., !xúu (1) – !xúu-tê (4) «трубка»; //âhbi (1) – //âhbu-tê (4) «куча» и т.п. Данное распределение, однако, не является полным, так как имеется небольшое количество имен 1-го класса, образующего формы мн.ч. 2-го или того же 1-го класса (ср. //qhùì (1) – //qhùa-tê «рогатая гадюка»; gòho⁰ (1) – gòha⁰-tê (2) «гной»), равно как и форм мн.ч. 4-го класса, соответствующих формам ед. ч. 2-го и 3-го классов (ср. //âhi (3) – //âhba-tê (4) «взрослый самец антилопы»; //gà?m (2) – //gà?ma-tê (4) «ноготь»). Наличие таких случаев не позволяет нам формально свести оба класса к одному. Однако ни одна из парадигм типа 1/1, 1/2, 2/4, 3/4 не является по-настоящему продуктивной, и не исключено даже, что в ряде случаев Трэйллом были зафиксированы просто ошибочные формы, особенно когда речь идет об именах, крайне редко используемых в форме мн.ч. (таких как «гной» и др.). Поэтому для удобства мы будем в дальнейшем говорить о едином классе 1/4, или просто о 1-м классе.

Можно утверждать, что по крайней мере в единственном числе налицо строго троичное противопоставление – 1-й класс, характеризующийся согласователем -í; 2-й класс с согласователем -a⁰; 3-й класс с согласователем -e.

1.2. Семантическая интерпретация классовых различий

Здесь ситуация выглядит достаточно запутанно. Более или менее очевидно, что обозначенное нами троичное противопоставление не имеет никакого отношения к дифференциации по половому признаку. Так, в один и тот же класс (3-й) попадают слова àa «отец», qáe «мать», tâa «человек»; ко 2-му классу, напротив, относится как слово !náu «юноша», так и //gaj «самка» и т.д. Равным образом невозможным оказывается выделить какую-либо семантическую доминанту и по другим типологическим признакам, отмеченным в языках Африки; части тела, названия животных, растений, артефактов, длинных/коротких предметов и т.п. более или менее равномерно распределены по всем трем классам. В самом общем случае, таким образом, связь между семантикой имени и его классной характеристикой приходится признать полностью произвольной.

Стоит, однако, обратить внимание на одно исключительно важное явление, которое позволяет по крайней мере в историческом плане пролить свет на происхождение классовых различий в !хонг. Речь идет о категории отчуждаемости, которая, судя по

описанию Трэйлла, для большинства существительных является классифицирующей и выражается в том, что «неотчуждаемые» имена присоединяют к себе посессивное определение без участия каких-либо служебных морфем (\bar{n} à «мой отец»), а «отчуждаемые» – исключительно с помощью служебной частицы |V (V = гласный согласователя, изменяющийся в зависимости от класса), напр. qûje |è ≠qhûe «смерч» (букв. «ветер страуса»), èh |ī g!kx?im «его родня» и т.п. Однако для небольшой группы имен, в основном частей тела, эта категория является словоизменительной, так как слова из этой группы могут присоединять определение обоими способами в зависимости от степени отчуждаемости. При этом «отчуждаемая» форма слова будет, как правило, формально относиться к 3-му классу, а «неотчуждаемая» – ко 2-му; иногда данное противопоставление сопровождается также различиями в тональной характеристике. Ср. отчуждаемые формы: |nān (3) «голова» (отдельно от тела), !ûe «ягодица» (напр., отрезанная у животного) (3); неотчуждаемые формы тех же слов: |nān (2), !ûe (2).

Отталкиваясь от этого противопоставления, можно предположить, что в историческом плане слова 3-го класса восходят к лексемам, по умолчанию являющимся «отчуждаемыми», т.е. не составляющими интуитивно неотъемлемого единства со своим посессором, а слова 2-го класса – к лексемам, по умолчанию являющимся «неотчуждаемыми», т.е. образующими с посессором семантически детерминированную связь. Приведем еще несколько косвенных аргументов в пользу данной гипотезы:

а) большинство слов, обозначающих части тела, но не зафиксированных в дублетах типа |nān (3) – |nān (2), относятся ко 2-му классу (?|nān «язык», !nōhm «гортань», ≠ûe «рот» и т.п.). Небольшая группа соматических терминов, неразрывно связанная с 3-м классом, в большинстве обозначает части тела не человека, а только животных (ср. //āe⁰ «рог», g!xâ?je «вымя», dūh?e «страусиное перо» и т.п.), что, возможно, связано с частым употреблением этих слов в «отчуждаемой» функции как частей туши уже разделанного животного. О словах, обозначающих части тела, но относящихся к 1-му классу, см. ниже;

б) как замечает Э. Трэйлл, подавляющее большинство относительно недавних заимствований как из европейских языков (английский, африкаанс), так и из банту относятся в ед. ч. к 3-му классу (в мн.ч. – к 4-му). 3-й класс, таким образом, является более продуктивным, нежели 2-й, что вполне естественно в отношении значения «отчуждаемость», менее маркированного, чем «неотчуждаемость»;

в) Трэйлл обращает внимание на следующую любопытную особенность образования композитов в !хонг: несмотря на то, что, как уже говорилось выше, слова àa «отец» и qáe «мать» сами по себе относятся к 3-му классу, все образованные с их участием композиты относятся ко 2-му классу. Ср., напр., sòo «лекарство» (1) + àa (3) > sòo-àa «знахарь», букв. «лекарства-отец» (2); !áe «зима» (3) + qáe (3) > !áe-qáe «разгар зимы», букв. «зимы-мать» (2) и др. Если и здесь принять за исходное противопоставление по отчуждаемости/неотчуждаемости, это легко объясняет соответствующие изменения в классной характеристике: необходимая идиоматизация композита достигается здесь через установление максимально тесной связи между определяемым словом и определением.

Разумеется, не существует какого-либо единого логического обоснования, позволившего бы легко объяснить наблюдаемое распределение между словами 2-го и 3-го класса. Так, ко 2-му классу относится слово g//qhàa «стрела с костяным наконечником», к 3-му – //qhàa «палка-копалка»; ко 2-му – !àhla «вид дерева (*Ochna pulchra*)», к 3-му – !úla «вид дерева (*Acacia luederitzii*)» и т.п. Тем не менее, при одновременном учитывании как обозначенного здесь семантического фактора, так и внешнего вида словоформы (см. 1.3) оказывается возможным предсказать класс того или иного существительного (2-й или 3-й) с достаточно высокой степенью вероятности.

Что касается 1-го/4-го (в дальнейшем – просто 1-го) класса, то он оказывается как бы «выключенным» из наблюдаемого противопоставления. К нему также относятся слова из совершенно различных семантических полей, однако, насколько можно судить, категория отчуждаемости для всех этих слов является чисто классифицирующей.

щей; в тех же немногих случаях, когда по какой-то причине возникает потребность разграничить «неотчуждаемое» и «отчуждаемое» употребление имени 1-го класса, оно перестает согласовываться по 1-му классу и переходит во 2-й класс (в «неотчуждаемой» функции) или в 3-й (в «отчуждаемой»). Это видно из того, что некоторые слова, обладая формальным признаком 1-го класса (суффиксом *-i*, см. 1.3), согласуются, тем не менее, по 2-му/3-му [ср., напр., //náí (2) «матка (неотчужд.)» – //náí (3) «матка (отчужд.)»].

Можно, таким образом, предположить, что в изначальной системе 1-й класс был «нейтральным», в то время как по 2-му/3-му классу согласовывались имена, для которых было актуальным противопоставление по отчуждаемости/неотчуждаемости. Здесь любопытно было бы упомянуть тот факт, что к 1-му классу относится, например, на порядок больше названий животных, чем ко 2-му и 3-му классу, вместе взятым; возможно, это следует объяснять тем, что для большого количества диких животных (по крайней мере живых) такое противопоставление действительно было бы неуместным.

К настоящему времени, однако, это противопоставление настолько часто оказывается нарушенным в области морфологии, синтаксиса и семантики, что приходится признать его крайне малую релевантность для текущего разбиения имен на согласовательные классы. Важнейшим архаизмом, однако, остается противопоставление 2-го и 3-го классов внутри парадигм существительных, обозначающих части тела.

Несколько выходя за рамки темы данной статьи, отметим, что чрезвычайно соблазнительным выглядит сопоставление суффикса *-i*, характеризующего 1-й класс, с общецентрально-койсанским суффиксом **-i*, употребляющимся в этих языках для обозначения (среднего) общего рода, «нейтрального» по отношению к мужскому роду на **-h* и женскому на **-s*; любопытно, однако, что разбиение имен на три класса осуществляется в !хонг и в центрально-койсанских языках на совершенно различных принципах – исходя из критерия «отчуждаемости» в первом и из родового критерия во вторых.

1.3. Морфологическое выражение классовых различий

В целом можно сказать, что категория класса является для !хонг скрытой, т.е. по внешнему виду словоформы (как в ед., так и во мн.ч.), как правило, нельзя предсказать, к какому классу она относится. Ситуация осложняется тем, что даже при возможном наличии внутри словоформы специального классового показателя не исключена возможность его фонетического слияния с предшествующим гласным корня, т.е. словоформу типа !náa «сосуд» можно при желании анализировать и как [!ná]+[0], и как [!ná]+[a] (где [0]/[a] – классовый показатель; из двухморности гласного не следует его «двухморфемность», см. ниже о структуре корня).

Тем не менее, статистический анализ имеющихся данных показывает, что классовая принадлежность слова в определенных случаях, несомненно, выражается внутри словоформы. Это признает и Э. Трэйлл, который выделяет ряд классовых суффиксов, по своему фонетическому облику совпадающих или крайне схожих с соответствующим согласователем.

1-й класс. Как отдельные суффиксы обозначены показатели *-i*, *-li* (ср. согласователь *-i*). Сразу уточним, что *-li* на самом деле – не суффикс, а, скорее, сочетание суффикса *-i* с конечным согласным корня *-l-* (см. ниже о структуре корня); аналогичным образом мы могли бы выделить и «суффикс» *-bi*, на самом деле представляющий собой сочетание корневого *-b-* с суффиксальным *-i*. Таким образом, «универсальным» суффиксом 1-го класса следует признать гласный *-i*. Это, однако, не значит, что морфема *-i* встречается только в словах 1-го класса, равно как и то, что не бывает слов 1-го класса без суффикса *-i*. Значительное количество слов 1-го класса имеет нулевой показатель (прежде всего слова с конечными сонорными *-m*, *-n*). Что касается слов 2-го/3-го классов с суффиксом *-i*, то они, как правило, обозначают части тела (//qáí «ноздря», //náí «матка», ≠háí «зад» и т.п.) и часто образуют бинарное противопоставление

ставление по отчуждаемости/неотчуждаемости, т.е. их переход во 2-й/3-й класс, скорее всего, вторичен.

2-й класс. Трэйлл выделяет в качестве вероятных суффиксов элементы *-a⁰*, *-ma*, *-n*, *-na*. Гипотезу относительно элемента *-n* необходимо отвергнуть; по крайней мере в формах ед. ч. ко 2-му классу относится сильно меньше имен, оканчивающихся на *-n*, чем к 1-му или к 3-му. Можно предположить, что данный «суффикс» был выделен Трэйллом на основании фонетического сходства с назализованным согласователем 2-го класса *-a⁰*. Элемент *-n* также часто встречается в формах мн.ч. преимущественно от имен 3-го класса, ср. [n̄ile (3) «камень», мн.ч. [n̄ip (2)]; однако, как будет показано ниже, во всех этих случаях он вообще не является грамматической морфемой.

Элемент *-a⁰*, возможно, действительно представляет собой классный показатель; учитывая, однако, что мы склонны трактовать назализацию как характеристику корневой, а не суффиксальной морфемы (см. ниже), разумнее было бы выделять просто *-a*. В этом случае «суффиксы» *-ma* и *-na*, как и «суффиксы» 1-го класса *-bi* и *-li*, раскладываются на конечный сонант корня (*-m-*, *-n-*) и собственно классный показатель *-a*.

Тем не менее, опять-таки имеется большое количество имен 2-го класса, не обнаруживающих никакого явно выраженного классного показателя (ср. основы на *-m*: dzúm «верхняя губа»; основы на *-o*: #n̄ō «ритуальная смесь» и т.п.); равным образом бывают и слова на *-a*, относящиеся к 3-му классу.

3-й класс. Здесь Трэйлл обнаруживает суффиксы *-le*, *-e*, *-je*, *-be*, соответствующие согласователю *-e*. Как и в предыдущих случаях, собственно суффиксом нужно считать гласный *-e*; предшествующие ему согласные на самом деле составляют часть корня. К 3-му классу действительно относится подавляющее большинство !хонг существительных на *-e* (хотя некоторое количество таких имен встречается и во 2-м классе, а одно – в 1-м, см. 3.3.5). Тем не менее, и здесь налицо многочисленные отклонения (ср. //áa «колючка», [q̄h̄iu «вид паука», Oğ̄ō «дуплистое дерево», //ʔân «солнце» – все слова 3-го класса).

В качестве общих предварительных выводов можно сделать следующие утверждения:

а) по крайней мере с исторической точки зрения очевидно, что категория класса внутри словоформы !хонг выражалась вокалическими показателями (*-i*, *-a*, *-e*) и остатки этой системы прослеживаются до сих пор;

б) явное исключение из общего правила – корни на носовые сонанты *-n*, *-m*, крайне редко и неохотно присоединяющие какие-либо вокалические суффиксы;

в) многочисленные нерегулярности и переходы из одного класса в другой показывают, что в какой-то момент непосредственная связь между классными показателями и собственно значениями соответствующих классов была утрачена. Так, слово #ûe «рот» из-за ауслота на *-e* следовало бы относить к 3-му классу («отчуждаемому»); реально, однако, оно согласуется по 2-му.

2. СТРУКТУРА ИМЕННОЙ СЛОВОФОРМЫ В !ХОНГ

2.1. Основные характеристики первичных структур

Прежде чем мы перейдем к основной задаче данной работы – формальному описанию схем образования множественного числа в !хонг – представляется необходимым обсудить вопрос о фонологической и морфологической структуре именной словоформы в !хонг как таковой, поскольку от правильного понимания этой структуры непосредственно зависит и выделяемый нами инвентарь показателей мн.ч.

Абсолютное большинство именных словоформ !хонг в ед.ч. имеет одну из четырех возможных структур, которые мы назовем п е р в и ч н ы м и: CV (= CV₁V₁), CVC, CVV (= CV₁V₂), CVCV. За пределами этих четырех множеств остается (а) ряд иноязычных заимствований (типа khánsêla «совет» и т.п.); (б) уменьшительные производные от

первичных имен, образованные с помощью суффикса *-hà /-òà*, иногда также с присоединением префикса *kâ-* и различными морфонологическими чередованиями, ср. *Òxàa* «брат», уменьш. *kâ-Òxàa-bà* и т.п.; (в) некоторое количество других производных основ, в составе которых явно просматриваются деривационные морфемы, ср. *//nàhi-sí* «черепашка» и т.п. Все эти случаи очевидно вторичны и ниже рассматриваться не будут (отметим лишь, что образование диминутивов в !хонг – тема, заслуживающая отдельного исследования).

Во всех первичных структурах очевидным образом выделяется анлаутный корневой согласный C_1 и корневой гласный V_1 . Позицию C_1 может занимать любой согласный !хонг (чаще всего это бывает кликс, реже всего – губные смычные, встречающиеся преимущественно в заимствованиях; в редких случаях анлаут может быть и нулевым, как в *àa* «отец» и т.п.). В позиции V_1 , в свою очередь, может быть зафиксирован любой из возможных гласных (*a, e, i, o, u*, а также их назализованные, фарингализованные, глоттализированные и придыхательные варианты).

Напротив, позиция ауслатного согласного C_2 в структурах типа *CVC* довольно строго ограничена; ее могут занимать исключительно носовые сонорные *-m* и *-n*, что, впрочем, является типологической чертой, общей практически для всего койсанского ареала. В структурах типа *CVCV* позицию C_2 также могут занимать *-m-* и *-n-*; помимо этого, в ней встречаются звонкий губной смычный *-b-* и все остальные сонорные !хонг (*-l-, -ñ-, -j-*). Поскольку в !хонг отсутствует фонологическое противопоставление между звонким смычным *-b-* и сонорным *-w-*, мы можем условно обозначить *-b-* как интервокальный аллофон фонемы [w] и сформулировать правило, согласно которому позиция C_2 в !хонг может быть занята любым сонорным этого языка и только сонорным.

Наконец, в позиции V_2 (структуры типа *CVV, CVCV*) также возможны все простые гласные !хонг, однако строго запрещены фарингализованные, глоттализированные и придыхательные варианты, а назализованные гласные встречаются исключительно редко.

Во множественном числе словоформы могут иметь все те же структуры, а также присоединять к себе аддитивные суффиксы мн.ч. (см. ниже). Однако граница между основой и суффиксом мн.ч. всегда обозначена исключительно четко, т.к. даже при исходе основы на согласный между этим согласным и начальным согласным суффикса ни разу не зафиксировано фузионного взаимодействия, ср. *!kxʔám* «бусина», мн.ч. *!kxʔám-tê; //gũʔm* «ящер», мн.ч. *//gũʔm-sa^o* и т.п.

Реальные проблемы при анализе парадигматических характеристик именных основ !хонг возникают тогда, когда требуется определить морфологический статус элементов C_2 и V_2 . Предшествующие им C_1 и V_1 почти никогда не изменяются в зависимости от числа (за исключением небольшого количества фонетически обусловленных случаев, о которых см. ниже) и потому могут стабильно рассматриваться как часть корня. Напротив, элементы C_2 и V_2 часто варьируют в зависимости от числовой характеристики лексемы, либо замещаясь на другие гласные/согласные, либо просто выпадая. В связи с этим налицо возможность анализировать эти элементы как (а) показатели числа, (б) кумулятивные показатели, совмещающие грамматические характеристики числа и класса, (в) составные элементы корня, модифицируемые в результате определенных морфонологических чередований, возникающих на стыке морфем. Как показывает практика, в зависимости от конкретных случаев возможен любой из этих трех вариантов; в связи с этим уместно на примере нескольких лексем разобрать все перечисленные выше типы структур по отдельности.

2.2. Первичные структуры CV

Сюда относятся односложные корни на *-a, -e, -o, -u* и (крайне редко) *-i*. Следует отметить, что в словаре Трэйлла эти структуры, как правило, имеют внешний вид *CVV* с «удвоенным» гласным, напр. *//áa, |qñūu, Ógðo* и т.п. Соответствующее «удвоение» носит автоматический характер и связано с такой общей типологической характеристикой большинства койсанских языков, как *д в у х м о р н о с т ь*, т.е. неспособность само-

стоятельной словоформы иметь длину короче чем в две моры; соответственно, полностью исключается ситуация, при которой, например, форма типа //á была бы фонологически противопоставлена //áа. Принятие данной нотации в словаре обусловлено разными причинами, начиная от фонетических и кончая графическими; так, Трэйлл считает, что при наличии нескольких дополнительных вокалических признаков «удвоенное» обозначение позволяет избежать нагромождения диакритик – ср., например, запись типа áá для обозначения назализованного фарингализованного гласного с высоким тоном (в нашей транскрипции = á⁰).

Правило двухморности, однако, вызывает серьезные затруднения при попытке провести внутри той или иной словоформы морфологические границы. В самом деле, если взять, например, такую пару, как //náа (3) «палка» – мн.ч. //nám (2), то первую из этих форм можно анализировать и как {//ná} + {0} (с автоматическим удлинением корневого гласного), и как {//ná} + {a} (с последующим стяжением), где вторая морфема – показатель класса/ед.ч.

Выход из этой ситуации подсказывает наличие таких параллельных форм, как, например, |gūа (3) «подстилка» – мн.ч. |gūm-tê (2); здесь корневой гласный фонетически не тождествен показателю ед.ч. -а, в результате чего стяжения не происходит, а форма мн.ч. явно показывает, что элемент -а не является частью корня. Поскольку данный случай полностью идентичен описанному выше, мы будем считать, что и в форме //náа скрыто присутствует показатель класса/ед.ч. -а.

По-видимому, для каждой двухморной формы ед.ч. типа CV (= CV₁V₁) теоретически возможно ее разложение на корень CV и классный суффикс V; чаще всего при этом в качестве суффиксов выступают гласные -а и -е, отмеченные в этой функции уже Трэйллом (см. выше). В некоторых случаях, однако, можно предположительно выделять также суффиксы -и (|qhū «вид паука» = {|qhū} + {u}) и -о (≠nō «ритуальная смесь» = {≠nō} + {o}); дополнительные аргументы в пользу такого членения приводятся в п. 2.5.

Таким образом, пресловутая «двухморность», по крайней мере для языка !хонг, оказывается явлением не только чисто фонетического, но и морфологического характера: по крайней мере в именных формах ед.ч. она естественным образом проистекает не просто из требований фонотактики, а из стяжения гласного корня с гласным суффиксального показателя. Особый вопрос – двухморность в ряде «усеченных» форм мн.ч., где она, по-видимому, действительно обусловлена исключительно фонетическими соображениями (см. ниже).

2.3. Первичные структуры CVC

Это формы на -т, -н с предшествующим гласным а, и или о; гласные е и і в таких контекстах не встречаются. Отметим также запрет на появление в этих формах назализованных гласных.

Морфологическое членение структур CVC достаточно тривиально. Если они являются формами ед.ч., конечные сонанты в подавляющем большинстве случаев неотделимы от корня – ср. tùm (2) «кожа», мн.ч. tùmá-tê (2); ?nàп (2) «язык», мн.ч. ?nàп-а (2). Там же, где в них присутствует значение мн.ч., сонанты -т, -н, напротив, всегда вычленяются как грамматические морфемы – ср. //náа (3) «палка», мн.ч. //nám (2); |nūle (3) «камень», мн.ч. |nūп (2).

Известно, однако, несколько исключений из данного правила, где оно выполняется с точностью до наоборот: ср., например, nām (1) «вид растения [Dipcadi marlothii]» – мн.ч. nāа-tê (4), |gàп (1) «опознавательный знак» – мн.ч. |gàба-tê (1). Очевидно, что здесь суффиксальные элементы -т, -н вычленяются из форм ед.ч. Однако данные модели (см. ниже) не являются продуктивными и, с нашей точки зрения, представляют собой своеобразную «инверсию» обычной ситуации, когда формы ед. и мн.ч. меняются местами.

2.4. Первичные структуры CVV

Сюда относятся все формы, содержащие вокалические сочетания *ae, ai, ao, au, oa, oe, ia, ie, ii* (остальные комбинации гласных в !хонг запрещены), равно как и их назализованные, фарингализованные и пр. варианты. Ниже мы покажем, что там, где речь идет о сложных способах образования мн.ч., для каждого из этих сочетаний верно то, что их второй элемент в формах мн.ч. регулярно элиминируется или замещается каким-то другим суффиксом [напр., $\ne\hat{a}e^0$ (2) «челюсть» – мн.ч. $\ne\hat{a}m-t\hat{e}$ (2)]. Следовательно, и здесь мы можем утверждать, что морфологическая граница между корнем и классным суффиксом/показателем ед.ч. проходит между первой и второй морой.

Что касается форм мн.ч., то здесь структуры типа CVV встречаются крайне редко и, как правило, не встраиваются ни в одну хоть сколь-нибудь продуктивную модель (случаи типа $tsh\hat{o}e$ (2) «внутренняя часть» – мн.ч. $tsh\hat{o}a^0-t\hat{e}$ (2), исчисляемые единицами).

Следует особо подчеркнуть, что при использовании словаря Трэйлла может возникнуть впечатление, что при наличии в составе структуры CVV дополнительного признака назализации этот признак характеризует вторую часть сочетания (записи типа $q\hat{a}i$ «прекрасный», $l\hat{n}i\hat{a}$ «спор» и т.п.). На самом деле это орфографическая условность, принятая во избежание чрезмерного скопления диакритик (см. 2.2); реально назализация распространяется на все сочетание. С фонологической же точки зрения уместно считать, что назализация, наоборот, стандартно определена на первой части сочетания, т.е. является характеристикой корня, а на суффиксальный элемент словоформы распространяется автоматически. Таким образом, в форме типа $l\hat{n}i\hat{a}$ (в нашей транскрипции $l\hat{n}i\hat{a}^0$) мы будем выделять корень $l\hat{n}i^0$ - и суффикс *-a*. Как будет показано ниже, такая трактовка позволяет существенно сократить количество выделяемых формообразовательных моделей.

2.5. Первичные структуры CVCV

Как уже говорилось выше, позиция C_2 в !хонг строго ограничена сонорными согласными. Напрашивается гипотеза, согласно которой всякий C_2 в структуре CVCV является суффиксом, и в какой-то степени этот взгляд разделяет и Э. Трэйлл (см. 1.3, где указано на выделение им последовательностей *-ma, -na, -le, -li* и т.д. как потенциальных классных показателей). Однако реально наличие в словоформе в позиции C_2 сонорного согласного не позволяет что-либо сказать о его классной характеристике (предугадать которую – и то лишь отчасти – можно только по следующему за ним гласному V_2); более того, этим «суффиксам» оказывается невозможным приписать вообще никакого словообразовательного значения, в силу полного отсутствия хоть сколько-нибудь продуктивных словообразовательных моделей типа $C_1V_1 + C_2[V_2] \rightarrow CVCV$.

Единственным аргументом в пользу суффиксального характера инлаутных *-b-, -l-, -j-* и т.п. можно считать их способность к «усечению» при образовании форм мн.ч. Ср., например, такие – достаточно регулярные – парадигмы, как $l\hat{n}i\hat{e}$ (3) «камень» – мн.ч. $l\hat{n}i\hat{n}$ (2); $l\hat{o}n\hat{a}je$ (3) «дерево» – мн.ч. $l\hat{o}n\hat{a}^0$ (2); $!g\hat{a}ba$ (2) «фасция» – мн.ч. $!g\hat{a}m-t\hat{e}$ (2). Однако при более детальном анализе оказывается, что «усечение» во всех этих случаях мнимос. На самом деле элиминируется здесь только ауслатный гласный V_2 ; именно его следует считать суффиксом, совмещающим значения класса и ед.ч. Что же касается сонорного, то он, оказываясь в результате в конечнослоговой позиции, вступает в одно из возможных морфонологических чередований: (а) *-b-l-m*, (б) *-l-l-n*, (в) *-j-l-0*. Регулярность подобного рода корреляций будет показана ниже.

Напротив, конечный гласный V_2 обычно обнаруживает те же особенности, что и соответствующие гласные в структурах типа CV и CVV, т.е. в сложных (неаддитивных) формах мн.ч. с высокой степенью регулярности либо выпадает, либо замещается другим вокалическим элементом. Исходя из этого, мы и здесь будем считать V_2 суффиксом во всех случаях, кроме специально оговоренных.

Таким образом, все подтипы именных словоформ в !хонг можно свести к двум основным: а) тип C_1VC_2 с нулевым показателем класса/числа, где $C_2 = m$ или n ; б) тип $C_1V_1(C_2)\#V_2$, где $V_2 =$ показатель класса/числа.

3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В !ХОНГ

Все словарно засвидетельствованные именные парадигмы !хонг удобно разбить на три основные группы:

а) слова, образующие множественное число аддитивным способом, т.е. простым присоединением суффикса мн.ч. без каких-либо изменений внутри основы;

б) слова, образующие множественное число кумулятивным способом, т.е. с помощью изменения непосредственно основы ед.ч., часто в зависимости от ее классной характеристики²;

в) слова, образующие множественное число смешанным способом, т.е. сочетание в пределах одной словоформы элементов аддитивности и кумулятивности.

Наиболее частым из данных способов является аддитивный (зафиксирован более чем в половине из имеющихся парадигм); вторым по частотности является смешанный способ; и, наконец, лишь около 40–45 слов образуют мн.ч. чисто кумулятивным способом, причем, в отличие от двух остальных, этот способ не является продуктивным; судя по общему пропорциональному соотношению, сегодня в !хонг налицо явная тенденция к переходу большинства кумулятивных форм мн.ч. в смешанный тип. Учитывая, однако, что кумулятивный способ чаще всего характеризует лексику, являющуюся для носителей !хонг «базисной» и наиболее частотной, логично предположить, что он достаточно архаичен, и при дальнейшем анализе он будет интересовать нас значительно больше, чем простой аддитивный способ.

3.1. Аддитивный способ (продуктивные суффиксы мн.ч.)

Суффиксов, выражающих идею множественного числа и не зависящих при этом от фонетической или классной характеристики основы ед.ч., в !хонг насчитывается четыре: *-tê* (диал. *-lê*), *-tû*, *-nî*, *-sa* (иногда с назализованным вариантом: *-sa⁰*).

3.1.1. Морфема *-tê*

Наиболее продуктивный способ образования мн.ч. – непосредственное присоединение к основе ед.ч. суффикса *-tê* (около 500 случаев из корпуса в 1000 лексических единиц). При этом, как правило, классная характеристика имени остается неизменной, т.е. имена 2-го и 3-го классов в мн.ч. продолжают согласовываться по 2-му и 3-му классам, а имена 1-го класса закономерно согласуются по 4-му. В редких случаях, однако, возможны и другие соотношения. Ниже приводятся примеры регулярных моделей (из соображений объема мы не приводим весь материал) и перечень имеющихся исключений:

а) ед.ч. 2-й класс: мн.ч. 2-й класс: *Ōqóu* – *Ōqóu-tê* «дикая кошка»; *ǰúma* – *ǰúma-tê* «питон»; *ǰúí* – *ǰúí-tê* «грудная кость»; *ǰnúʔm* – *ǰnúʔm-tê* «пест»; *!nōhbu* – *!nōhbu-tê* «одеяло» и т.д.;

б) ед.ч. 3-й класс: мн.ч. 3-й класс: *ǰháó* – *ǰháó-tê* «мешок»; *ǰ/kxʔóni* – *ǰ/kxʔóni-tê* «вид вши»; *//hām* – *//hām-te* «веснушка, родинка»; *xāla* – *xāla-tê* «лопата»; *xāla* – *xāla-tê* «жслчь» и т.д.;

² Следует особо оговорить, что несколько моделей образования мн.ч., относимые нами к «кумулятивным», не являются таковыми в строгом смысле слова (так, показатель мн.ч. *-a* в основах типа CVC не содержит в себе информации о классной принадлежности соответствующего слова). Тем не менее, они, во-первых, строго детерминированы типом основы, во-вторых, наравне с «чистыми» кумулятивными моделями, явно противопоставлены «аддитивным» и «смешанным» моделям. В связи с этим за неимением более подходящего термина мы будем употреблять для «явной» и «условной» кумуляции одно и то же слово.

в) ед.ч. 1-й класс: мн.ч. 4-й класс: |àho – |àho-tê «сова»; !xúu – !xúu-tê «трубка»; kúu – kúu-tê «овца»; !hūli – !hūli-tê «вид насекомого (lousefly)» и т.д.

Редкие модели:

г) ед.ч. 1-й класс: мн.ч. 1-й класс: |náu – |náu-tê «чесалка (против вшей)»; !Gāhi-sì – !Gāhi-sì-tê «вдова»;

д) ед.ч. 1-й класс: мн.ч. 2-й класс: |Gáu – |Gáu-tê «высококучевое облако»; //nàni-kà – //nàni-kà-tê «потомство»;

е) ед.ч. 1-й класс: мн.ч. 3-й класс: g|qháli – g|qháli-tê «бурая гисна»;

ж) ед.ч. 2-й класс: мн.ч. 3-й класс: kàli-káli – kàli-káli-tê «первый и второй шейные позвонки»;

з) ед.ч. 2-й класс: мн.ч. 4-й класс: //qhô?a⁰ – //qhôa⁰-tê «дух, мысль»; †gà?a⁰ – †gà?a⁰-tê «женские гениталии»; †?ā⁰ – †?ā⁰-tê «ребро».

и) ед.ч. 3-й класс: мн.ч. 2-й класс: //gáu – //gáu-tê «вид куста»; //nù?mi – //nù?mi-tê «хрящ»; ūhbu-kú – ūhbu-kú-tê «божество земли»;

к) ед.ч. 3-й класс: мн.ч. 4-й класс: Ohó⁰ OGòmí – Ohó⁰ OGòmí-tê «вид кузнечика»; †āhi⁰-†āhi⁰ – †āhi⁰-†āhi⁰-tê «вид птицы (Prinia flavicans)»; bùrukò – bùrukò-tê «штаны»; tshòni – tshòni-tê «вид бабуина»; ká-kú⁰-sè – ká-kú⁰-sè-tê «немой»; náa qàli – náa qàli-tê «зорилла (африканский скунс)».

Легко заметить, что суффикс *-tê* может присоединяться к словоформам любой структуры, включая производные, расширенные с помощью деривационных суффиксов (ká-kú⁰-sè, !Gāhi-sì и т.п.). Относительно редки, впрочем, случаи типа |guí – |guí-tê, т.к. для основ с суффиксом *-i* все же гораздо более характерным остается смешанный тип образования мн.ч. (см. ниже).

Какого-либо разумного объяснения для нетривиальных случаев изменения классной характеристики имен в группах (г)–(к) на настоящий момент предложить не удастся. Стоит отметить только, что соотношение «ед.ч. 3-й класс – мн.ч. 2-й класс» с высокой степенью регулярности встречается также при кумулятивном и смешанном образовании мн.ч.; все прочие соотношения универсально редки (не следует также забывать, что некоторые из «нерегулярных» примеров могут представлять собой формы, искусственно образованные информантами и не употребляемые непосредственно в речи).

3.1.2. Морфема *-tú*

Суффикс *-tú* зафиксирован в сравнительно небольшой группе существительных (порядка 20 примеров). Он отличается от прочих суффиксов мн.ч. прежде всего прозрачностью этимологии: нет никаких сомнений в том, что он восходит к форме мн.ч. от слова *tâa* «человек», причем сама парадигма *tâa* (3) – *tûu* (4) является уникальной и с синхронной точки зрения должна рассматриваться как случай супплетивизма (исторически, возможно, здесь действовало какое-то несохранившееся аблаутное чередование). Данная этимология подтверждается двумя фактами: (а) почти все формы мн.ч., образованные с помощью суффикса *-tú*, относятся к 4-му классу; (б) больше половины из них относятся к сфере терминов родства. Ср.:

Òaa (2) – Òaa-tú «детеныш»; Òxàa (2) – Òxàa-tú «старший брат»; //òo (2) – //òo-tú «родственник (с семейной пары)»; |kx?òe «друг» – |kx?òe-tú (4); ?|nàn (3) – ?|nàn-tú (4) «супруга»; //hām (3) – //hām-tú «бабушка»; qáe (3) – qáe-tú «мать»; àa (3) – àa-tú «отец» и др.

Из данных правил, впрочем, также есть ряд исключений; в эту группу попадает несколько существительных, обозначающих животных (?//nôhba (3) – ?//nôhba-tú «вид птицы (Coccyzus naevia)»; dàhbi sîi (1) – dàhbi sîi-tú «летающий муравей»; ts?à⁰ àa (2) – ts?à⁰ àa-tú «мангуст»), и два из них при этом во мн.ч. согласуются по 2-му классу: //nâe⁰ (2) – //nâe⁰-tú (2) «венценосный чибис»; dâhn-tê (2) – dâhn-tê-tú (2) «летучая мышь». Нетрудно, однако, заметить, что как минимум один из этих случаев является формальным производным от слова *àa* («мангуст», букв. «крадущийся отец» – очевидно, эвфемизм вместо табуированного |Gôhli); в другом случае – dâhn-tê – налицо не очень по-

ный случай явно вторичного перехода старой формы мн.ч. на *-tê* в парадигму ед.ч. и образование для нее новой формы мн.ч. на *-tû*. В любом случае количество исключений минимально и не может заслонять исходную семантику показателя *-tû*.

Отметим также, что *-tû* – единственный аддитивный суффикс, никогда не встречающийся в смешанных формах мн.ч.

3.1.3. Морфема *-nî*

Этот показатель у непроемных существительных зафиксирован лишь в нескольких случаях: $\text{O}^{\circ}\text{àa}$ (2) – $\text{O}^{\circ}\text{â-nî}$ (2) «ребенок, детеныш» (ср. альтернативную форму $\text{O}^{\circ}\text{àa-tû}$ выше); $\text{?O}^{\circ}\text{nâha}^{\circ}$ (2) – $\text{?O}^{\circ}\text{nâha}^{\circ}\text{-nî}$ (2) «тело»; $\text{|q}^{\circ}\text{hû}^{\circ}$ (2) – $\text{|q}^{\circ}\text{hû}^{\circ}\text{-nî}$ (2) «белый человек»; $\text{!}^{\circ}\text{âma}$ (2) – $\text{!}^{\circ}\text{âma-nî}$ (2) «жаворонок»; $\text{!}^{\circ}\text{ûma}$ (2) – $\text{!}^{\circ}\text{ûma-nî}$ (2) «охотничья сумка»; $\text{O}^{\circ}\text{qâa}$ (3) – $\text{O}^{\circ}\text{qâa-nî}$ (4) «ребенок»; $\text{th}^{\circ}\text{âa}$ (5) – $\text{th}^{\circ}\text{âa-nî}$ (2) «вещь» (о слове $\text{th}^{\circ}\text{âa}$ и 5-м классе см. 1.1).

Этимология суффикса *-nî* неизвестна, зато с высокой степенью уверенности можно предположить, что исходным его значением является выражение идеи уменьшительности. В данной работе мы не будем подробно рассматривать (достаточно сложные) модели образования диминутивов, однако отметим, что одна из наиболее частых таких моделей – присоединение в ед.ч. суффикса *-bà* (вар. *-Oà*), а во мн.ч. суффикса *-nî*. Ср.: $\text{O}^{\circ}\text{hân}$ «антилопа дукер» > димин. $\text{O}^{\circ}\text{hûu-bà}$, мн.ч. $\text{O}^{\circ}\text{hûu-nî}$; $\text{//q}^{\circ}\text{hû}^{\circ}$ «жираф» > димин. $\text{//q}^{\circ}\text{hûu-bà}$, мн.ч. $\text{//q}^{\circ}\text{hûu-nî}$ и т.п. Таким образом, уместно предположить, что формы мн.ч. на *-nî* от непроемных существительных с исторической точки зрения восходят к парадигмам образованных от них диминутивов. Любопытно, что из всех перечисленных выше существительных собственно диминутивными формами, как в ед., так и во мн.ч., в словаре Трэйлла обладает только $\text{O}^{\circ}\text{qâa}$ «ребенок» (димин. $\text{kâ-O}^{\circ}\text{qôu-bâ}$, мн.ч. $\text{kâ-O}^{\circ}\text{qô}^{\circ}\text{-nî}$ $\text{O}^{\circ}\text{âni}$ – явно вторичная форма, учитывающая дублирование в ней морфемы *-nî*); для прочих имен специальные диминутивные формы либо не отмечены вообще, либо приводятся только в единственном числе.

3.1.4. Морфема *-sa⁽⁰⁾*

Этот показатель особенно характерен для смешанных форм образования мн.ч. Зафиксированы только три случая, когда он присоединяется к основе ед.ч. без каких-либо сопутствующих изменений: $\text{?!n}^{\circ}\text{ùm}$ (2) – $\text{?!n}^{\circ}\text{ùm-sâ/-sâ}^{\circ}$ (2) «лоб»; $\text{//g}^{\circ}\text{û?m}$ (3) – $\text{//g}^{\circ}\text{û?m-sâ}^{\circ}$ (2) «ящер»; $\text{?//n}^{\circ}\text{ùbu}$ (2) – $\text{?//n}^{\circ}\text{ùbu-sâ}$ (2) «крупное животное или человек». Даже при условии реальной употребляемости этих форм можно все равно предположить их вторичность (морфологическое выравнивание в принципе могло бы повлиять на исходную парадигму типа $\text{*?!n}^{\circ}\text{ùa}$ – $\text{?!n}^{\circ}\text{ùm-sâ}$ или $\text{*?!n}^{\circ}\text{ùm}$ – $\text{?!n}^{\circ}\text{ùma-sâ}$, см. ниже).

Уместно предположить, что суффикс мн.ч. *-sa⁽⁰⁾* этимологически тождествен субстантиватору *sà*, нейтрализующему предикативность глагольных и адъективных форм (ср. $\text{!n}^{\circ}\text{ùli sV}$ «вытирать глаза» – $\text{!n}^{\circ}\text{ùli sí-sà}$ «вытирание глаз» и т.п.; от субстантиватора могут синтаксически зависеть как отдельные предикативы, так и целые предложения); это косвенно подтверждается и тем, что почти все формы мн.ч. на *-sa⁽⁰⁾*, как аддитивные, так и смешанные, относятся ко 2-му классу, и к нему же по общему правилу относятся все субстантивированные формы на *-sà*. Первоначальной функцией этого суффикса было, таким образом, подчеркивание именного характера сочетающейся с ним основы; впоследствии он был в ряде форм переосмыслен как показатель мн.ч.

3.2. Смешанный способ образования мн.ч. как производный от кумулятивного

При дальнейшем рассмотрении формообразовательных моделей !хонг нам будет удобно анализировать кумулятивные и смешанные формы мн.ч. не по отдельности, а вместе. Это связано с тем, что, исходя из самого определения смешанного способа образования мн.ч., любую такую смешанную форму можно определить как агглютинативное сочетание «кумулятивная форма мн.ч. + аддитивный суффикс мн.ч.». При этом

едва ли не для любой кумулятивной модели можно найти аналогичную ей модель смешанную: ср. //náa – //nám «палка», но //gâa – //gâm-te «начало лета» и т.п.

Обратное, впрочем, неверно: существует ряд смешанных моделей, для которых не удастся обнаружить соответствующих им кумулятивных. Так, регулярная модель с заменой суффикса ед.ч. *-i* на суффикс мн.ч. *-ba* представлена только в смешанном виде (напр., |á-i «лев» – мн.ч. |á-ba-tê, но никогда не *|á-ba). Это, очевидно, следует увязывать с постепенным отмиранием чисто кумулятивной модели как таковой. Тем не менее, даже такие смешанные модели уместно рассматривать в одной плоскости с кумулятивными, оперируя гипотетическими формами типа *|á-ba; как мы постараемся показать ниже, это даст нам возможность лучше разобраться в деталях описываемой системы.

Отметим, что в некоторых случаях между кумулятивной формой мн.ч. и суффиксами *-tê*, *-sa*⁰, *-nî* появляется также инкремент *ka*: ср. !àhla «вид дерева» – мн.ч. !àhn-kà-tê, //nàhbe «желтый мангуст» – //nàhm-kâ-tê. Сущность и причины появления этого элемента остаются неясными; можно лишь заметить, что его дистрибуция в целом ограничена лексемами, имеющими в ед.ч. структуру CVCV.

3.3. Кумулятивные и смешанные способы образования мн.ч. от имен 1-го класса

Общим для всех имен 1-го класса, как уже было сказано выше, является согласование в мн.ч. по 4-му классу; немногочисленные исключения будут приведены ниже, при разборе конкретных подтипов.

3.3.1. Ауслат на *-i*

Этот ауслат имеет более половины имен, относящихся к 1-му классу. Все случаи образования сложного мн.ч. (в дальнейшем под «сложным» мн.ч. будет пониматься мн.ч., образованное либо по кумулятивной, либо по смешанной модели) относятся к смешанному типу. Основные правила формообразования можно сформулировать следующим образом:

а) основы типа C_1-i образуют мн.ч. путем замены *-i* на *-ba* (|á-i – |á-ba-tê «лев»; †qhà-i – †qhà-ba-tê «собака»; g//qhái – g//qhá-ba-tê «пчелиный воск» и т.п.);

б) основы типа C_1-i образуют мн.ч. путем замены *-i* на *-a* (g|xú?i – g|xú?a-tê «вид мыши»; g†xūi – g†xūa-tê «охотничья собака»; sūi – sūa-tê «бородавка» и т.п.);

в) основы типа C_1VC_2-i , где $C_2 = -b-, -l-$, образуют мн.ч. путем замены *-i* на *-u* (!gāh?bi – !gāh?bu-tê «дубина»; //àhbi – //àhbu-tê «куча»; dthábi – dthábu-tê «бабочка»; |àli – |àlu-tê «антилопа гну»; !qóli – !qólu-tê «роговая оболочка глаза»; kúli – kúlu-tê «год» и т.п.).

Таким образом, морфы *-ba*, *-a*, и *-u* оказываются в дополнительном распределении относительно типа основы. На этом основании мы можем их объединить в единую морфему, условно обозначаемую как $\{-wa\}$, с соответствующими правилами реализации: а) *-a-wa-* > *-aba-*; б) *-u-wa-* > *-ua-*; в) *-bwa*, *-lwa* > *-bu*, *-lu*. (Фонетически не зафиксированный вариант *-wa* принимается нами лишь потому, что ни для одного из трех реально наблюдаемых алломорфов нельзя предложить набор правил, однозначно выводивших бы из него два других.)

Исключения. А) В двух случаях суффикс *-i* в формах мн.ч. заменяется на *-m*: |gàhi-sí – |gàhm-sá «навозный жук»; //nàhi-si – //nàhm-sá⁰ «черепаха». Бросается в глаза нестандартная структура этих лексем, расширенных в ед.ч. за счет дополнительного суффикса *-sí*. Помимо этого, форма мн.ч. от первого из них согласуется по 1-му классу, а от второго – по 2-му.

Б) В двух случаях налицо замена *-i* на *-a* в структуре типа C_1VC_2-i : †xúbi «лучевая кость (отчужд.)» – мн.ч. †xúba-tê; g†qhúli – g†qhúla-tê «локтевая кость» (вместо ожидаемых *†xúbu-tê и g†qhúlu-tê). Можно предположить, что формы ед.ч. здесь образованы вторично (по аналогии с другими словами на *-bi*, *-li*); см. также 3.4.3.

В) Мн.ч. по 2-му классу отмечено у слова !núi – !núa-tê «вид куста»; по 1-му классу у слов //qhúli – //qhúa-tê «рогатая гадюка», †qhúli – †qhúlu-tê «жук-щелкун».

Всего, таким образом, насчитывается семь исключений при 86 полностью регулярных случаях.

3.3.2. Ауслат на -и

Все имена с ауслатом на -и имеют структуру либо CV, либо CVV. Правила образования мн.ч. следующие:

а) основы типа C(u)u (реально – C(u)u⁰ = Cu⁰-и, т.к. во всех словах, относящихся сюда, гласный назализован) заменяют -и на -а (|nù⁰ – |nù⁰-tê «дикобраз»; ?|nù⁰ – ?|nù⁰-tê «бурая гиена»; †ú⁰ – †ú⁰-tê «пустое страусиное яйцо» и т.п.);

б) основы типа Cau, Cau⁰ утрачивают -и, что с точки зрения структуры слога также равносильно замене -и на -а (g!xá?u – g!xá?a-tê «зимний южный ветер»; !náu – !náa-tê «пласт почвы»; //á?u – //á?a-tê «защищенная сторона дерева»; //gāhu⁰ – //gāha⁰-tê «пятнистая гиена»).

Исключения. А) В одном случае назализация, присутствуя в форме мн.ч., отсутствует в ед.ч.: !qāhū – !qāha⁰-tê «гепард». Следует, однако, отметить, что сама по себе форма ед.ч. выглядит исключительно странно, т.к. две различные тональные характеристики внутри одного слога (нотация ahu фонетически = au^h) в !хонг обычно запрещены. Возможно, речь идет об элементарной опечатке вместо !qāhū (в нашей записи !qāhu⁰); если так, то случай полностью регулярен согласно правилу (б). С другой стороны, отсутствие назализации в ед.ч. при наличии в мн.ч. зафиксировано также в паре //nāu – //nā⁰-tê «палочка для помешивания чего-л.».

Б) Наоборот, в одном случае назализация исчезает в форме мн.ч.: !gú?u⁰ – !gú?a-nî «вид растения с пахучими луковицами».

В) Совершенно особая форма мн.ч. у слова !nū⁰ «большая дрофа» – !nūna. Здесь в мн.ч. проявляется палатальный сонант -ń-, однако вероятность его суффиксального характера ничтожно мала, т.к. аналогичных случаев (в других классах, см. ниже) насчитывается не более двух-трех. Мы будем считать -ń- частью корня, а форму ед.ч. закономерным результатом преобразования исходной структуры *!niń-u > !nu⁰-u > !ni(u)⁰, т.е. постулировать развитие «-ń- > назализация предшествующего гласного» перед суффиксальным -и.

Мнимыми исключениями являются пары Onú⁰ – Onà⁰-tê «вошь»; gOqhù⁰ – gOqhà⁰-tê «вид дикой смородины». Мы ожидали бы скорее *Onú⁰-tê и *gOqhú⁰-tê; однако в обеих этих формах на вокализм оказывает влияние начальный лабиальный кликс, в результате чего губной глайд -и- в начале сочетания сливается с согласным и элиминируется. Лабиальные кликсы в !хонг вообще достаточно часто модифицируют исходный вокализм (ср. развитие -а- > -и- в форме Onum, 3.5.2).

Всего насчитывается 2 исключения (//nāu, !gú?u⁰) при 15 регулярных случаях, включая !qāhū (= !qāhū?) и !nū⁰ < *!nińu.

3.3.3. Ауслат на -о

Все имена имеют исключительно структуру CV, с единственным правилом образования формы мн.ч.: C(o)o⁰ > Coa⁰, т.е. заменой конечного -о на -а. Все основы 1-го класса на -о, кроме одной, имеют назализованный гласный.

Ср.: !ðho⁰ > !ðha⁰-tê «вена»; Ogd⁰ > Ogà⁰-tê «съедобная гусеница»; gOkx?ó⁰ – gOkx?á⁰-tê «муха»; †góh?o⁰ – †góh?a⁰-tê «личинка».

Исключения. А) Два слова в мн.ч. почему-то согласуются по 2-му классу: gðho⁰ – gðha⁰-tê «гной»; |kx?ð⁰ > |kx?ða⁰-tê «уголь».

Б) Единственная неназализованная основа на -о – !gôo «дающий» – образует мн.ч. !gûp-sâ. Здесь, скорее всего, налицо супплетивизм.

3.3.4. Ауслат на носовые сонорные

Большинство основ 1-го класса, оканчивающихся на -т, -л, образуют мн.ч. путем присоединения суффикса -а (в 1-м классе всегда сопровождаемого продуктивным суффиксом -tê).

Ср.: |ùhm – |ùhma-tê «вид совы»; !nám – !náma-tê «опушка»; //ná?m – //ná?ma-tê «вид растения»; !qhàn – !qhàna-tê «луна»; //náp – //nápa-tê «цикада» и т.п.

Исключения. А) По 2-му классу мн.ч. образуют слова //gàm – //gàma-tê «складка кожи»; †gàm – †gàma-tê «свежесохшее дерево».

Б) В четырех случаях конечный *-m* ведет себя, как отделяемый суффикс: g†qhám – g†qháa-tê «вид растения с большими луковицами»; pām – pāa-tê «Dipca di marlothii»; dām – dā⁰ (2) «удовлетворение от еды»; ?//nāhm – ?//nāha⁰-tê «бычья жаба». Модель здесь представлена одна и та же для всех четырех слов: CV-*m* > CV-*a* (см. 3.4.2 относительно причин появления в формах dā⁰, ?//nāha⁰-tê назализации), однако она явно не укладывается в общую парадигматическую схему 1-го класса. В п. 2.3 мы уже говорили, что такие случаи с исторической точки зрения могут представлять собой «инвертированные» формы мн.ч., т.к. соответствие «ед.ч. CV-*a* – мн.ч. CV-*m*» является абсолютно регулярным для 2-го и 3-го классов. На синхронном уровне, однако, нам придется все же для этих случаев приписывать суффиксу *-m* значение ед.ч.

В) Абсолютно уникальным выглядит соотношение ед.ч. |gàn (1) – мн.ч. |gàba-tê (1) «опознавательный знак». Единственный выход – считать данную парадигму супплетивной, а форму |gàba-tê образованной от незасвидетельствованного ед.ч. *|gà-i.

Г) Единственная основа 1-го класса на *-on* образует мн.ч. следующим образом: //xóp – //xópa⁰-te «неотравленный наконечник стрелы». В целом этот случай аналогичен группе исключений (Б), т.е. может рассматриваться как «инвертированное» мн.ч. //xó⁰ + *-n* > //xóp от ед.ч. //xó⁰ + *-a* > //xópa⁰.

Всего насчитывается 3 исключения и 5 случаев «альтернативной модели *-m, -n* > *-a*» на 31 полностью регулярный случай.

3.3.5. Ауслат на *-e*

В 1-м классе зафиксирован только для одного случая: †qùe (1) – †qùm-kà-tê «вид кобры». Замена *-e* на *-m* вполне регулярна (см. ниже), но причина отнесения слова к 1-му классу совершенно непонятна.

3.3.6. Выводы

Основная масса имен 1-го класса четко распадается на две группы: (а) с отделяемым классным показателем и (б) без классного показателя.

Отделяемых классных показателей следует выделять два: *-i* (для основ с ауслатом на *-i*) и *-u/-o* (для основ с ауслатом на *-u, -o*). При этом алломорфы *-u* и *-o* находятся в дополнительном распределении в зависимости от гласного корня; там, где в корне представлен *-a-* или *-u-*, выбирается вариант *-u*, там, где в корне налицо *-o-*, выбирается *-o-*. Такое решение принимается на основании отсутствия в !хонг сочетания *ou* (то есть любое *-ou-* автоматически > *-oo-*) и в целях общей экономности системы.

Правило образования мн.ч. для всех основ с отделяемым классным показателем можно обобщить в виде *-i, -u/-o* > **-wa*, со следующими морфонологическими преобразованиями: 1) *-awa* > *-aba*; 2) *-uwa* > *-ua*; 3) *-bwa, -lwa* > *-bu, -lu*; 4) *-ñwa* > *-ña*; 5) *-auwa* > *-aa*; 6) *-owa* > *-oa*.

Группа (б) представлена основами типа CV*m*, CV*n*, с общим правилом образования мн.ч. в виде *-0* > *-a*. (В принципе можно было бы объединить оба правила, предположив гипотетическое развитие *CV*m-wa*, *CV*n-wa* > CV*m-a*, CV*n-a*; учитывая, однако, что *-bwa, -lwa* > *-bu, -lu*, хотелось бы в таком случае ожидать скорее *-mwa, -nwa* > *-mi, -ni*. К тому же, как будет показано ниже, основы на сонорный ведут себя особым образом не только в 1-м классе, но и во всех остальных.) В редких случаях представлен также особый подтип CV-*m*, CV-*n* > CV-*a*, где *-m* и *-n* – отделяемые суффиксы.

3.4. Кумулятивные и смешанные способы образования мн.ч. от имен 2-го класса

Несмотря на то, что во 2-м классе представлены все возможные типы основ, в целом к нему относится значительно меньше имен, чем к 1-му или 3-му, что в целом со-

гласуется с гипотезой о маркированном значении «неотчуждаемости» как об исконной характеристике 2-го класса. Абсолютное большинство имен 2-го класса в мн.ч. также согласуется по 2-му классу.

3.4.1. Ауслаут на -a

Основы типа CV образуют мн.ч. путем замены конечного -a на сонорный -m или -n, без каких-либо следов распределения. Во многих случаях при этом в ед.ч. наблюдается назализация, исчезающая в формах мн.ч.; с нашей точки зрения, это связано с морфонологическим запретом на последовательность «назализованный гласный + носовой согласный», т.е. в ед.ч. назализация характеризует корень, а в мн.ч. закономерно нейтрализуется в соответствующем контексте. Ср.:

мн.ч. на -m: !nàa – !nàm-tê «сосуд»; †â⁰ – †âm-tê (< *†â⁰m-tê) «кость»; ?|nù⁰ – ?|nùm-tê (< *?|nù⁰m-tê) «спор»; †qhâ⁰ – †qhâm-tê «отравленная стрела»; ?!nù⁰ – ?!nùm-sá⁰ «часть корня (у дерева)»;

мн.ч. на -n: |nàha – |nàhn-sà «привычка»; |?à⁰ – |?àn-tê (< *|?àn-tê) «огонь»; g!qhà⁰ – g!qhàn-sâ «игла (дикобраза)»; !ná⁰ – !nán-sá⁰ «дух»; †à⁰ – †ân-sà «язык (речь)»; †ù⁰ – †ùn-sâ «место».

Основы типа CVCV образуют мн.ч. путем апокопирования конечного гласного (с сопутствующим морфонологическим чередованием -l- > -n, -b- > -m, -ń- > -n), ср.:

!àhla – !àhn-kà-tê «вид дерева»; †qhàla – †qhàn-tê «нога (неотчужд.)»; !gāba – !gām-tê «фасция»; !nōh?ná – !nōh?n-tê «почка»; //ú?ná – //ú?n-tê «легкое».

Исключения. А) В одном случае форма мн.ч. согласуется по 4-му классу: g//qhàa – g//qhàm-tê «стрела с костяным наконечником».

Б) Слово tхóпа «внутренности, наполненные неперсваренной зеленью» образует нерегулярное мн.ч. tхúа⁰-tê (вместо ожидаемого *tхón). По всей видимости, -na является здесь отделяемым суффиксом, сочетающимся с корнем tхó⁰-; случай, однако, уникален, как в силу невстречаемости суффикса -na в других основах, так и в силу странного вокалического чередования -o-/-u-.

Всего насчитывается 16 полностью регулярных случаев при двух исключениях.

3.4.2. Ауслаут на -e

Общее правило такое же, как и в предыдущем случае, т.е. основы типа CV-e > мн.ч. CV-m или CV-n без видимого распределения. Ср.:

мн.ч. на -m: †qháe – †qhám «Terminalia sericea»; !ùe – !ùm-tê «ягодица (неотчужд.)»; †áe⁰ (= †â⁰-e) – †ám-tê (< *†â⁰m-tê) «челюсть»; †úe – †úm-sâ «рот»; мн.ч. на -n: //gāhe – //gāhn-sa «подгрудок».

Исключения. А) В одном случае мн.ч. согласуется по 3-му классу: //nāh?e – ?//nāh?m-tê «возвышение, платформа».

Б) Слово †gèhe⁰ «львиный коготь» имеет мн.ч. †gèhña. Эта парадигма практически идентична разбиравшейся в 3.3.2 парадигме !nū⁰ – !nūña, и здесь также на основании формы мн.ч. следует выделять корень †gèhñ-. Проблема лишь в том, что исходная форма ед.ч. в этом случае должна была бы иметь вид *†gèhñ-e или даже †gèhñ-e (см. 3.5.2). Учитывая, что форму !nū⁰ мы возводили к *!nūñ-u, вероятно, что и здесь форму †gèhe⁰ следует выводить из *†gèhñ-u с тем же самым морфонологическим чередованием. Таким образом, реально слово †gèhe⁰ следует исключать из данной группы и рассматривать вместе с ауслаутом на -u (3.4.4).

В) Слово tshôe «внутри, внутренняя часть» имеет мн.ч. tshôa⁰-tê; нерегулярными являются назализация и замещение -e на -a. Возможно, что это остаток какой-то сверхархаичной модели (еще два подобных случая имеют место в 3-м классе, см. 3.5.2).

Г) Слово !áe⁰ «имущество, собственность» имеет мн.ч. !áma-tê. Исчезновение назализации перед носовым -m в мн.ч. полностью предсказуемо, однако необъяснимым остается появление в этой форме гласного -a-. Очевидно, речь идет либо об ошибоч-

ной записи (вместо *!âm-tê), либо о супплетивной парадигме, в которой мн.ч. образуется от несуществующей основы ед.ч. *!âm.

Всего насчитывается 5 регулярных случаев при 4-х исключениях (3-х, если не учитывать ꜜgèhe⁰).

3.4.3. Ауслат на -i

Большинство основ на -i, относящихся ко 2-му классу, образуют мн.ч. по правилам, описанным в 3.3.1. Напомним, что суффикс -i типично характеризует именно 1-й класс, и все случаи его встречаемости во 2-м или 3-м классе с исторической точки зрения вторичны; по крайней мере для части из них такой переход можно мотивировать тем, что слово, изначально «нейтральное» по отношению к критерию отчуждаемости/неотчуждаемости, в какой-то момент приобрело грамматическое значение неотчуждаемости, не изменив при этом свое формальное устройство.

Ср. следующие регулярные случаи: !kxʔái – !kxʔába-tê «корень»; //gái – //gába-tê «самка»; //qái – //qába-tê «ноздря»; //nái – //nába-tê «матка (неотчужд.)»; ꜜgái – ꜜgába-tê «кожа на шее животного (неотчужд.)»; ꜜháí – ꜜhába-tê «зад (неотчужд.)»; !ʔúí⁰ – !ʔúa⁰-tê, !ʔúa⁰-ní «глаз (неотчужд.)».

Исключения. А) Слово ꜜúʔí «жир в области поясницы» имеет мн.ч. ꜜúʔla-tê. Подобное соотношение не наблюдается больше нигде и должно считаться супплетивным (форма ꜜúʔla-tê может быть образована только от *ꜜúʔla).

Б) Слово !ái⁰ «негорящий конец палки» имеет мн.ч. !âma-tê (ср. выше !âe⁰ «имущество» – мн.ч. !âma-tê); еще одна абсолютно нерегулярная парадигма (осложненная тем, что это к тому же единственный случай назализованного сочетания ai⁰ в форме ед.ч.).

В) Слово ʘGāí «вид кусачей мухи» имеет мн.ч. ʘGān-tê. Это единственный раз, когда основа на -i образует мн.ч. по общему правилу 2-го, а не 1-го класса, с заменой конечного гласного на сонорный -n. Такая уникальность заставляет предположить, что форма ед.ч. ʘGāí здесь вторична (возможно даже, что она ошибочно записана вместо правильного варианта *ʘGāe).

Г) Слова ꜜxúbi «лучевая кость (неотчужд.)», ꜜnámi «отросток поясничного позвонка» имеют формы мн.ч. соответственно ꜜxúba-tê, ꜜnáma-tê вместо ожидаемых *ꜜxúbu-tê, *ꜜnámu-tê. Отметим, впрочем, что модель «ед.ч. CVm-i – мн.ч. CVm-u» является скорее гипотетической, предполагаемой по аналогии с реально зафиксированными моделями «ед.ч. CVb-i – мн.ч. CVb-u», «ед.ч. CVl-i – мн.ч. CVl-u». На самом деле все имена типа CVmi образуют мн.ч. аддитивным способом (ср. |qómi «комар» – |qómi-tê, //nùʔmi «хряц» – //nùʔmi-tê и т.п.). Поэтому не исключено, что первоначально приводимые здесь парадигмы имели следующий вид: ед.ч. ꜜxúbi – мн.ч. ꜜxúbu-tê, ед.ч. ꜜnám – мн.ч. ꜜnáma-tê. Впоследствии из-за тесных семантических связей они перестроились по единой – вторичной – модели CVCi (ед.ч.) – CVCa (мн.ч.).

Всего насчитывается 7 регулярных случаев при 5 крайне разнородных исключениях.

3.4.4. Ауслат на -u

Сюда относится лишь несколько имен – в основном соматические термины со значением неотчуждаемости. Обычная модель образования мн.ч. та же, что и у соответствующих имен 1-го класса (см. 3.3.2).

Ср.: |àu⁰ – |à⁰ (= |à⁰-a) «хвост (неотчужд.)», также «имя (неотчужд.)» (по-видимому, омонимы); ꜜkxʔàu⁰ – ꜜkxʔà⁰ «шея (неотчужд.)»; //xáu⁰ – //xá⁰-tê «часть спины между лопатками».

Исключения. А) Слово g//xú⁰ «колесо» имеет мн.ч. g//xúla-tê (супплетивизм, отчасти схожий с парадигмой ꜜúʔí – ꜜúʔla-tê, см. 3.4.3).

Б) Слово ꜜnú⁰ «нога (неотчужд.)» образует мн.ч. ꜜnúma-tê, как будто бы от несуществующей формы ед.ч. *ꜜnúm.

3.4.5. Ауслат на -o

Выше было показано, что почти все случаи ауслата на -o в 1-м классе с точки зрения морфонологии можно трактовать как дистрибуционные варианты ауслата на -u (т.е. -o- корня + -u суффикса стягиваются в -o). Это делается прежде всего в целях экономии, т.к. в противном случае нам пришлось бы выделять в !хонг особый суффикс -o, представленный лишь в очень небольшом количестве имен. В целом то же самое можно проделать и с основами на -o 2-го класса, где этот тип ауслата имеют только четыре имени.

а) Ꞥnō – Ꞥnōn-tê «ритуальная смесь». Здесь налицо та же модель, что и при конечном -a (3.4.1); в связи с этим морфонологически форму Ꞥnō можно анализировать как стяжение из *Ꞥnō-a (дифтонг -oa- в !хонг практически отсутствует).

б) !xó⁰ – !xóhá-tê «человек !хонг». Та же модель, что и в !nū⁰ – !nūhá (3.3.2), Ꞥgèhe⁰ – Ꞥgèhá (3.4.2); инлаутный -n- в форме мн.ч. считается корневым, исходная форма ед.ч. восстанавливается как *!хон-и.

в) ꞤGōlo – ꞤGōn-sâ «вид ящерицы». Структура типа CVCV с регулярной апокопой конечного гласного. Любопытно, что все имена, имеющие во втором слоге -lu, образуют мн.ч. исключительно аддитивным способом (напр., //Gólu – //Gólu-te «вид алоэ» и др.); помимо этого, они также статистически гораздо более редки, чем имена на -lo (восемь имен на -lu при более чем 20 именах на -lo). Можно предположить, что все пары типа //Gólu – //Gólu-tê исторически представляют собой результат аналогического выравнивания из *//Góli – //Gólu-tê (см. описание модели в 3.3.1); в таком случае гласный -o в последовательности -lo опять-таки оказывается вариантом суффиксального -и в корнях типа CVCV.

г) !āo⁰ – !ā⁰-tê «большой мешок». Здесь нужно постулировать либо апокопу гласного -o, либо замену -o на -a; учитывая, что апокопа характерна скорее для структур типа CVCV, мы склоняемся в пользу второго варианта. Случай, тем не менее, достаточно уникален, и вряд ли на его основании имеет смысл специально постулировать отдельный суффикс -o.

3.4.6. Ауслат на носовые сонорные

Эти основы в целом ведут себя так же, как и в 1-м классе, т.е. общее правило образования мн.ч. – CVm, CVn > CVm-a, CVn-a.

Ср.: ?|núm – ?|núma-tê «горло (неотчужд.)»; !nâm – !nâma-tê «кровь»; //ám – //áma-tê «младенец, отнятый от груди»; dzúm – dzúma-tê «верхняя губа»; ?|nàn – ?|nâna «язык» (редкий случай чисто кумулятивного образования); //ôhn- //ôhna-tê «позвоночник (неотчужд.)»; Ꞥnûn – Ꞥnûna-tê «пупок» и т.п.

Исключения. А) По 4-му классу согласуется форма мн.ч. от слова //gà?m – //gà?ma-tê «ноготь».

Б) Как и в 1-м классе, ряд имен трактует конечный сонорный как отделимый суффикс, образуя мн.ч. по модели CVm, CVn > CV⁽⁰⁾-a (назализация, как обычно, интерпретируется нами как часть корня, в ед.ч. нейтрализуемая перед носовым согласным). Ср.: //nâm – //nâa «печень (неотчужд.)»; tám – ta⁰ «сам»; |qhân – |qhâ⁰ «нижняя часть ноги (неотчужд.)»; |nân – |nâ⁰ «голова (неотчужд.)»; |nân – |nâ⁰ «язык». На достаточную архаичность таких случаев косвенно указывает тот факт, что ни в одном из них не представлена смешанная модель мн.ч., т.е. отсутствуют формы типа *//nâa-tê, *|nâ⁰-tê, а также дублетные формы типа ?|nân – ?|nâ⁰ и ?|nâna (второй вариант образован по более продуктивной модели и поэтому, скорее всего, вторичен).

3.4.7. Выводы

Во 2-м классе можно достаточно четко выделить три типа основ:

а) основы с «родным» ауслатом – на гласные -a и -e. Такие основы практически не встречаются в 1-м классе, а основной способ образования от них форм мн.ч. – с замес-

ной конечных гласных на *-m* и *-n* – 1-му классу неизвестен в принципе (за исключением разве что нерегулярной пары |gôo – |gûn-sâ);

б) основы с «чужеродным» ауслатом – на гласные *-i*, *-u*, *(-o)*. Эти основы, наоборот, характерны преимущественно для 1-го класса, и в подавляющем большинстве случаев образуют формы мн.ч. по тем же способам, что и в 1-м классе. Можно предположить, что переход их во 2-й класс когда-то был семантически мотивированным, учитывая, что многие из них обозначают неотчуждаемые части тела;

в) основы с «классно-нейтральным» ауслатом на сонорные *-m*, *-n*, также мало чем отличающиеся по своим парадигматическим характеристикам от соответствующих основ 1-го класса, но, в отличие от «чужеродных» основ, достаточно равномерно распределенные по обоим классам.

3.5. Кумулятивные и смешанные способы образования мн.ч. от имен 3-го класса

С точки зрения устройства парадигмы 3-й класс безусловно ближе ко 2-му, чем к 1-му. Основные различия между 2-м и 3-м классом лежат в области семантики (к 3-му классу относится скорее «отчуждаемая» лексика) и статистики (к 3-му классу относится в целом гораздо больше имен, чем ко 2-му; особенно бросаются в глаза количественные различия между инвентарем основ с конечным *-e*).

Отметим, что регулярной – по крайней мере, статистически наиболее частотной – моделью для имен 3-го класса является образование мн.ч. по 2-му классу. Довольно значительное количество имен 3-го класса, впрочем, не меняет класс при переходе в мн.ч. Думается, что с исторической точки зрения такая ситуация вторична (и легко объясняется аналогичным выравниванием парадигмы); однако единственная закономерность, которую удастся установить – это то, что имена, для которых категория отчуждаемости является словоизменительной, в «отчуждаемом» статусе всегда образуют мн.ч. по 3-му классу. О нестабильности данного соотношения может свидетельствовать хотя бы тот факт, что два диалектных варианта явно одного и того же слова (//qâba, //âba «Tribulus terrestris») отмечены в словаре Трэйлла как образующие мн.ч. соответственно по 2-му (//qâm-kâ-te) и 3-му (//âm-kâ-tê) классам. Для удобства все формы мн.ч. ниже будут приводиться с обязательным указанием класса.

3.5.1. Ауслат на *-a*

Как и в случае 2-го класса, мн.ч. здесь регулярно образуется путем замсны конечного *-a* на носовые сонорные *-m*, *-n*, с неясным распределением. Основы CVCa образуют мн.ч. путем апокопы конечного гласного и регулярных морфонологических чередований. Ср.:

мн.ч. на *-m*: //âa – //âm (2) «татуировка»; |gûa – |gûm-tê (2) «подстилка»; †núa – †núm-sá⁰ (2) «дубина»; |gûa – |gûm-tê (3) «несчастье»;

мн.ч. на *-n*: //qhàa – //qhàn (2) «палка-копалка» (кумуляция!); ?núa⁰ – ?nún-sâ «совокупление»; !qhá⁰ (= !qhá⁰-a) – !qhán-sá⁰ (2) (< *!qhá⁰-n-) «щедрость»; sòo |?ua – sòo |?ùn-sâ (3) «знахарь»;

мн.ч. от основ на *-la*: †xâla – †xân-tê (2) «выжженная степь»; ?núla – ?nún-sá⁰ (2) «вид растения»; †qhâla – †qhân-tê (3) «нога (отчужд.)»;

мн.ч. от основ на *-ba*: //âba – //âm-ká-tê (2) «черная малая дрофа»; †Gâba – †Gâm-tê (3) «стенка желудка».

Исключения. А) В двух случаях в словаре зафиксировано редчайшее образование форм мн.ч. по 1-му классу: !úla – !úp «вид дерева; колчан»; g!kx?âla – g!kx?âp «кожаный ремень».

Б) Слово //qhâa «вид акации» образует уникальное мн.ч. //qhá⁰ (2); при условии правильной записи это не может быть ничем, кроме супплетивизма (напр., от основы ед.ч. *qhán).

К этой группе относится основной массив слов 3-го класса; неслучайно суффикс -e был отмечен Трэйллом как характеризующий именно этот класс (несмотря на то, что он нередко встречается и у имен 2-го класса). Общие правила образования мн.ч. здесь такие же, как и у основ на -a; отметим, однако, что для основ на -e гораздо более характерно правило -e > -m, нежели -e > -n. Примеры:

а) структуры типа CVe с мн.ч. на -m: |qáe – |qám (2) «человек нама»; //núe – //núm (2) «черепашка»; |núe – |núm-tê (2) «ночь»; ?//nāhe – ?//nāhm-sá (2) «негодный человек»; †qhùe – †qhùm-tê (3) «ветер» и т.п.;

б) структуры типа CVe с мн.ч. на -n: ?†nāhe – ?†nāhn-tê (2) «кожаный мешок»; //āe⁰ – //ān-sā (3) «рог»;

в) структуры типа CVle с мн.ч. на -n < *-l: |núle – |núp (2) «камень»; gúle – gúp (2) «кора»; !núle – !núp-sá⁰ (2) «страна»; //qúle – //qúp-sā (2) «ноготь, копыто» и т.п.;

г) структуры типа CVhe с мн.ч. на -m < *-b: !kxʔábe – !kxʔám-sá⁰ (2) «вид дерева»; !nóbe – !nóm-sá⁰ «вид лягушки» (2); //nàhbe – //nàhm-kâ-tê (3) «желтый мангуст» и т.п.

В несколько особом положении оказываются двусложные основы на -je. Здесь можно выделить три основные модели:

CVje > CV-m, ср. |kxʔáje – |kxʔám (2) «муравьед»; †núje – †núm (2) «мышь»; qúje – qúm (2) «страус»; |qhùje – |qhùm-tê «пчела, мед» (2);

CVje > CV-n, ср. g!xâʔje – g!xâʔn-sá (2) «вымя»;

CVje > CV⁰, ср. ?Ōnàje – ?Ōnà⁰ (2) «дерево»; возможно, также Ōàje «мясо» – Ōà⁰ «стадо антилоп, мясо (собр.)».

Первые две группы примеров устроены так же, как и |qáe – |qám, etc., т.е. заменяют конечный гласный на носовой сонант. Можно было бы в связи с этим рассматривать согласный -j- как просто вставной элемент, разделяющий две гласные; однако такая интерпретация противоречила бы регулярным случаям типа |núe – |núm-tê, где никакого вставного гласного нет. Необходимо поэтому считать -j- такой же частью корня, как и интервокальные -l-, -h- в основах типа CVCV; в отличие от этих согласных, однако, с точки зрения образования мн.ч. формы на -je должны скорее объединяться с формами 3-го класса на -a и -e с предшествующим гласным.

Иначе устроены два последних случая, где -je заменяется на назализацию гласного. Для того, чтобы понять их принципиальное отличие, нужно учесть, что в !хонг категорически запрещено сочетание -ñe-; если предположить, что ?Ōnàje < *?Ōnàñ-e, Ōàje < *Ōañ-e³, то при условии выполнения общего правила «апокопа конечного гласного в формах мн.ч. от основ CVCV» формы мн.ч. от этих существительных должны были бы выглядеть как *?Ōnàñ, *?Ōañ. Однако в ауслаутной позиции палатальный -ñ также запрещен, и ничто не препятствует нам предположить, что при условии попадания его в эту позицию он закономерно должен развиваться в назализацию предшествующего гласного. Таким образом, несмотря на то, что аллофон -ñ- не зафиксирован в этих словах ни в ед.ч., ни в мн.ч., с его помощью удастся ввести приводимые здесь формы в рамки общей системы.

Исключения. А) Слово Ōnàe «вид дикого съедобного огурца» образует мн.ч. Ōnùm (2) вместо *Ōnám. Такая модель образования мн.ч. не представлена больше нигде; не подлежит сомнению, что речь здесь идет об элементарной ассимиляции *Ōnám > Ōnùm под воздействием двух окружающих губных согласных (лабиального кликса и конечного губного сонанта -m).

Б) Слова dzūhe «дыра», gúe «кокон» образуют мн.ч. dzūha⁰ (2), gúa⁰ (2). Ср. tshôe – tshôa⁰-tê (3.4.2). Очевидный параллелизм между этими тремя случаями заставляет го-

³ О наличии в !хонг морфонологического чередования -ñ- ~ -j- убедительно свидетельствуют формы, образованные от глагольных корней с соответствующей морфемой: ср., напр., от глагола !aJV «нести на плече»: !aj-i (1-й класс), !aj-e (3-й класс), !aj-u (4-й класс), но !añ-a (2-й класс).

ворить о регулярности модели, однако предложить для нее убедительную интерпретацию пока не удается.

В) Слово |hābe «лук (оружие)» образует мн.ч. |hàn (2) вместо ожидаемого *|hàm. Абсолютно уникальный случай супплетивизма; форма |hàn скорее должна была бы отражать исходное ед.ч. *|hàle. Отметим также довольно редкое для !хонг несоответствие тональных характеристик форм ед. и мн.ч.

Г) Слово //nāe «дом» образует мн.ч. //nāa (3); супплетивизм опять-таки просматривается в том числе и в несоответствии тональных параметров.

Всего, таким образом, налицо четыре полностью нерегулярных случая при 39 регулярных.

3.5.3. Ауслат на -i

Сюда относятся всего четыре слова, причем три из них являются парными к соответствующим «неотчуждаемым» формам 2-го класса (см. 3.4.3):

//nāi – //nāba-tê (3) «матка (отчужд.)»; †gāi – †gāba-tê (3) «кожа на шее животного (отчужд.)»; †hāi – †hāba-tê (3) «зад (отчужд.)»; а также //āhi – //āhba-tê (4) «взрослый самец антилопы дукер».

Нетрудно заметить, что во всех этих случаях формы мн.ч. образуются по правилам 1-го – 4-го классов. Вторичность принадлежности слова //āhi к 3-му классу доказывается также тем, что се мн.ч. согласуется по 4-му классу, что совершенно несвойственно «исконным» именам 3-го класса.

3.5.4. Ауслат на -u

Этот тип ауслата в 3-м классе также имеют всего несколько существительных, однако характеристики их достаточно разнородны. Ср. следующие подтипы:

а) |qhū – |qhūm-tê (2) «тарантул»; //gūhu – //gūhm-tê (4) «хамелеон». Здесь налицо замена конечного -u на -m (теоретически, по-видимому, возможны и формы мн.ч. на -n, однако реально ни одной не засвидетельствовано);

б) |āu⁰ – |ā⁰ (3) «имя (отчужд.)», «хвост (отчужд.)»; †kx?āu⁰ – †kx?ā⁰ (3) «шея (отчужд.)». Это – парные формы к соответствующим неотчуждаемым формам 2-го класса, см. 3.4.4;

в) //qhū⁰ – //qhū⁰na (2) «жираф». Случай полностью аналогичен описанным выше в 3.3.2, 3.4.2, 3.4.5 (при условии выделения корня //qhū⁰).

3.5.5. Ауслат на -o

Сюда относятся также лишь четыре слова, при этом два из них в ед.ч. расширены за счет деривационного суффикса -sè:

Ogò – Ogòm-kà-tê (2) «дулистое дерево»; !ào-sè – !àm-kà-tê (2) «вид шакала»; |nūlo – |nūp-sà (2) «вид клубня»; !gālo-sè – !gān-kà-tê (2) «медосед».

Для трех из них опять-таки можно предположить вторичность -o (Ogò < *Ogòu; формы на -lo < -lu); на особом положении остается лишь форма !ào-sè, где, впрочем, дополнительные трудности связаны с наличием в ед.ч. дериватемы -sè и с отсутствием ее в форме мн.ч. (супплетивизм?).

3.5.6. Ауслат на носовые сонорные

Здесь, как и в двух других классах, представлены «полная» модель CVm, CVn > CVm-a, CVn-a и «усеченная» модель CVm, CVn > CV⁽⁰⁾; относительно интерпретации см. 3.4.6, ниже мы приводим только сам материал.

«Полная» модель: ?|nūm – ?|nūma-tê (3) «горло (отчужд.)»; g!kx?um – g!kx?uma-tê (3) «жила»; //?ān – //?āna-tê (2) «солнце»; //ōhn – //ōhna-tê (3) «позвоночник (отчужд.)»; //kx?ān – //kx?āna (2) «желудок»; †?ān – †?āna (2) «penis».

«Усеченная» модель: //nām – //nā⁰ (3) «печень (отчужд.)»; |qhān – |qhā⁰ (3) «нижняя часть ноги (отчужд.)»; |nān – |nā⁰ (3) «голова (отчужд.)».

Исключения. А) Слово !gūm – !gūma-tê «челюстная мышца» в мн.ч. согласуется по 4-му классу.

Б) Слово //âp «Raphionaste burkeii» образует мн.ч. //âpa (2) вместо ожидаемого *//âpa- (уникальный случай).

В) Слово #qhûn «Boscia albitrunca» образует мн.ч. #qhûm-tê (4); случай также уникален.

3.5.7. Выводы

Для 3-го класса, точно так же как и для второго, можно выделить «родные» суффиксы (-a, -e), «чужеродные» (-i, -u) и «классно-нейтральный» ауслат на -m, -n. Несколько запутанной выглядит ситуация с ауслатом на -u (и -o), т.к. небольшая часть имен с этим ауслатом ведет себя так, как будто бы он был для этого класса «родным» (случаи типа |qhûu – |qhûm-tê и т.п.). Возможно, следует на самом деле выделять два суффикса -u: -u₁ для 1-го класса, в мн.ч. заменяемый на алломорфы показателя -wa, и -u₃ для 3-го класса, в мн.ч. заменяемый на морфемы -m или -n. К сожалению, в нашем распоряжении слишком мало материала, чтобы окончательно убедиться в правомерности такого разделения.

4. ПРОБЛЕМА ТОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Прежде чем переходить к окончательным выводам, необходимо хотя бы вкратце остановиться на еще одной грамматической особенности именных парадигм !хонг, а именно проблеме так называемых тональных классов.

Э. Трэйлл определяет тональные классы как классифицирующую категорию для именных основ !хонг, значение которой определяется исходя из общего тонального рисунка той части фразы, которая следует непосредственно за соответствующей основой и согласуется с ней по именному классу. Он выделяет два тональных класса – первый (I), задающий ровную интонацию, и второй (II), задающий восходяще-нисходящую интонацию. Ср. следующие примеры [Traill 1994: 24]:

тональный класс I:

kxʔâje	têʔē	!xâe
муравьед	этот	большой

тональный класс II:

//kxʔúí	tíʔì	!xâe
клещ	этот	большой

Подчеркнем, что тональный класс существительного не имеет непосредственного отношения к собственно тону этого существительного, т.е. просодеме, определенной на существительном вне зависимости от контекста. Так, в приведенных выше примерах слово |kxʔâje имеет средний нисходящий тон, а слово //kxʔúí – высокий восходящий. Однако, например, слово ʔpâta «ляжка», также со средним нисходящим тоном, в словаре Трэйлла отмечено как принадлежащее к тональному классу II; а слово |qâc «человек на-ма», с высоким восходящим тоном, наоборот, относится к тональному классу I.

По-видимому, закономерности, которая определяла бы соотношение тональных характеристик существительных с характеристиками согласующихся с ними зависимых слов, действительно не существует. Однако можно выделить некоторые регулярные соотношения между тональными классами и согласовательными классами, не упомянутые в кратком грамматическом очерке Трэйлла. Эти соотношения таковы:

1) Подавляющее большинство имен как 1-го класса (ед.ч.), так и 4-го класса (мн.ч.) относится к тональному классу II (шесть примеров на класс I при более чем 200 на класс II).

2) Слова 2-го класса как в ед., так и в мн.ч. гораздо чаще относятся к тональному классу II, чем к тональному классу I. При этом к тональному классу I регулярно относятся слова 2-го класса, представляющие собой формы мн.ч. от слов 3-го класса; а к тональному классу II относится абсолютное большинство слов 2-го класса, образуя-

щих мн.ч. кумулятивным или смешанным способом, т.е. наиболее архаичные в морфологическом отношении лексемы.

3) Напротив, 3-й класс обнаруживает достаточно тесную связь с тональным классом I. При этом статистика все равно показывает, что больше половины имен 3-го класса (220 случаев) относятся к тональному классу II. Однако при более чем 150 случаях тонального класса I он все же оказывается полнее всего представленным именно в 3-м согласовательном классе. В частности, тональный класс I свойственен почти всем существительным с ауслаутом на *-e*, образующим мн.ч. по кумулятивной или смешанной модели (наиболее «чистый» случай 3-го класса).

Отметим также, что там, где категория отчуждаемости является для лексемы словоизменительной, «отчуждаемая» форма 3-го согласовательного класса неизменно относится к тональному классу I, а «неотчуждаемая» форма 2-го согласовательного класса – к тональному классу II.

При детальном анализе материала, проведенном выше, мы намеренно отказались от того, чтобы сопровождать его столь же детальным разбором тональных характеристик. Это связано с тем, что, несмотря на описанные выше статистические закономерности, полной регулярности при выборе той или иной тонально-классной характеристики все же не наблюдается, и введение тонального класса как дополнительного параметра для классификации способов образования множественного числа лишь усложнило бы и без того запутанную систему. К тому же кажется маловероятным, чтобы тональный фактор мог как-то помочь правильной интерпретации сложных вопросов, обсуждавшихся выше. Так, слово $\neq\text{q}\text{u}\text{e}$ «кобра», принадлежащее к I-му классу несмотря на суффикс *-e*, также относится и к тональному классу I (в противном случае можно было бы утверждать, что соотнесение его с тональным классом II является следом его былой принадлежности к 3-му согласовательному классу) и т.п.

Тем не менее, не исключено, что более тщательный анализ тональных характеристик именной лексики !хонг все же способен прояснить отдельные неясности в сегментной структуре некоторых словоформ; представляется, однако, что здесь большую роль способен сыграть скорее детальный учет тонов, определенных на самих словоформах, чем тонального рисунка, заданного на зависимых словах.

Подробнее о системе тонов и взаимодействии тональных характеристик соседних морфем в !хонг см. [Traill 1977].

5. ИТОГОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Суммируем выведенные нами способы образования мн.ч. в виде следующей таблицы⁴:

Тип ауслаута	«Родной» класс	«Чужеродные» классы	Мн. ч.	Класс мн. ч.
#i	1	2, 3	#wa (>-ba, -a, -u)	4
#u ₁ (вар. #o)	1		#wa (>-a)	4
[V]#a	2, 3		#m ~ #n	2 (3)
[V]#e	2, 3	1	#m ~ #n	2 (3)
R#a, R#e	2, 3		-R#0	2 (3)
#u ₃	3, (2?)		#m (~#n?)	2
-m#0, -n#0	1, 2, 3		-m#a, -n#a	4, 2

⁴ Пояснения к таблице: # – граница между морфемами; _{1,3} – индекс класса; R – общее обозначение для сонорных согласных; > – обозначение перехода от морфологического к фонологическому уровню.

К этому относительно небольшому набору правил сводится почти все разнообразие форм множественного числа !хонг (имеются в виду, разумеется, кумулятивный и смешанный типы). «Идеальную» систему можно, таким образом, представить в следующем виде:

А) Лексика, классифицируемая по признаку «отчуждаемость». Согласовательные классы – в ед.ч. 2-й для «неотчуждаемых» имен, 3-й для «отчуждаемых»; в мн.ч. 2-й класс и для тех, и для других. Формальные признаки в ед.ч. – классные суффиксы *-a*, *-e*, *-u₃*. Формальные признаки в мн.ч. – замена *-a*, *-e*, *-u₃* на *-m*, *-n* (в односложных основах) или на нуль (в двусложных).

Б) Лексика, не классифицируемая по признаку «отчуждаемость». Согласовательные классы – в ед.ч. 1-й, в мн.ч. 4-й. Формальные признаки в ед.ч. – классные суффиксы *-i*, *-u₁*. Формальные признаки в мн.ч. – замена *-i*, *-u₁* на алломорфы морфемы *-ia*.

В) «Внеклассовая» лексика. Согласовательные классы – любые. Формальные признаки в ед.ч. – исход корня на сонанты *-m* или *-n*. Формальные признаки в мн.ч. – суффикс мн.ч. *-a*, присоединяемый непосредственно к корню.

Отметим, что формальное маркирование 2-м классом (т.е. согласователем *-a⁰*), с одной стороны, «неотчуждаемых» имен в ед. и мн.ч., с другой – «отчуждаемых» имен в мн.ч., скорее всего, случайно, и здесь не следует искать какой-либо глубинной семантической связи. На такую случайность, в частности, указывает принадлежность имен 2-го класса и 3-го класса мн.ч. к разным тональным парадигмам. Не исключено даже, что на ранней стадии развития !хонг соответствующие согласователи сегментно отличались друг от друга, но к моменту письменной фиксации языка совпали.

Приведенный выше материал в целом показывает, что ни для одного из выделяемых классных суффиксов нельзя предложить сколько-нибудь определенного значения. Очевидно, однако, что если в пределах одного и того же класса могут быть представлены два или более основообразующих суффикса (напр., *-i* или *-u*, *-e* или *-a*), то такие значения у них когда-то были, и вполне вероятно, что к разным корням могли присоединяться разные суффиксы. Остатки этой системы, по-видимому, прослеживаются в тех немногочисленных случаях супплетивизма, которые были подробно рассмотрены выше (типа $\neq\acute{u}i - \neq\acute{u}!a-t\acute{e}$ и т.п.), когда форма мн.ч. явно образована не от зафиксированной формы ед.ч., а от какой-то альтернативной основы.

Не вполне ясной остается причина столь неохотной сочетаемости корней на *-m*, *-n* с классными суффиксами; никаких морфонологических или фонотактических препятствий для образования основ типа *CVmi*, *CVna* и т.п. в !хонг не обнаруживается (более того, зафиксировано достаточно большое число таких основ – но все они образуют мн.ч. только простым аддитивным способом, напр. $[n\acute{a}hna - [n\acute{a}hna-t\acute{e}$ «мякоть», $[q\acute{o}mi - [q\acute{o}mi-t\acute{e}$ «комар» и т.п.). Особый статус этого типа основ подчеркивается и наличием для него специального показателя мн.ч. *-a*, не представленного в основах с вокалическим ауслаутом. Возможно, что на каком-то раннем этапе развития конечные *-m* и *-n* все же могли отделяться от корня, а слова с ними составляли отдельный грамматический класс. Косвенно это подтверждается наличием особого «подтипа» с отделяемыми *-m* и *-n* (см. 3.3.4 и далее), возможно, крайне архаичного, а также данными других южнокойсанских языков (ср., например, !хонг $t\acute{u}m - t\acute{u}ma-t\acute{e}$ «кожа», но $[xam\ ttu^0, //ng\ tu^0, twa^0\ id.$ и т.п.). Однако эта тема уже выходит за рамки данной работы.

Удивителен уже отмечавшийся нами факт, что ни в одном южно-койсанском языке за пределами !хонг не зафиксировано ни каких-либо следов системы согласовательных классов, ни категории «отчуждаемости», ни столь значительного числа грамматических морфем – и это несмотря на то, что по данным лексикостатистики распад праюжно-койсанского вряд ли мог иметь место ранее I тысячелетия до н.э. [Starostin 2003].

Впрочем, основной причиной такого контраста вполне могла быть не столько радикальная перестройка грамматического строя, сколько элементарное несовершенство методов описания, использованных при работе с этими языками исследователями XIX – первой половины XX в. Наглядным свидетельством здесь может выступать ра-

бота Л. Майнгарда [Maingard 1958], представляющая собой первый краткий грамматический очерк нескольких говоров !хонг; в ней ни единым словом не упомянуты ни система классов, ни «отчуждаемость», а все многообразие способов образования мн.ч. сводится к единственному упоминанию суффиксов *-te* и *-ke* (по-видимому, диалектного варианта *-te*) как возможных, но не обязательных показателей мн.ч. Пожалуй, единственным намеком на соответствующие грамматические явления можно считать приводимые автором варианты глагольных основ, напр. |ne, |nei, |ni «видеть» (вероятно, = |na-a⁰, |na-i, |na-e и т.п., т.е. сочетание глагольного корня с согласователем), которые Майнгард, однако, рассматривает просто как нерегулярные вокалические колебания. К сожалению, подобное пренебрежение строгой процедурой лингвистического анализа характерно не только для этого очерка, но и для других описаний койсанских языков, в том числе вымерших – о степени сложности и уникальности фонологической и морфологической структур которых нам остается только догадываться на основании косвенных данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Bleek 1911 – *W.H. Bleek, L.C. Lloyd*. Specimens of Bushman folklore. London, 1911.
 Bleek 1937 – *D.F. Bleek*. Grammatical notes and texts in the |Auni language // *Bantu studies* (Johannesburg). 1937. 11.
 Bleek 2000 – *D.F. Bleek*. The // N!ke or Bushmen of Griqualand West // *Khoisan forum*, working paper. 2000. № 15.
 Crawhall 2004 – *N. Crawhall*. !Ui-Taa language shift in Gordonias and Postmasburg Districts, South Africa. PhD thesis submitted to the Faculty of humanities. University of Cape Town. Cape Town, 2004.
 Ladefoged, Traill 1994 – *P. Ladefoged, A. Traill*. Clicks and their accompaniments // *Journal of phonetics*. 1994. 22.
 Maingard 1958 – *L.F. Maingard*. Three Bushman languages: the third Bushman Language // *African studies*. 1958. 17.
 Snyman 1970 – *J.W. Snyman*. An introduction to the !Xū (!Kung) language // *Communications from the School of African studies*. 1970. № 34.
 Starostin 2003 – *G. Starostin*. A lexicostatistical approach towards reconstructing Proto-Khoisan // *Mother Tongue*. 2003. VIII.
 Story 1999 – *R. Story*. K'u|ha:si manuscript (MS collections of the Kijhazi dialect of Bushman, 1937) // *Khoisan forum*. Working paper. 1999. № 13.
 Traill 1977 – *A. Traill*. The tonal structure of !Xō // *Bushman and Hottentot linguistic studies 1975* / Ed. by J.W. Snyman. Pretoria, 1977.
 Traill 1994 – *A. Traill*. A !Xō dictionary. Köln, 1994.
 Vossen 1997 – *R. Vossen*. Die Khoe-Sprachen. Ein Beitrag zur Erforschung der Sprachgeschichte Afrikas. Köln, 1997.

© 2008 г. В.Л. ВАСИЛЬЕВ

**О ПРОБЛЕМЕ ДРЕВНЕБАЛТИЙСКОГО ТОПОНИМИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
НА РУССКОМ СЕВЕРО-ЗАПАДЕ***

В статье освещено состояние изучения гидронимии древнебалтийского происхождения на Русском Северо-Западе, дан обзор археологической ситуации в Ильмень-Волховском бассейне, приведены списки вероятных гидронимических балтизмов региона, распределенных по бассейнам крупных рек, трактуются балтийские названия населенных пунктов, рассматривается феномен метонимического калькирования славянами балтийских названий, дискутируются вопросы о северо-восточной границе балтийского этноязыкового слоя, о количественном соотношении балтизмов и финнизмов в регионе. Балтийская топонимия интерпретируется в связи с общей структурой дославянского лексического субстрата и с учетом новейших археологических выводов.

В освещении проблем этногенеза с неизбежностью возникает необходимость в координированном использовании результатов, полученных археологией и лингвистикой. Язык древних этнических общностей не отражается в материальных культурах, зато в значительной степени «консервируется» в территориальных ономастических названиях. При изучении отдаленных во времени «дописьменных» народов особенно остро встает вопрос о соотношении показаний древних материальных культур, выявленных и изученных археологами, с данными гидронимии (и в меньшей степени топонимии в целом) определенных регионов, приоритет в исследовании которой принадлежит именно лингвистам: специалистам по ономастике, истории языка, диалектологии, этимологии. Что касается лингвистов, занимающихся древнейшими географическими названиями, то они, как правило, охотно используют выводы археологов и нередко даже ставят их как бы на первое место, предваряя обобщенным историко-археологическим очерком собственно топонимические штудии. Некоторые археологи тоже широко привлекают гидронимию для подкрепления и иллюстрации этногенетических заключений. Яркий образец комплексного лингво-археологического подхода при решении вопросов этноистории и этногеографии продемонстрировал, например, В.В. Седов, отметив в одной из своих работ, что «недооценка данных гидронимики делает факты археологии в этом отношении немymi и часто приводит к ошибочному толкованию этих фактов и к искаженным выводам» [Седов 1971: 99]. Тем не менее, в работах, освещающих вопросы этнической атрибуции археологических культур, факты гидронимии учитываются пока явно недостаточно. Связано это в первую очередь с существующим дефицитом лингвистических исследований, посвященных субстратной гидронимии и топонимии определенных регионов. Не последнюю роль играет также известное недоверие к показаниям ономастики, поскольку древнейшие названия зачастую трактуются весьма поверхностно или предвзято, в угоду априорным этноисторическим концепциям. Но в сущности гидронимия, при адекватной ее интерпретации, наиболее диагностичный источник этноязыковой идентификации «дописьменного» населения в том или ином регионе. Гидронимы, в отличие, например, от ойконимов – названий селений и урочищ, более устойчивы: они не столь часто, как ойконимы, переносятся на отдаленные расстояния, реже исчезают, замещаются или изменяют свой облик до неузнаваемости, но обычно лишь отчасти мо-

* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 05-04-04120а).

дифицируют свою структуру, сохраняясь порой в течение нескольких тысячелетий. Будучи территориально устойчивыми единицами, они четко выявляют пространственные координаты конкретной этноязыковой общности.

Обзор этноархеологической ситуации в обширном бассейне оз. Ильмень и р. Волхов (далее – Ильмень-Волховский озерно-речной бассейн, включающий Приильменье и течения крупных рек Ловати, Полы, Шелони, Мсты и Волхова) показывает, что весьма значимые события на этой территории начинаются только со второй половины I тыс. н.э. – после появления здесь славян, с ранней историей которых так или иначе связывают культуру псковско-боровичских длинных курганов, но особенно культуру новгородских сопок [Концевский 1998]. Этот регион впоследствии приобрел большое культурно-историческое значение в качестве центральных провинций средневекового Новгорода (известных обычно как область новгородского пятинного деления, «внутренние земли» Великого Новгорода, Новгородская земля), а также историко-диалектологическое, будучи пространством специфических древненовгородских говоров (древненовгородского диалекта) и одним из главных очагов сложения северного наречия русского языка. Дославянская же история Новгородской земли представляется во многом неопределенной, полной белых пятен. В книге «Основания регионалистики», обобщившей ряд историко-археологических исследований по Русскому Северо-Западу [Основания 1999: 267–278, рис. 29, 30, 31]; см. также [Лебедев 2001: 31–58], территория Ильмень-Волховского бассейна для эпохи неолита (V–III тыс. до н.э.) описывается как периферийная по отношению к различным культурным ареалам, которые на северо-западе тяготели к Прибалтике и Финскому заливу, на севере и северо-востоке – к Приладожью, Прионежью и Белозерью: это как раз те зоны, на которых, по общепризнанному мнению, начался этногенез собственно прибалтийских финнов, выделившихся примерно к концу III тыс. до н.э. из финно-угров. Часть будущей новгородской территории, главным образом в бассейне Мсты, занимает верхневолжская (валдайская) поздненеолитическая культура, этническая атрибуция которой в значительной мере проблематична. В эпоху бронзы (II тыс. до н.э.) распространившаяся по всей Прибалтике культура ладьевидных боевых топоров, связываемая с носителями индоевропейской речи, тоже прошла к западу от Приильменья; однако немного позднее к востоку от Ильменя распространилась фатьяновская культура, соотнесенная с еще одной волной индоевропейского заселения Северо-Запада. Территория Ильмень-Волховского бассейна считается периферийной и по отношению к более южному ареалу близкородственных культур I тыс. до н.э. в Верхнем Поднепровье, Подвинье и Поочье (штрихованной керамики, днепродвинской, юхновской, верхнеокской), приписываемых, как правило, древнебалтийскому населению. В эпоху раннего железного века (I тыс. до н.э. – первая половина I тыс. н.э.) данный регион наряду с сопредельными территориями Северо-Запада захвачен обширным ареалом культур текстильной керамики, участвовавших в этногенезе финно-угров; имеющиеся данные позволяют характеризовать памятники этого времени, в частности, в восточном Приильменье и Помостье, как «нский периферийный вариант, связанный прежде всего с дяковской культурой» [Носов и др. 2002: 14]. В целом и для эпохи раннего железа в Ильмень-Волховском бассейне предполагается пограничье различных культурных ареалов и, следовательно, слабозаселенность либо незаселенность («ничейность») территории. Констатируется даже наличие возникшей еще в неолите широкой полосы незаселенной земли, проходящей по линии Волхов – Ловать, равно как и то, что общность, очерченная во второй половине I тыс. н.э. ареалами псковско-боровичских длинных курганов и новгородских сопок, в основном «заняла обширную территорию, выступавшую как незаселенная “ничейная” земля на начальном этапе освоения человеком этой части Восточной Европы» [Основания 1999: 276].

Безусловно, схематичная картина дославянской лингвоэтноистории этого региона содержала бы меньше белых пятен при более глубоком и широком обращении к местной топонимической архаике, уровень изучения которой совершенно недостаточен. Цели топонимического исследования могут быть разными. Один из комплекса сложных вопросов, который, без сомнения, имеет перспективу решения в первую очередь на пу-

тях изучения гидронимии (шире – топонимии вообще) – это определение степени участия древних балтов в этнической истории Новгородской земли и всего Русского Северо-Запада в целом, выявление древнебалтийского (иначе – древнебалтского) языкового наследия в этом регионе. Сегодня гидронимически уже доказано, что историческая территория распространения балтийских этносов была как минимум раз в шесть больше современной площади Литвы и Латвии и охватывала часть бассейнов Днепра, Оки, Волги, Дона, позднее заселенных восточными славянами. Вместе с тем до сих пор превалирует распространенное мнение, что севернее верховьев Западной Двины и Днепра (к северу от ареала балтийских культур штрихованной керамики и смоленских городищ) древнебалтийские следы не только в археологических памятниках, но и в гидронимии новгородско-псковских земель если и не исключены вовсе, то по крайней мере минимальны и в некотором роде случайны. Начиная с М. Фасмера подобный взгляд разделяли даже исследователи, часто обращавшиеся к анализу субстратной гидронимии в лесной зоне Восточной Европы. В 1962 г. В.Н. Топоров писал: «Что же касается северной границы балтийской топонимии, то, по сути дела, ее определение не составляет проблему, поскольку очевидно, что балтийские племена никогда не находились севернее тех мест, где они живут теперь» [Топоров 1962: 43]. Считалось, что эта граница проходит на юге Псковской, по большей части Тверской области, но в целом к югу от средневековой Новгородской земли. В 1980 г. Г.А. Хабургаев, обобщив топонимические исследования К. Буги, М. Фасмера, В.Н. Топорова, О.Н. Трубачева, В.В. Седова, очертил линию распространения гидронимических балтизмов с запада на восток по верховьям рек Великой (г. Пустошка Псковской обл.), Ловати (г. Великие Луки), далее по правобережью Западной Двины, оттуда южнее озера Селигер по левобережью верхней Волги, затем к юго-востоку в сторону рек Москвы и Клязьмы [Хабургаев 1980: 40, карта 1]¹. Примерно в этих же координатах интересующий нас северо-восточный фланг балтийской гидронимии показан на схеме, которая дана в монографии итальянского балтиста П. Дини, изданной в 2002 г. и представляющей по сути обширное введение в балтистику [Дини 2002: 44]. Схема П. Дини составлена на основе гидронимических штудий В.Н. Топорова, О.Н. Трубачева, Г.П. Смолицкой, А. Ванагаса и, по словам автора, очерчивает ареал «максимального распространения балтийской гидронимии» в границах, хронологически охватывающих первые века н.э. [Дини 2002: 43]. Данная схема воспроизведена в недавнем основательном труде А.Е. Аникина, посвященном этимологическому разбору корпуса апеллятивных балтизмов в лексике русского языка [Аникин 2005: 12].

Однако на сегодняшний день северо-восточная граница максимального балтийского гидронимического слоя в том виде, в каком она отмечена в работах указанных авторов, должна быть подвергнута решительному пересмотру, поскольку она проведена без учета исследований по новгородской гидронимии, появившихся в два последних десятилетия². Среди них важное место занимают работы Р.А. Агеевой 1980-х гг. [Агеева 1980а; 1980б; 1981; 1985; 1989], с именем которой связано открытие довольно многочисленного слоя гидронимических балтизмов в регионе Новгородской земли. По ее предварительным подсчетам, на территории Шелонской и Деревской пятин и на исторической

¹ В частности, в западной части Московской области с примыкающими к Подмосковию районами Тверской, Смоленской и Калужской областей (от верховий Волги и Угры на западе до междуречья Волги и Оки примерно на долготе г. Москвы на востоке) было насчитано от 300 до 400 гидронимических балтизмов [Топоров 1982: 6].

² В данной статье нас интересует только северо-восточная часть исторического ареала балтийской территории в Восточной Европе. Но в настоящее время дискутируется вопрос и о распространении балтов далеко на восток от Москвы (см. работы Ю.В. Откупщикова о вероятных гидронимических балтизмах в нижнем Поочье и Мордовии [Откупщиков 2001: 365–336; 2004; 2005: 17–19], см. также карту, приведенную в кн. [Агеева 1985: 101; Хенгет 2001: 100]). Не решен вопрос также о западной границе балтийских земель. Последнюю обычно проводят по Висле, однако некоторые исследователи находят гидронимические балтизмы и к западу от Вислы: в Мекленбурге, на Одере и вплоть до Эльбы: см. [Schmid 1987; Schall 1965; 1970; Орел 1997].

Псковской земле балтийские названия составляют не менее 5% и не уступают во всяком случае по количеству финно-угорским названиям. Балтизм много к югу от Ильменя, к северу от Ильменя их количество резко сокращается, но некоторые из них заходят в Ленинградскую область настолько, что возможно помещение северной границы балтийской гидронимии на южном побережье Финского залива. Впрочем, Р.А. Агеева затрудняется уточнить этиологию древнебалтийского гидронимического субстрата на Новгородской земле: оставило ли его местное балтийское население, жившее здесь до прихода славян, либо же эта гидронимия была перенесена на Северо-Запад предками словен и кривичей при пересечении земель балтов [Агеева 1989: 186–187, 201]. Эти изыскания были дополнены в поздних работах В.Н. Топорова, пересмотревшего свое прежние мнение о нераспространении балтийского элемента севернее верховьев Ловати и Волги. В статье 1999 г. автор пишет: «Но еще интереснее, что гидронимические балтизмы присутствуют на всей территории Новгородской области, буквально во всех ее частях... В этой полосе по предварительным данным находится до полусотни таких балтизмов» [Топоров 1999: 280]. Отдельные балтизмы, по мнению исследователя, обнаруживаются и севернее Новгородской области: на юго-западе Вологодской, на юго-востоке и юго-западе Ленинградской областей. Вся гидронимия такого типа, отмеченная В.Н. Топоровым в различных субареалах новгородско-псковско-тверских земель, представлена в виде внушительных списков³.

Правда, далеко не все перечисленные В.Н. Топоровым гидронимы можно, на наш взгляд, считать древнебалтийским наследием. Автор склонен трактовать вероятные балтизмы «по максимуму», не учитывая в достаточной мере арсальный прибалтийско-финский контекст, данные русской диалектологии, вариантность и микросистемное окружение гидронимов и т.п. Определенную долю «балтизмов» на Русском Северо-Западе достовернее возводить к прибалтийско-финским языковым источникам, поскольку они обнаруживают надежные апеллятивные и проприальные соответствия в Финляндии, Карелии, на Русском Севере и Северо-Востоке, где балты никогда не жили (*Валдайка, Вельгуя, Волдомица, Луга, Мда, Мста, Оредеж, Реполка* и нск. др.), на это справедливо указывает А.Л. Шилов [Шилов 1999: 88–93]. Некоторые вполне объяснимы с учетом лексического материала современных новгородских и других восточнославянских говоров, следовательно, они позднего происхождения и в своей интерпретации вовсе не требуют обращения к значительной древности (например, *Ситенка, Ситня, Тросна* – многочисленные на Северо-Западе названия речек, поросших *ситой* и *тростой, трестой*, т.е. водными растениями; *Солоница* – от диалектн. *солоной* ‘солёный’ либо прямо от *солоница, солоник* ‘солёный источник’). У некоторых водных названий опора только на современный облик приведет к заблуждению, поскольку этот облик существенно разнится с исторически зафиксированным (так, руч. *Гзень* отмечен в ранней письменности в виде *Къземль*). Ряд гидронимов трудно назвать балтийскими постольку, поскольку они вторичны, появились путем трансонимизации. Они объяснимы либо через русские названия прибрежных деревень (например, р. *Болдырька* бассейна Пола названа по стоящей на ней дер. *Болдыри*: к прозвищу *Болдырь*, ср. фамилию *Болдырев*; р. *Деденька* – по дер. *Дедно*, буквально ‘дедово’), либо через смежные балтийские гидронимы (например, в перечне *Шлино, Шлина, Шлинец, Шлинка* только одно из водных имен балтизм, остальные вторично образованы на его основе).

³ Подробные перечни и анализ вероятных гидронимических балтизмов новгородско-псковско-тверских территорий даны в нескольких поздних статьях В.Н. Топорова [Топоров 1995; 1999; 2000; 2001]. По данным этого исследователя, внесшего наибольший вклад в историко-лингвистическое изучение балтийского пространства Восточной Европы, балтийский гидронимический слой в западно-двинском, приильменском, псковском, северно-новгородском и верхневолжском субареалах составляет примерно 220–250 названий, обнаруженных «при практически первой рекогносцировке» [Топоров 2001: 9]. Эти перечни, однако, преимущественно включают названия, локализуемые к югу и к западу от Ильмень-Волховского бассейна.

В последние годы появилась также серия публикаций автора данных строк о балтийском топонимическом слое Новгородской земли [Васильев 2001; 2002а; 2002б; 2002в; 2003; 2004; 2007; Васильев, Вихрова 2006], в которых трактуются отдельные новгородские названия балтийского происхождения, ранее не выявлявшиеся, затрагиваются вопросы стратиграфии этого слоя с привлечением выводов археологии, оценивается удельный вес балтизмов в различных частях региона и взаимосвязи их с прибалтийско-финскими и славянскими названиями.

В поисках балтийского элемента на Русском Северо-Западе исследователи обычно обращались к территории южной и центральной Псковщины (бассейн р. Великой), соприкасающейся с латышскими землями. На Псковской земле найдено немало хронологически различных топонимических балтизмов, включая и сравнительно поздние названия латгальского типа, рассеянные от границы с Латвией далеко на восток до Ловати (как минимум две-три сотни латгализмов, согласно [Топоров 2000: 397]). Однако топонимические балтизмы, очевидно, в массе своей достаточно древние, обнаруживаются далеко к востоку, северо-востоку и северу от бассейна Великой – почти по всей области новгородского пятинного деления, связанной с Ильмень-Волховским бассейном и с примыкающими к нему течениями Луги, Плюсы, Сяси, Чагодоци, Мологи и других рек. Именно на малоизученных топонимических балтизмах Новгородской земли, определяющих северо-восточный фланг проникновения древнебалтийского элемента, целесообразно сосредоточить основное внимание. Прежде всего стоит перечислить известные по современным и средневековым материалам новгородские гидронимы (затем отдельно – ойконимы) рассматриваемого слоя, распределив их по водосборам Полы, Ловати, Шелони, Мсты, Волхова, Луги, Плюсы и других крупных новгородских рек, которые служили в древности главными нитями коммуникаций в данном регионе. Отчасти водные названия Новгородской земли, атрибутированные как балтизмы, позаимствованы из работ указанных выше авторов, но в значительном большинстве предполагаются впервые. Для выявления новгородской гидронимии, перечисленной ниже, применялись разные критерии. Из них главные: 1) наличие отчетливых параллелей и эквивалентов в литовской, латышской, прусской топонимии, дополняемых гидронимическими соответствиями на древнем этноязыковом пространстве проживания балтов, ныне заселенном славянами; 2) отсутствие убедительных параллелей и эквивалентов в неславянской топонимии исторически финно-угорского этноязыкового пространства, в тех отдаленных северных и северо-восточных областях, где балтов априори ожидать не стоит. Новгородские названия, для которых найдены допустимые соответствия одновременно в балтийском и финно-угорском ареалах (*Ельма, Нарва, Петь, Судома* и др.), в предлагаемых перечнях, за немногими исключениями, не внесены, как и те факты, которые вообще пока не имеют ни определенно трактуемых связей, ни этимологии. Многие из гидронимических соответствий, локализованных в Поднепровье, Поочье, Повисленье, уже издавна, традиционно атрибутируются в качестве балтизмов, но их новгородские «родственники» до сих пор не были учтены. Вместе с тем не хотелось бы увеличивать длину списков, приводя те названия, которые скорее следует отнести к числу отдаленно предположительных балтизмов на фоне более регулярно открывающихся славянских соответствий к ним. Разумеется, «нащупать» эту грань предположительности удается далеко не всегда. Нецелесообразно перечислять в общем ряду и нередко встречающиеся вторичные названия, закрепленные путем переноса первичных названий-балтизмов; ниже такие названия указаны совместно, но не во всех случаях, а только при сомнениях в определении топонимической первичности/вторичности.

Крупное сосредоточение новгородских водных названий, бесспорно, надежно или предположительно отнесенных к балтизмам, наблюдается в небольшом водосборе р. Полы, охватывающем треугольник пространства между озерами Ильмень на северо-западе, Валдайским на востоке и системой Верхневолжских озер (Селигер, Стерж и на юге – Витьбино). Проверка показывает, что здесь балтийскими можно считать следующие гидронимы: рр. *Бетецкий, Бурей/Бурая, Воролянка, Габья, Легованка, Демянка, Деренка, Дерновка* (вариант *Руденка*), *Дупелька* (с оз. *Дупельское*), *Еглинка, Жды-*

ня/Жиденя/Жидонья, Ильган (с уроч. Ильган), Клевичанка/Клевичинка (с дер. Клевичи/Клевечи), Кудра (с оз. Кудро), Кунява/Кунянка (с бывшим с. Кунско, XV в.), Ларинка/Ролинка, Лоненка/Лонна, Лонница, Морья/Марёвка, Мелеча, Мотыренка, Обша (с дер. Бол. Обша, Ср. Обша, Мал. Обша), Пола, Полометь/Поломедь/Поломода, Преслянка, Ртица, Рудынка, Руна и Руна Старая (и дер. Руница), Сежа, Сельня, Соменка, Сомшинский, Сосненка, Сорженка, Спилка, Стабёнка (с уроч. Стобня), Чересица, Шелон, Цыновля, Явонь, озера Беречеты, Демонцо, Долосенское, Еглино, Мезгитно/Мизгутня, Ольтечко/Ольтинское, Полоней, Русское, Саминец, Сомино, Страмилово, Цырево, Шаневское, порог Табола/Тобольский (и дер. Тоболка Буховского погоста XVI в.) на средней Поле. К югу от бассейна Пола как продолжение данного арсала встречаем такие яркие балтизмы, как рр. Жукопа, Сонка, Серемуха (с оз. Серемо), оз. Верхит, Волкото, Индено, Клеветцо, Пено, Стергут, Стерж, быть может, оз. Волго с р. Волга и др.

Бассейн Ловати, протяженной конфигурации, вытянут с юга на север более чем на 500 км от Витебской области Белоруссии до озера Ильмень. Верхнее течение Ловати, от истоков до Великих Лук уже давно отнесено к балтийской гидронимической зоне. Здесь встречаются гидронимы как дославянские, так и поздние – литуанизмы, появившиеся в период Великого княжества Литовского (с XII–XVIII веков); одним из поздних является, к примеру, оз. Камшо в 45–50 км южнее Великих Лук с рекой Камша: к литов. *katša* ‘плотина, запруда’ (на р. Камша до сих пор сохраняется старинная запруда) [Попов 1981: 42–43]. Но и далее к северу, в среднем течении Ловати от Великих Лук до г. Холм Новгородской обл., весьма вероятных древнебалтийских гидронимов, связанных с ловатскими притоками, немало: рр. Болдониха/Балдыниха, Вейна, Вятица, Гредица, Губенка, Губень (второе название р. Большой Тудер), Дёгжа, Допша/Добизня (с оз. Допша), Каместика, Куль, Кунья, Леботень, Локня, Лусня, Лживка/Лживица, Лижанка, Майленка, Моржевка, Морзевка, Мереть, Насва, Ноша, Обира, Обша, Ока, Поланейка, Полистка, Пузна/Пузка, Пылка (с оз. Пылец), Сверетица, Сережа, Сертики (и дер. Сертия/Серетя Холмского погоста, XVI в.), Смота Бол. и Смота Мал., Смерделя, Стеронская/Странская, Черпеска (с с. Черпеса), Шаполка, озёра Алё, Волкото, Говье, Демоница, Демянь, Жеберо, Илиго, Лобзы, Одское, Сокото, Стабно (с дер. Бол. Стобня), Цевло (с р. Цевла), порог Легод/Легда/Логоть (и дер. Легод/Бол. Легда, Легод/Мал. Легда). Значительно меньше такого рода названий на приблизительно таком же по площади широтном участке бассейна Ловати к северу от Холма до оз. Ильмень: рр. Анутка, Бутень/Бытец, Кортенья/Корытенка/Закорытенка, Полисть/Полесть/Полиста с оз. Полисто, Руса/Порусья (> г. Старая Русса) с оз. Русско, Редья/Рдея с оз. Рдейское, Снежа/Снежия, Соминка, Стожинка, оз. Жотор/Жетор/Жатор, Сосно, порог Желвым/Желвин на средней Ловати ниже Холма. Балтийскую этимологию имеет в том числе имя главной реки – Ловать (наряду с весьма сомнительными прибалтийско-финской и славянской этимологиями). Западнее левобережных притоков Ловати фиксируется не менее многочисленная и достоверная балтийская гидронимия, рассеянная практически по всему бассейну р. Великой, но особенно в явном виде на его верхнем и среднем участках.

К западу и юго-западу от оз. Ильмень, в бассейне р. Шелони, к балтизмам явно или предположительно относятся потамонимы Грузомедь (руч. и дер.), Деменка (с оз. Демон), Ильзна, Колотня, Кунейка, Леменка, Лоненка, Милиц, Ровка, Струпенка, Удоха, Уза, Шелонь, лимнонимы Дегжо, Должино/Должинское, Жедрицкое (с дер. Жедрицы, в средневековье – центр погоста), Локно; западнее, уже на нижнем участке р. Великой имеются рр. Лзна, Многа, Севка с оз. Сево и др.

В бассейне Волхова древнебалтийское происхождение допустимо считать у названий рек и ручьев Беберка, Волхов, Вишера/Вешера (с притоками Бол. Вишера, Мал. Вишера), Выбра/Выбро, Дереша, Дыменка/Дымна, Дупна/Дуна, Елимна, Иглино/Еглинка, Ингорь, Кересть, Кунесть/Кунестка, Оломна, Орлец, Оскуя, Осьма, Пожупенка, Полисть, Сола, Сосница, Шалонь, Шарья, оз. Овсяня, Соминское.

К западу от Поволховья и к северо-западу от оз. Ильмень данный гидронимический слой продолжается в более отчетливом виде в сопредельных бассейнах Луги и Плюссы: *Верест, Верешня/Вересня, Верца* (с оз. *Верецкое*), *Вруда* с притоком *Врудица*, *Выра, Губенка, Желовянка, Желтая, Жолыжена, Золвик, Керша, Крупелка, Курья* и рядом *Курейка, Либа, Лиминь/Лимень/Лемань, Ловодец, Лонка, Лонья, Лубеть, Лубонь, Меленка, Наска, Нотика* (и дер. *Нотья*), *Обнова/Овнова, Омуга, Песта, Пята* (и оз. *Пятское*), *Руя, Скородна, Скородня, Совья, Солка, Стожина, Стреженка, Тесова* (и с. *Тесово*), *Угорня/Угорка, Удрайка/Удрайна* (с дер. *Удрая* Водской пятины), *Черемоловой, Череска, Чересученка*, оз. *Бebro, Бетино, Врево, Ильжонское/Ильжо/Илжо, Камошье, Самро* и др. Балтизмы обнаруживаются также западнее течения Плюссы, среди восточных притоков Чудского озера (рр. *Болодинец, Гдовка, Черьма* и др.) и даже севернее нижнего течения Луги; ср. такие убедительные факты, как *Велькота/Велькотка*, прав. пр. Систы, впадающей в Финский залив (находит много точных параллелей среди балтийских названий рек), *Удосолка*, пр. *Вельготки* (с оз. *Удосольское* и с. *Удосол*), возможно, *Индьши*, речка в нескольких километрах от Велькотки в 25 км севернее г. Кингисепп.

В бассейне Мсты к явным или предположительным балтизмам можно отнести следующие гидронимы: рр. *Бурга, Вережка, Волжанка, Деготинца/Деготница, Демица* (с оз. *Демецкое*), *Дора, Едерка* (с оз. *Едрово*), *Желомля, Каширка, Кисса, Клевицкий, Котырь, Либья/Лабья, Лона, Лотовка* (с оз. *Лотово*), *Нерца* (с оз. *Нерецкое*), *Оловенка/Ловянка, Оловенка* (с оз. *Оловенец/Ловенец*), *Омитица* (с оз. *Омичко*), *Сивельба/Сиволюбля, Скирлевка, Сница, Солпа* (ручей, порог и дер.), *Струбский, Торбытна* (с оз. *Торбино*), *Чершненка, Шлинка* (с уроч. *Шлино*), *Удина, Черкаса, Цна*, оз. *Дубелье, Дупля, Долосье/Долосцо, Жден, Картино, Кимариц, Короцко, Креичи, Кретно, Лебинец, Лимень* (оз. и пустошь), *Лунка, Нерачино, Пелено, Соминское, Сомино/Осьмино, Стреглино/Стригольно, Шлино* (оз. и р.). У верховий Мсты, к востоку (бассейн Мологи, Удомельский р-н Тверской обл.), на небольшой территории обнаружено отчетливое скопление ярких балтизмов, среди которых рр. *Мажица, Судеревка*, оз. *Деменец, Ильстимо, Кжемле/Гжемле, Маги, Масцо* (< *Мажцо*), *Молдино, Пество, Семьнец, Удомля* и др.

Как продолжение мстинского ареала к северу, северо-востоку обращают на себя внимание названия рр. *Болочейка/Болочемля, Воложба, Димовка, Мезга, Меленка, Мережка, Ситомля, Смердомка, Соминка, Тулея*, оз. *Вилея, Демень/Задеменское, Демячка, Крупеня, Нерочино/Нарочино, Ретомля* в верховьях Сяси и Чагодоци, *Вешара/Вешарка/Весь, Крупенец/Крупеница* в верховьях Колпи. Но даже и севернее этих рек, а именно в верховьях Паши (к северо-востоку от Тихвина), обнаруживается любопытный гидроним *Тутюка/Тутюва/Tutukjogi* (с оз. *Тутюка/Тутюк/Тутюкское/Тутюкярв*), прав. пр. Явосьмы, не объясненный пока на прибалтийско-финской почве, но могущий иметь балтийские связи; ср. р. *Tūtaka* в Литве, как и литов. р. *Tūt-upis*, лтш. *Tūtarp, Tutur, Tutes, Tutas* и др. (связывают с лтш. *tute* 'сила, мощь, энергия' или с литов. *tūtuoti* 'петь; кричать; дудеть') [Vanagas 1981: 350–351]. Рядом с *Тутюкой* в Явосьму впадает речка под названием *Ретеица/Ретоица*, основа которого (*Рет-*) тоже многократно повторяется среди балтийских названий вод (впрочем, к данному факту можно привлечь вепс. *redu*, ижор., карел. *retu* 'грязь; слякоть').

Среди названий небольших притоков оз. Ильмень, мелких пойменных протоков и озер в прибрежной зоне оз. Ильмень на балтийском материале квалифицируются с большей или меньшей надежностью потамонимы *Вдова, Верготы/Верготка, Витолька, Воложа/Волочанка* (с оз. *Волосько*), *Догжа/Дегжа, Дупля, Иглица/Иголя/Игола/Иголка* (с оз. *Игольско*), *Кормяная/Кормина/Кармена, Льзна* (и дер. *Льзень, Лзенка*), *Льнинский* (и оз. *Олшино*), *Лялин, Моята/Маята, Неденка/Недейка, Ниша, Половка/Полова, Понеделька, Постенский, Русская* (с дер. *Русско*), *Сон/Сонской, Тисва* (с оз. *Тисовское/Тисва*), *Тулеля/Тулель/Тулеля, Чежа, Шеленский*, лимнонимы *Благи, Жавро/Жеберо, Индюк, Лишо, Менцо, Синец, Стяг/Стягово*, ороним *Молги*.

Приведенные списки отражают некий средний уровень эксцерции новгородской гидронимии, явно или предположительно отнесенной к древнебалтийскому слою. Они безусловно не исчерпывают всего этого слоя в регионе и предварительны в том смысле, что включают определенную долю названий, требующих более глубокой проверки на

финно-угорском и славянском материале. Степень достоверности перечисленных гидронимических балтизмов сильно разнится. Наиболее яркие и выразительны те, которые в полной мере передают сепаратные черты балтийских языков, дифференцирующие их от славянских. Обычно это названия с собственно балтийскими корнями и основами, неизвестными в славянских языках, например, оз. *Шлино* (к балт. обозначению глинистой почвы, ср. литов. *šlūnas* 'тяжелая светло-синяя глина') или р. *Стабёнка* (к балт. **stabin-* 'каменная', ср. прусск. *stabis* 'камень'). Значительно хуже диагностируются в качестве возможных балтизмов гидронимы с общими балто-славянскими корнями, которые как правило характеризуются формантами, тоже общими для обеих групп языков. В таких случаях существенной опорой служат функционально-статистические, фонетико-адаптационные, микросистемные и другие признаки, вскрываемые при более основательном анализе: частотность/раритетность отдельных морфем или цельнолексемных параллелей в топонимии и апеллятивной лексике балтов и славян, типичность/нетипичность номинативных моделей топонимов в балтийских и славянских языках, отражение закономерностей славянской адаптации субстратных названий, специфика топонимической вариантности, прослеживаемой при детальном ознакомлении с источниками, территориальное соседство плохо дифференцируемых названий с надежными, «сигнальными» балтизмами и др. К плохо дифференцируемым гидронимам относится, например, *Смердомка* (ср. русск. *смердеть*, литов. *smirdėti*, лтш. *smirdēt* 'вонять') с балто-славянским суффиксом *-ом-*, который, пожалуй, более характерен для балтийской гидронимии (общебалт. *-amas*), чем для славянской. Новг. *Снежа/Снежия* (ранее писалось с «ять») передает балто-славянское обозначение снега (русск. *снег*, прусск. *snaugis*, литов. *snaigė, sniegas*), но «снеговые» гидронимы характерны скорее для балтов, что удостоверяется большинством соответствий; кроме того, нетипичное для славянской топонимии оформление названия (не *Снежица*, *Снежная*, *Снеговая*) позволяет видеть в нем скорес палатализованную модификацию балтийской праформы (типа литов. *Sniegys*) на славянской почве.

Известно, что делимитация родственных балтийских и раннеславянских лексико-словообразовательных элементов представляет сложнейшую проблему, до конца не разрешимую. Топонимия показывает множество переходных случаев такого рода, и зачастую выбор в пользу балтийской атрибуции названия можно сделать лишь статистический, поскольку типичное и продуктивное в балтийских языках вероятно встретить и в диалектах славян хотя бы на уровне редкого, архаического или даже относительно частого явления, и наоборот. С этой проблемой связаны ситуации, часто возникающие при изучении новгородской топонимии, когда этимология названия ясна и достоверна, а его этноисторическая принадлежность – славянское или балтийское – проблематична (*Березна*, *Вилень*, *Понеретка*, *Смородинка/Смородянка*, *Смирдино* и др.). Подобные названия в целом более оправданно относить к славянскому слою. Вообще говоря, всесторонний анализ плохо дифференцируемых («балто-славянских») названий, которые вполне допускают балтийские трактовки, часто открывает новые возможности более убедительного объяснения их как раннеславянских топонимических архаизмов. Именно поэтому такие новгородские гидронимы, как *Березай* и *Березайка*, *Бологое*, *Велья*, *Вельё*, *Вилейка/Велейка*, *Веретья*, *Веть*, *Витка*, *Водоса*, *Волма*, *Витебско*, *Выдерка*, *Дубна*, *Желонка*, *Колодея*, *Колпишка*, *Крупна*, *Линенка*, *Лопанка*, *Лоша*, *Лютейка*, *Меглинка*, *Орлинское*, *Песно*, *Плюсса*, *Полонка*, *Радча*, *Северка/Сиверка*, *Туренка*, *Тушемля*, *Уча*, *Черемецкое*, *Черенка*, *Чечора* и нек. др., неоднократно повторяющиеся на Северо-Западе и/или в других регионах и ранее объясненные или предварительно помеченные как балтизмы, не включены в приведенные выше перечни. Вместе с тем, учитывая близость балтийских и славянских диалектов в I тыс. н.э., нельзя игнорировать фактор наличия в региональном топонимическом ландшафте немалого количества так называемых «невидимых» балтизмов ввиду того, что многие усвоенные от дославянского населения водные имена были фонстически преобразованы или переосмыслены под влиянием родственного славянского суперстрата настолько, что отличить их от распространенных славянских названий сегодня практически невозможно.

Из списков явствует, что плотность вероятных гидронимических балтизмов в разных частях Новгородской земли неравномерна. Наиболее концентрированно они покрывают бассейн Полы, восточное и юго-восточное побережье оз. Ильмень, среднее (выше г. Холм) течение Ловати, значительно меньше их в Половатье ниже Холма, еще меньше на западном побережье Ильменя и среди притоков Шелони, где, по предварительным наблюдениям, особенно высок процент славянских топонимических архаизмов. Восточнее Ильменя, в бассейне Мсты, балтизмов немало на широтном участке от истока приблизительно до г. Боровичи Новгородской обл., изредка они встречаются ниже по течению реки и далее к северу от Помостья, в верховьях Сяси, Чагодоци, возможно, Паши и ввиду данного факта нельзя согласиться с тем, что балтийских названий «совсем нет в левобережье Мсты» [Агеева 1989: 187]. В разреженном виде такие названия обнаруживаются в бассейне Волхова, но показательно то, что здесь они в основном группируются в выразительный анклав южнее г. Кириши Ленинградской обл. (главным образом на территории Чудовского р-на Новгородской обл.). Таким образом, новгородская гидронимия балтийского происхождения убывает от бассейна Полы и оз. Ильмень при продвижении на север и северо-восток, а от Полы также на запад – в сторону Ловати и Шелони. Обращает на себя внимание, что к северо-западу от оз. Ильмень выявляется сравнительно много ярких балтизмов среди верхних и средних притоков Луги и особенно Плюссы: здесь соответствующая гидронимия безусловно более заметна, чем в Поволховье (восточнее) и в бассейне Шелони. Последнее обстоятельство выглядит несколько неожиданным, поскольку водосбор Шелони расположен южнее, чем бассейны Луги и Плюссы. В разных частях региона намечаются места относительного сгущения и разрежения данных гидронимов, которые именуют как крупнейшие новгородские реки (*Ловать, Пола, Полисть, Полометь*, возможно, *Шелонь, Волхов*), так и маленькие речки или ручьи длиной до десятка километров и озера площадью несколько гектаров. Более тщательное изучение региональной микрогидронимии открывает все новые вероятные балтизмы, не оставляя никаких сомнений в бывшем присутствии балтов на рассматриваемой территории.

Значительная совокупность гидронимов, которые с той или иной степенью вероятности трактуются как балтизмы, отодвигает периферию древнебалтийского этноязыкового пространства к северу от Новгорода. Вопрос о проведении границы пока решается предварительно, в условиях, когда гидронимы балтийского типа на Русском Северо-Западе до конца не выявлены. В схематичном приближении эта граница, начинаясь от Финского залива (к северу от р. Нарва и устья Луги), пересекает среднее течение Волхова (в районе г. Кириши), далее идет по верхним притокам Сяси, Чагодоци, Колпи, затем спускается на юг, юго-восток к верхнему течению Мологи, к Бежецку (ср. «гнездо» вероятных балтизмов на территории бывшего Бежецкого ряда: рр. *Мелеча/Милеча, Могоча, Осень, Ретомля*, оз. *Верстово* и нек. др.), далее уходит на юг к Кимрам (р. *Кимрка/Кимерка* и др.).

Вопрос о количественном соотношении (удельном весе) на новгородской территории названий прибалтийско-финского (шире – финно-угорского) и балтийского происхождения требует более основательного изучения. В любом случае не стоит увеличивать процент одних субстратных этимологий за счет других, ориентируясь на предвзятое мнение о «своей» или «чужой» этимологии относительно исконности того или иного этноязыкового ареала. Несомненно, прибалтийско-финские гидронимы рассеяны по всей Новгородской земле (некоторые из них, надо полагать, как и балтизмы, существенно персиначены и не отличимы от славянских), но становится очевидным и другое: на значительной части ее территории гидронимические балтизмы по количеству либо не уступают отличительным финнизмам, либо явно превосходят их. Особенно это заметно в бассейне Полы, где на фоне многочисленных славянских и балтийских названий совсем нет гидронимов с характерными финскими чертами, к примеру, с исходами на *-киа, -кса, -ма, -уя, -ега, -дро, -ус* и др., обусловленными преобразованием типовых прибалтийско-финских детерминантов и флексий. Даже те единичные гидронимы среди притоков Полы, которые объяснялись чаще как финские, скорее допускают иные трактовки: р. *Руна* (не исключено, что прибалт.-фин., см. [Vasmer 1934: 370], но значительно больше балт. связей [Гопоров 1972: 219–230]); *Меглинка* (к прибалт.-фин., или слав. [Агеева

1989: 220; Шилов 1999: 46–47], или балт. [Топоров 1999: 280] языковому источнику, а в целом неясно); *Невий мох*, болото (есть фин. *neva* ‘болото’, но название, очевидно, идет от славянского апеллятива, заимствованного ранее у финнов, ср. новг. диалектн. *невья* ‘моховое болото’ [НОС, 6: 35]). Вообще говоря, в бассейнах Пола, Ловати, Шелони. Плюссы и во всей прибрежной зоне оз. Ильмень гидронимы с отличительными прибалтийско-финскими связями очень редки, по количеству не идут ни в какое сравнение с балтизмами. К северу от широты Ильменя общий гидронимический фон приобретает все более ощутимую прибалтийско-финскую окраску. Это хорошо заметно в Поволховье, где вероятных финских гидронимов немало: *Влоя*, *Вья/Выйка*, *Ерёша/Ерша/Ережь*, *Киба*, *Кириша*, *Коломовка*, *Ладожка*, *Лынна*, *Менекиа*, *Обуйка*, *Питьба*, *Пчевжа*, *Раптица*, *Равань*, *Рапля*, *Ревдушка*, *Сестра/Сестрица*, *Ситаль*, *Слиговка*, *Танца*, *Тигода*, *Тянегожское*, *Чагода* и др.; вместе с тем названия отдельных притоков Волхова (*Беберка*, *Вишера*, *Осьма*, *Полисть*, *Ингорь* и др., быть может, и сам гидроним *Волхов*) и даже названия южных притоков Невы (*Тосна*, а также *Лустовка*, *Сунья* среди верхних притоков Тосны) могут быть атрибутированы в качестве древнебалтийского языкового наследия. Но в целом в среднем (ниже Боровичей) течении Мсты, в среднем и нижнем Поволховье прибалтийско-финские названия рек и озёр, трактуемые достаточно надежно, по количеству преобладают над балтийскими.

Новгородскую гидронимию балтийского происхождения целесообразно интерпретировать в связи с общей структурой дославянского лексического субстрата в регионе. Славянское заселение центральных районов Новгородской земли было не только достаточно ранним, но, надо полагать, и относительно плотным, массивным, приведшим к быстрому поглощению дославянских этносов (остатки води и ижоры сохранились лишь на северной периферии региона). О раннем и плотном характере славянского освоения территории говорит специфика местного дославянского субстрата. Ранее уже обращалось внимание на то, что в отношении субстратных включений территория Приильменя и бассейнов рек Волхова, Шелони, Ловати, Мсты показывает совершенно отличную картину от той, которая сложилась в более восточных областях Русского Северо-Запада [Муллонен 2002: 35]. На этой территории, которая в северо-восточном направлении продолжается не далее юго-западного Присвирья (бассейн р. Паша), а на востоке – до западных районов Вологодской обл., дославянский лексический субстрат представлен в подавляющем большинстве случаев гидронимами, что, как было отмечено, наблюдается тогда, когда процесс этнической ассимиляции завершился уже давно и время стерло многие менее устойчивые субстратные черты [Матвеев 1993: 93]. Самое важное отличие заключается в том, что в центральных районах Новгородской земли субстратная гидронимия представлена двумя главными перемежающимися стратами – финно-угорским и балтийским, тогда как на территориях к северу и северо-востоку рассеяны названия почти исключительно финно-угорского происхождения (о дофинском наследии можно вести речь лишь сугубо теоретически). Новгородские гидронимы дославянского происхождения сопровождаются ограниченным количеством обиходной апеллятивной лексики местных говоров, восходящей как к финским, так и к балтийским источникам⁴. В более во-

⁴ Новгородские апеллятивные финнизмы (диалектн. *горма* ‘таволга’, *канаврик* ‘багульник, вереск’, *кармус* ‘рыба елец’, *луда* ‘мелководье на озере’, *макса* ‘рыбьи молоки’, *сестрянкa* ‘красная смородина’ и др.) обычно проявляются и в говорах к северу, северо-востоку от Ильмень-Волховского бассейна, см. [Мызников 2004: 257–264]. Новгородские балтизмы (диалектн. *баркан* ‘морковь’, *грыжа* ‘брюква’, *крупеня* ‘суп из крупы’, *пекалек* ‘мотылек’, *ренжа*, *роижа* ‘птица сойка’, др.-новг. *намъ* ‘проценты; лихва’ из берестяных грамот с XI в. и др.) имеют ожидаемые соответствия, как правило, в говорах к западу и юго-западу от Новгородской земли, см. [Аникин 2005: 55, 100, 127, 183, 227–228, 238, 266]. Если взять общую сумму субстратных и/или заимствованных апеллятивов, то слов прибалтийско-финского происхождения в новгородских говорах обнаружится явно больше, чем балтизмов. Но в данном случае нельзя забывать о хронологии лексического субстрата. Оказывается, основную долю финнизмов в этом регионе составляет не дославянский субстрат, а поздний карельский языковой тип [Мызников 2004: 263], появление которого можно отнести только к XVII столетию.

сточных областях субстратное наследие отражено в иных формах: помимо гидронимов, здесь много субстратной микротопонимии (в том числе микрооронимии – названий рельефов, растительности и проч.) и ойконимии, субстратная топонимия сопровождается многочисленной субстратной лексикой прибалтийско-финского происхождения, в некоторых местностях субстратные черты переплетаются с живыми адстратными явлениями [Муллонен 2002: 31–35; Матвеев 1993: 93]. Отличен и сам характер усвоения топонимического субстрата, если судить, например, по топонимическим полукалкам (типа *Сяргозеро*, *Кивручей*, *Шеймагора*), которые практически отсутствуют в Ильмень-Волховском бассейне, но во множестве рассеяны в областях к востоку и северо-востоку от него. Севернорусские полукалки являются ярким проявлением финно-угорского синтаксического или словообразовательного субстрата и возникли в результате постепенного обрусения местной топонимической системы [Гусельникова 1996; Муллонен 2002: 35–36]. Но на центральной новгородской территории атрибутивные топонимические структуры, включающие географический термин, не дали полукалок при древнеславянском усвоении. Подобные структуры, финские или балтийские (типа многочисленных литов. геогр. *Bit-upis*, *Bit-ravis*, *Bit-ežeris*, *Byt-tvanas*, лтш. *Stirnupe*, *Varnupis*, *Aiņezers* и т.п., см. материалы [Vanagas 1981; Endzelin 1934] и др.) в Ильмень-Волховском бассейне были усвоены славянами как правило в двух основных формах: либо с сохранением всего сложения (ср. новг. оз. *Шерегородо*, буквально – ‘плотичное озеро’ [Агеева 1989: 231] к северу от Боровичей при наличии изосемантического *Сяргозеро* в бассейне р. Свирь), либо с переводом и дальнейшей утратой постпозитивного термина (ср. руч. *Киба* с первичным значением ‘каменный’ к западу от Ильменя, но руч. *Кивручей* в юго-восточном Приладожье).

Обрисованная ситуация с языковым древнебалтийским наследием в регионе Новгородской земли в качественном отношении мало чем отлична от той, которая описывается для более южных областей, в которых следы дославянских балтов, помимо языковых остатков, прослежены археологически. Одна из таких территорий – юго-западное Подмосковье со своей богатой балтийской гидронимией, где не слишком отдаленное хронологически присутствие балтов свидетельствуется в том числе древнерусскими летописями (см. известные сообщения Лаврентьевской и Ипатьевской летописей под 1058, 1147, 1248 гг. о стычках с голядью и литвой на Протве). Тем не менее, «имеющийся <...> материал подталкивает к выводу, что в Подмосковье, Поочье и на смежных территориях, некогда населявшихся балтами, оставленный ими субстрат представлен в основном на уровне гидронимии при редкости специфичных б. <б. = апеллятивные балтизмы. – В.В.!!> и наличии относительно многочисленных б., известных и на других великорусских и славянских территориях» [Аникин 2005: 55]. Сходным образом можно квалифицировать состояние балтизмов и в центральных районах Новгородской земли. А в более общем плане ситуация в Подмосковье, где балты документируются еще в XI–XIII столетиях, показывает, что апеллятивный субстрат утрачивается значительно быстрее, чем гидронимический, и распыляется за пределы территории своего первоначального усвоения, давая в итоге «смазанную картину». Поэтому при изучении языкового субстратного вклада в пределах конкретного региона преимущественной опорой должен служить топонимический субстрат, оцениваемый по арсальной конфигурации, по типологии названий и по количеству их на единицу площади, по хронологии и по отношению к иным этноязыковым топонимическим стратам в регионе.

Плотность вероятных гидронимических балтизмов в регионе Новгородской земли, даже если ограничиться его юго-западной половиной, очевидно, не столь высока, как в центре древнебалтийского освоения лесной зоны Восточной Европы. К этому центру отнесены исторически известный ареал москворецко-поочских балтов, верхние течения Днепра, Западной Двины и Оки, бассейны крупных притоков Днепра – Сожи и Березины (т.е. преимущественно территории Московской, Калужской, Смоленской, Витебской, Могилевской областей). Но балтийских названий на рассматриваемой новгородской территории в целом выявлено не меньше, чем в значительном по площади бассейне Десны и явно насчитывается больше, чем среди левых и правых притоков Припяти, Сейма, среднего и нижнего Поочья, на верхнем Дону. Для сравнения: в левобережье Припяти обнаружено не менее полусотни возможных гидронимических балтизмов [То-

поров, Трубачев 1962: 232] и примерно такое же число балтизмов выявлено в бассейне новгородской р. Полы, который раз в десять меньше бассейна Припяти. Между тем и Припять, и Десну, и Поочье традиционно относят к древнебалтийскому ареалу, тогда как новгородскую территорию считают почти исключительно прибалтийско-финской. Однако совокупность водных названий, осмысленных в последние десятилетия, позволяет говорить о Русском Северо-Западе (включая сюда и Псковскую землю) по крайней мере как о смешанной балто-финской гидронимической области.

В ближних окрестностях оз. Ильмень обнаруживается целый ряд надежно интерпретируемых древнебалтийских топонимических фактов, часть из которых стоит осветить более подробно. Именно наличие подобного рода хорошо дифференцируемых («сигнальных») названий в максимальной степени удостоверяет древнебалтийское присутствие в регионе. Одно из них – *Осьма*, относящееся к небольшому, 16 км длиной, правому притоку Волхова в Чудовском и Маловишерском р-нах Новгородской обл. Гидроним *Осьма* соотносится с литов. *aštiõ*, лтш. *asmens* ‘острие; лезвие ножа’ (< ‘камень’). О том, что соответствующие балтийские основы (кстати говоря, этимологически близкие, наряду с литов. *akmiõ* ‘камень’, к русск. *камень*) в древности функционировали в значении ‘камень’, свидетельствуют др.-инд. *ásta* ‘камень, скала’, авест., др.-перс. *astan-* ‘камень’ [Фасмер, II: 173–174]. Надо полагать, речка *Осьма*, имя которой расшифровывается как ‘каменная’, ‘каменка’, была названа, как и множество других *Каменок*, скорее всего с учетом каменистости русла. Поволховский гидроним входит в контекст родственных речных названий на древней балтийской территории, которые дружно толкуются исследователями через сближение с др.-балт. обозначением камня: *Осьма* (*Восьма*), р. в верховьях Днепра [Топоров, Трубачев 1962: 165, 181, 200], *Восма*, лев. пр. Безпуты в Подмосковье, *Осма*, *Осьма*, *Восма*, *Восьма*, *Осменский*, *Восменский*, *Восминский*, *Восемской*, *Осьмушиной*, *Османовка* – рски и ручьи в бассейне Оки, зафиксированные каталогом Г.П. Смолицкой [Смолицкая 1976: 40, 98, 144, 145, 156] и интерпретированные как балтийские [Топоров 1972: 255; 1998: 301–302]; сюда же относятся р. *Осмонь* в Курской и Орловской губ., *Осмянка* в Виленской и Каунасской губ., *Осмониха* в бассейне р. Великой (к этимологии их см. [Агеева 1989: 194]), *Ašmenà*, *Ašmenų upelis* в Литве, *Ašmenų-ežers*, *Asmenīte*, *Ašmenī*, *Ašmaņi* в Латвии, курш. *Assme* и др. [Vanagas 1981: 50; Endzelīns 1956: 44]. Семантически весьма показательное название р. *Каменная Осмонька* в Курской и Орловской губ. (атрибутировано как иранское по происхождению [Топоров, Трубачев 1962: 222], но не меньше оснований считать его балтизмом). Окончательно истинность названия р. *Осьма* в Поволховье как наименования ‘каменной’ реки подтверждает топонимический микроландшафт: во-первых, имя ее главного притока – р. *Каменка*, во-вторых, название средневековой деревни *Камеская/Каменская*, стоявшей на *Осьме* в погосте Коломенском на Волхове Обонежской пятины 1564 г. [ПKNЗ 2: 66]. Эти смежные гидронимы и ойконим связаны отношением метонимического калькирования, при котором *Каменка*, *Каменская* являются славянскими переводами дославянского смежного *Осьма*.

Примечательно, что притоком *Каменки*, гидрографически подчиненной *Осьме*, является в свою очередь речка *Беберка/Бebra*; этот последний гидроним, отраженный на крупномасштабных картах местности (в 1 см 1 км), тоже выглядит достаточно надежным балтизмом; ср. характерные для балтийских языков обозначения бобра и «бобровые» названия с огласовкой *e*: прусск. *hebrus*, литов. *hebrūs*, *bebras*, *bèbras*, *debrūs*, *vebrus*, лтш. *hebrs*, *bebris*, прусск. топонимы *Behrlauken*, *Bewer*, *Behir*, *Bybir*, *Behra*, литов. *Behrė*, *Behrinė*, *Behrika*, *Behrujis*, *Behrūpis*, *Behr-upis* и др., лтш. *Behra*, *Behrunnen*, *Bebrs*, курш. *Behrup* и др., сюда же и новг. *Бebro*, оз. в верховьях Оредежа к северо-западу от Новгорода, и смоленское *Бebra*, р. в верховьях Днепра, см. [Топоров, Трубачев 1962: 175; Топоров, I: 203–205; Vanagas 1981: 60; Аникин 1998: 29–30]. В ближайшем соседстве с *Осьмой* и *Беберкой*, на расстоянии до 10 км к западу, слева в Волхов текут р. *Полисть*, руч. *Еглинка/Иглино*, *Орлец*, а до 10 км севернее *Осьмы* и *Беберки* в Волхов справа впадают небольшие правые притоки *Сосница* и *Выбра*. Перечисленная узколокальная гидронимия находит нередкие топонимические и апеллятивные соответствия в ареале древнего проживания балтов, причем вероятность ее отнесения к балтийскому слою су-

щественно повышается благодаря территориальному соседству с *Осьмой* и *Беберкой*. Обрисованная гидронимическая ситуация наводит на мысль о существовании древнебалтийского этноязыкового анклава на Волхове к северу от Новгорода, в районе г. Чудово. Вместе с тем отличительные естественно-географические особенности данной местности – низменной, с заболоченными лесами, с редкими селениями как в прошлом, так и настоящем – могут предполагать реликтовое сохранение в малоосвоенном районе Поволховья островка балтийской гидронимии, которая была замещена славянскими названиями вод в более обжитых сопредельных районах.

В окрестностях Ильменя, кроме пары *Осьма* – *Каменка*, локализуются еще несколько метонимически «расщепленных» пар речных названий, один из которых субстратный балтизм, а второй – его славянская калька: *Стабенка* – *Каменка* и *Марёвка* – *Озерешня* в верховьях Пола, *Порусья* – *Редья* в южном Приильменье, *Дегжа* – *Загоска* в дельте Ловати, возможно, *Неденка* – *Сытинка* и *Кормяна* – *Хохулька* на западном берегу Ильменя, подробнее см. [Васильев 2001; 2004; Васильев, Вихрова 2006]. Такие гидронимные пары имеют повышенную значимость для изучения дославянского языкового наследия в регионе, и редкие находки их – большая удача. Из феномена метонимического калькирования названий никто, кажется, не сделал важного теоретического вывода об этиологии топонимического субстрата. А вывод заключается в том, что метонимические кальки отрицают возможность переноса субстратных названий расселяющимся этносом, они, напротив, свидетельствуют о рецепции субстрата на месте и о двуязычии пришлого населения. Судя по калькированию, ранние славяне воспринимали эту гидронимию от балтов в самом Приильменье, а не принесли ее с юга, усвоив при пересечении земель, традиционно считающихся балтийскими. Балто-славянское двуязычие, в свою очередь, предполагает внедрение славянского этноязыкового элемента в местную балтийскую среду, а не случайные встречи славян с редкими изолированными группами балтов, забредавшими далеко на север.

Другим интереснейшим проявлением новгородского дославянского субстрата являются балтийские названия населенных пунктов, сравнительно редкие на фоне названий вод. Первостепенно важны ойконимы первичные, не соотносимые со смежными гидронимами, обнаруживающими идентичные основы, поскольку эта, вторая, категория названий обычно предполагает отгидронимность, а следовательно, вторичность образования ойконимов (как в случаях с номинацией пос. *Пола* по р. *Пола*, дер. *Шелонско* по р. *Шелонь* и мн. др.). В отличие от водных названий, связанных обычно с крупными и/или линейными объектами, первичные ойконимы древнебалтийского происхождения отражают субстратное наследие в конкретизированной («точечной») версии. Они подразумевают не общую размытую «балтийскость» территории, а конкретные поселения балтов, определенно локализуемые, указывающие на давнюю освоенность отдельно взятых местностей. Примером достоверного новгородского ойконимического балтизма является название дер. *Цемена* на левом берегу Пола в Демянском р-не Новгородской обл. (к западу от пос. Демянск). Этот населенный пункт писцовой книгой конца XV в. именуется «*Дер. в Чеменехъ*», которая входила в Буховский погост, в Демонский присуд Деревской пятины и принадлежала Новгородскому Антонию монастырю [НПК II: 581, 582]. Название *Цемена* (средневековая форма «*Чеменехъ*» отражает диалектное цоканье) показывает очевидное родство с многочисленными топонимами Прибалтики: *Kimėnai*, *Kimėniškė*, *Kimėnynė* в Литве [LATSŽ: 134], *Kimėnis*, *Kimėnes-plava*, *Kimėn-karts*, *Kimėn-grāvis*, *Kimėn-līcis*, *Kimėn-tīruma*, *Kimėnica*, *Kimėnīte*, *Kimėnijas*, *Kimėji*, *Kimėlija*, *Kimija* (<**Kim[e]nija-plava*) в Латвии, как и лтш. *Cimēni*, *Cimēniņi*, *Cimāni*, *Cimēl-upē* [Endzelīns 1956–1961, 1: 165–166; 2: 221–222]; сюда же балтизмы на территории Белоруссии: *Кимяны*, *Кемяны*, *Кимия*, наряду с вариантами *Химяны*, *Химия*, *Химец*, *Химы*, *Химное* и т.п. (но ср. блр. *хим*, *химина* ‘низкий лес, хмызняк, преимущественно ольховый, с лозняком’ [Яшкін 1971: 199]); наконец сюда же относят подмосковное *Химка*, лев. пр. Москвы-реки [Топоров 1982: 40; Жучкевич 1974: 391]. Что касается апеллятивов и исходной апеллятивной семантики, то новг. *Цемена* ближайше связано с литов. *kiminas* ‘сфагнум, торфяной мох’, *kimininė pėlke* ‘сфагновое болото’, *kiminynas*, *kiminija*, *kiminynė* ‘место, где растет много мха’, *kiminójas* ‘пространство на лугу, поросшее мхом’ [Невская 1972: 336–337].

Усвоенная ранними славянами, субстратная основа подверглась «свистящей» палатализации: **Kimen-* > *Цимен-*, ср. близкое подобие в латышском палатализованном варианте *Cimēni* при лтш. *ķimēnis* (более подробные сведения даны в статье [Васильев 2003: 112–117]).

Еще одним ойконимом очевидного балтийского происхождения является название расположенной у юго-восточного побережья оз. Ильмень дер. *Вдаль* Парфинского р-на Новгородской обл. (Лажинский сельсовет). Этот пункт, некогда принадлежавший Влажинскому погосту Деревской пятины, писцовой книгой около 1495 г. фиксируется под названием *Гдаль/Гдал* [НПК I: 717, 729, 730, 735], под 1560/61–1561/62 гг. – *Огдаль* [ПКНЗ 5: 336, 337]; из **Гьдаль* < балт. **Gudol-*, **Gudal-* (к вариантности *Гдаль/Вдаль* ср. известные *Гдов/Вдов*, *Овдов*, *гдовичи/вдовичи*). Корень **gud-* в значительном числе случаев засвидетельствован в балтийской ономастике: др.-прусск. топонимы *Gudeniten* 1393 г., *Gudicus* 1342 г., *Gudynuken* 1409 г., антропонимы *Gudeike* 1371 г., *Gud-denne* 1422 г., *Gudenne* 1400 г., *Gvdanne* 1361 г., *Gudenyn* 1419 г., *Ян Кзудикга(й)ловичь* 1599 г., *Gudwynaytis* 1563 г. в Литве, курш. *Gude* 1554 г., *Gudell* 1540 г., *Gudote* 1355–1362 гг. и другие факты, приведенные в [Топоров, 2: 323–329], сюда же литовские гидронимы *Gūdas*, *Gudėnėlė*, *Gūdežeris*, *Gūdgrabė*, *Gudinis*, *Gudiniškių upelis*, *Gudinių upelis*, *Gūdintakis*, *Gudmėsla*, *Gudōnas*, *Gūdravis*, *Gudūnėlė*, *Gudūniškis*, *Gūdupelis*, *Gūdupis*, *Gudabalė* и др. и особенно показательные для новг. *Гдаль* имена с *l*-суффиксацией: *Gudelių ežeras*, *Gudelupis* [LUEV: 54; Vanagas 1981: 125–126], ойконимы *Gudų km.*, *Gudonių km.*, *Gudiškių km.*, *Gudinės km.*, *Gudėnų km.*, *Gudeikių km.* и т.п., среди которых есть и *Gudelių km.*, *Gudeliukų km.*, *Gudeliškių km.*, *Gudeliškes km.*, *Gudalių km.* [LATS: 712–714]; сюда же топонимы Латвии *Gudi*, *Gudu-purvs*, *Gud-bala*, *Gudancis*, *Gud-upe*, *Gudupes-kalns*, *Gudvalki*, *Gudnieki* и прежде всего *Gudeliškes-ceļš*, *Gudeliškes-dīķis*, *Gudēlu-kruogs*, *Gudeliški*, *Gudēlnica pl.*, *Gudēli*, *Guduli* и т.п. [Endzelīns 1956–1961, 1: 336–337]. В Польше, помимо названий городов Гданьска и Гдыни, есть и *Gdula*, *Gdola*. В Белоруссии встречаются параллельные микропонимы, появление которых связано с древнебалтийским субстратом, конкретно – с литовской антропонимией: ур. *Гудаўка* в Витебской губ, *Гудзінкі* поле и *Гудзішкі*, дер. *Гудзевічы* и *Гудзяўская* дорога в Гродненской обл., урочища *Гудоўскія* к западу и *Гуздельшчына* к северу от Минска (Логойский р-н) и особенно интересное для рассматриваемого новгородского факта блр. *Гўдаля гарод*, поле в окрестностях Браслава на Витебщине неподалеку от границы с Литвой и Латвией [МБ: 66]; это, последнее, название делает балтийскую атрибуцию новг. *Гдаль* наиболее очевидной. Ср. еще блр. личн. *Гуд*, *Гудовіч*, *Гудвіла* и т.п. [Бірыла 1969: 120]. Одни из приведенных названий этимологически трактуются с учетом др.-прусск. *gudde* ‘куст’, другие объясняются благодаря литов. *gūdas* ‘белорус’ и, в более широком применении, – ‘чужой’, литов. *Gūdas*, прозвище (подр. см. в [Топоров, 2: 323–329]). Применительно к новг. геогр. *Гдаль* (< **Gudal-*, **Gudol-*) допустимо предполагать обе эти возможности, хотя более вероятной видится все-таки деантропонимная мотивация. Главное же заключается в том, что этот ойконим эксплицирует одну из ниточек дославянских ареальных связей юго-восточного Приильменя с территорией прежде всего Литвы, Латвии и северной Белоруссии.

Обращает на себя внимание, что микрорайон всего юго-восточного Приильмения (прибрежная зона Синецкого залива оз. Ильмень) густо усеян вероятными топонимическими балтизмами, о которых известно по современным и историческим письменным материалам. Так, в трех км южнее дер. *Вдаль* (< *Гдаль*) стоит дер. *Тисва*, названная по руч. *Тисва* и оз. *Тисовское*, а в 10 км к северу от *Вдали* дер. *Льзень* (исторически здесь же *Лезнево*, *Лзенка*) на руч. *Льзень/Льзна*, на небольшом пространстве между этими пунктами с севера на юг находятся рч. *Моята/Маята*, речка *Неденка/Недейка*, руч. *Льнинский* с оз. *Олнино*, озера *Стяг*, *Индюк* и известные по средневековым описаниям рч. *Половка*, маленькие озера *Менцо*, *Лино*, *Жавро/Жеберо*, дер. *Дупле*, дер. *Недно*, бывшие в составе Влажинского погоста Деревской пятины [НПК I: 728, 733]; поблизости от них *Верготь/Верготка*, протока *Полы*, впадающая в Синецкий залив Ильменя, причем само наименование этого залива, наряду со смежным лимнонимом *Синец*, тоже, по всей вероятности, дославянское (для трактовки можно привлечь не только русск. *синий*, но и довольно многочисленную гидронимию типа литов. *Siēnis* или *Seina*,

др.-прусск. *Seunicz* и т.п.; это, второе, решение с учетом густого фона близлежащих перечисленных названий выглядит более убедительным). Вся перечисленная топонимия находит многочисленные отчетливые параллели в Прибалтике и хорошо трактуется на материале балтийских языков. Наличие данного топонимического «гнезда» свидетельствует о плотной освоенности дославянскими балтами микрорайона юго-восточного побережья Ильменя. Этот микрорайон и сегодня относительно плотно заселен, что отличает его от скопления балтизмов на верхнем Волхове (*Осьма, Беберка, Полисть* и др.), сохранение которого можно было бы объяснить изначальной разреженностью славянского заселения местности.

Помимо отмеченных, к первичной ойконимии древнебалтийского происхождения явно или предположительно можно отнести еще ряд новгородских названий к юго-востоку, реже к югу и к западу от Ильменя: *Кневицы*, пос. на р. Березне, прав. пр. Поломети, лев. пр. Пола, *Крева*, средневековая деревня, а сегодня – урочище в верховьях Большого Тудра бассейна Ловати (в 50 км восточнее г. Холм), дер. *Кривско* с близлежащими дер. *Клевичи/Клевечи* и *Кривкино* на Чернорученке в среднем течении Пола недалеко от райцентра Демянск Новгородской обл., дер. *Ловосицы/Ловасицы* на нижней Поле, *Мусцы*, средневековый погост в низовьях Шелони, дер. *Свея* (< **Освея*) к югу от Порхова на средней Шелони, с. *Яжелбицы* на р. Полометь к северо-западу от Валдая и нек. др.

Многочисленные проявления дославянского топонимического субстрата в центральных районах Новгородской земли ждут в дальнейшем серьезного этноисторического обоснования. По крайней мере сегодня уже потерял актуальность общий вопрос о том, имелось ли в Ильмень-Волховском бассейне индоевропейскоязычное (resp. балтоязычное) население до прихода славян, или же такового населения там не было. Ответ будет безусловно положительным: группы славян, продвинувшиеся приблизительно в VII в. н.э. к оз. Ильмень, встретили в его окрестностях носителей не только прибалтийско-финской, но и древнебалтийской речи. Финны и балты в этот период проживали чересполосно на большей части данной территории. В разное время и в разных местах они могли подвергаться взаимной ассимиляции, пока не были окончательно «растворены» в новоприбывшем экспансивном славянском этносе. И хотя больше находится оснований (не столько даже топонимических, сколько диалектно-лексикологических и археологических) для заключения о доминировании (и, видимо, о первичности) в регионе прибалтийско-финского этноса, гидронимия отчетливо маркирует точечные локусы, анклав, а то и значительные районы (Полавский, Ловатский, Шелонский, Плюсский бассейны, прибрежная зона Ильменя), которые предполагают преобладание балтов, а не финнов.

Балтийские названия в изучаемом регионе безусловно имеют разную хронологию. Можно предположить, что самые ранние восходят к II тыс. до н.э., когда далеко на север, вплоть до Ладоги имело место распространение индоевропейских племен шнуровой керамики. В рамках мощного индоевропейского импульса Ильмень-Волховский бассейн вместе с верхней Волгой отнесен к обширному ареалу фатьяновской культуры [Основания 1999: 268–271; Крайнов 1987], которую исследователи в целом единодушно связывают (наряду с поморской культурой в Прибалтике) с протобалтами [Дини 2002: 39]. Считается, что далеко зашедшие на север индоевропейские племена со временем были ассимилированы более многочисленным местным прибалтийско-финским населением. Гидронимические следы, которые это население, вероятно, оставило, следует отнести скорее не к древнебалтийскому, а к протобалтийскому, или – иначе – к древнеевропейскому (по Х. Краэ [Краэ 1954; 1964]) слою. Для этого типа субстратных гидронимов Русского Северо-Запада характерна следующая особенность: имея преимущественные параллели в обширной области древнего проживания балтов, они обнаруживают точные архаические структурные соответствия далеко за пределами балтийского пространства – в регионах остальной Европы (в Италии, Англии, Франции, Германии, на Балканах, в Скандинавии). На новгородской и псковской территориях в качестве протобалтийских водных названий трактовались *Алё/Оля, Вишера, Волхов, Неденка, Оломна, Олица, Ольтечко, Омтища, Серемо, Сого, Тулебля, Удина* и нек. др., подробнее см. [Агеева 1989: 201–208; Васильев 2002а; 2004]. Разумеется, даже наличие весьма отдален-

ных «транс-европейских» гидронимических соответствий недостаточно диагностирует столь раннее появление такой гидронимии, как правило, прикрепленной к незначительным водным объектам. Неясно, кто был «хранителем» этих водных имен, малоизвестных и узкофункциональных в слабозаселенном регионе, на протяжении 3–4 тысячелетий. Поэтому, надо полагать, часть новгородских гидронимов древнеевропейского слоя все же была перенесена балтами в более позднее время из юго-западных регионов, сохраняема ими же и затем передана славянам.

В раннем железном веке (I тыс. до н.э. – I-я половина I тыс. н.э.) весь Русский Северо-Запад был захвачен ареалом культур текстильной керамики, которую связывают с финским населением; южнее этого ареала, от верховьев Западной Двины до Оки, стабилизировалась этнокультурная граница, разделявшая финские и индоевропейские (балтийские, по мнению большинства исследователей) этнические массивы [Основания 1999: 270–273]. Учитывая гидронимическое исследование Р.А. Агсевой [1989], В.В. Седов осторожно допускает, что в Новгородско-Псковском крае «некоторые водные названия балтского происхождения, по всей вероятности, восходят к периоду раннего железа, когда в областях прибалтийско-финского расселения имела место инфильтрация племен штрихованной керамики» [Седов 1999: 126]. Возможность балтийских этнокультурных проникновений в этот период действительно предполагается комплексом находок на городищах в окрестностях Ильменя (у пос. Городок, у дер. Сельцо, у дер. Подбереза в низовьях Полы и Ловати и др.); в частности, эти находки позволили предположить, что собственно ранний железный век Приильменья теснейшим образом связан с днепровскими (верхнедвинскими) древностями первых веков н.э. [Короткевич 2001]. Появление же основной части топонимических балтизмов на Русском Северо-Западе В.В. Седов склонен отнести к эпохе раннеславянского заселения новгородско-псковских земель. Согласно его концепции, потоки славянских переселенцев из Повисленья увлекли за собой в Псковско-Ильменский регион часть балтийских племен, в том числе западнобалтийских. Только миграцией более или менее крупных групп ятвяжско-прусского населения в бассейн Великой и к берегам Ильменя могут быть объяснены те новгородско-псковские названия, которые несут в себе западнобалтийские черты [Седов 1999: 126].

Необходимо заметить, однако, что слой новгородских и псковских топонимических балтизмов сегодня предстает гораздо более мощным и глубоким, чем ранее считалось. На значительной территории вплоть до Ильменя и Новгорода балтийский топонимический субстрат более заметен, чем финский, включает многие (микро)гидронимы и ойконимы, имеет характерные сгущения, отражается в появлении переводных названий, а отдельные балтизмы, возможно, несут печать фонетической переработки в финноязычной среде, допуская квалификацию в качестве субсубстратных элементов (таковы, кажется, *Волхов*, *Тулбля*, см. анализ в [Васильев 2004: 163, 169]). Вряд ли всю эту сумму фактов можно объяснить одним только вовлечением части балтов в процесс славянской колонизации. Тезис о наличии в регионе слоя собственно западнобалтийских названий пока недостаточно подкреплен конкретным материалом. Названия, отсылающие к западным балтам, действительно встречаются в Ильмень-Волховском бассейне (таково, например, зап.-балт. *Стабенка*, хотя есть и вост.-балт. *Осьма*). Вместе с тем известно, что вопрос о диалектной дифференциации древних балтизмов в лесной зоне Восточной Европы еще далек от разрешения, так называемый днепровский балтийский с диалектной точки зрения остается неясным и неопределенным [Дини 2002: 70].

Тесные культурные связи Приильменья с областями днепровских и поочских балтов в I-й половине I тыс. н.э. все чаще констатируются в свете археологических данных. «В первые века н.э. Приильменье, как и западная часть Волго-Окского междуречья, переживает единые культурные процессы, выразившиеся в появлении на данных территориях элементов культуры, имеющих средне- и верхнеднепровское происхождение (керамика типа «среднего слоя Тушемли», грузики дьякова типа и т. д.)» [Носов и др. 2002: 14]. Для диагностирования дославянских новгородско-днепровских культурных связей в ближайших окрестностях оз. Ильмень, надо полагать, существенную значимость имеет исследование раннесредневекового городища на р. Маята близ юго-восточного ильменского побережья. Наличие слабопрофилированной и подлощенной керамики, особен-

ности фортификационных сооружений и домостроительства на этом городище (равно как на городище Сельцо и на селище Прость в приильменской низине) указывают на то, что в середине – третьей четверти I тыс. н.э. на берегах оз. Ильмень складывается общность, близкая культуре Тушемли-Банцеровщины. «Городок на Маяте» был в этот период родовым городком, мало отличавшимся от сотен других городищ этой культуры [Ермеев 2007], которую, как известно, локализуют в междуречье Западной Двины, Днепра и Немана, т.е. в центре старой балтийской территории. Весьма показательным при этом, что топонимическое изучение юго-восточного побережья оз. Ильмень – окрестностей «Городка на Маяте» – выявило в этом микрорайоне выразительное «гнездо» названий древнебалтийского происхождения (см. выше), примыкающее с юга к Полавному бассейну с его густым балтийским топонимическим фоном. Сочетание этих факторов позволяет наметить преимущественные пути освоения балтами ближайших окрестностей Ильменя и Новгорода: эти пути шли от Селигера по р. Поле и ее притокам, далее к юго-восточному и восточному побережью Ильменя, откуда балты проникали еще севернее – на Волхов.

Наконец нельзя не обратить внимания на сходство выводов гидронимии и археологии в том, что территория, очерченная границей распространения гидронимических балтизмов на Русском Северо-Западе, отчасти соответствует ареалу псковско-боровичских длинных курганов V–VIII вв. н.э., особенно на северо-западе, северо-востоке и востоке региона (о распространении курганов см., в частности [Седов 1999: 117–128, рис. 27]). Археологи признают наличие в этой культуре как финских, так и балтийских элементов. По мнению В.Я. Конецкого [Конецкий 1997: 219], в данном отношении эта культура предстает как определенная параллель дьяковской культуре, в составе которой подобным же образом при «текстильной» основе (объединяющей дьяковскую культуру с остальными финно-угорскими древностями) отчетливо прослеживается балтийский этнокультурный компонент [Розенфельдт 1974]. По крайней мере восточнее и севернее территории распространения длинных курганов балтийский гидронимический слой сходит на нет. Явная разреженность этого слоя в бассейне Шелони, в нижнем левобережье Ловати и на западном побережье Ильменя тоже выразительно коррелирует с тем фактом, что в обозначенном субареале длинные курганы не выявлены (их отсутствие здесь связывают с ландшафтно-хозяйственными условиями [Лебедев 2001: 36]). Но, наряду со сходством, очевидны и моменты расхождения топонимических и археологических данных; основное расхождение видится в том, что на «бескурганном» восточном побережье Ильменя как раз приходится густой слой балтизмов, пожалуй, наиболее выразительный во всем регионе Новгородской земли. Все это подразумевает, что новгородские топонимические балтизмы хронологически разнородны и появление их в этом регионе не связано с волной какого-либо одного населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агеева 1980а – *Р.А. Агеева*. Гидронимия балтского происхождения на территориях псковских и новгородских земель // *Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов*. Рига, 1980.
- Агеева 1980б – *Р.А. Агеева*. Славянские, балтийские и финно-угорские элементы в топонимии Русского Северо-Запада // *Перспективы развития славянской ономастики*. М., 1980.
- Агеева 1981 – *Р.А. Агеева*. Проблемы межрегионального исследования топонимии балтийского происхождения на восточнославянской территории // *Балто-славянские исследования 1980*. М., 1981.
- Агеева 1985 – *Р.А. Агеева*. Происхождение имен рек и озер. М., 1985.
- Агеева 1989 – *Р.А. Агеева*. Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации. М., 1989.
- Аникин 1998 – *А.Е. Аникин*. Этимология и балто-славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии. Материалы для балто-славянского словаря. Новосибирск, 1998. Вып. 1 (*a- - *go-).
- Аникин 2005 – *А.Е. Аникин*. Опыт словаря лексических балтизмов в русском языке. Новосибирск, 2005.
- Бірыла 1969 – *М.В. Бірыла*. Беларуская антрапанімія. 2: Прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі. Мінск, 1969.

- Васильев 2001 – *В.Л. Васильев*. Метонимическое калькирование архаических гидронимов в Приильменье // Топонимия и диалектная лексика Новгородской земли. Великий Новгород, 2001.
- Васильев 2002а – *В.Л. Васильев*. Древнеславянская гидронимия в Приильменье // Вестник Новгородского гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. Великий Новгород, 2002. № 21.
- Васильев 2002б – *В.Л. Васильев*. К вопросу о балтском топонимическом наследии в Новгородском регионе // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Материалы науч. конф. 2001–2002 гг. Ч. 1. Великий Новгород, 2002.
- Васильев 2002в – *В.Л. Васильев*. К проблеме этноязыкового субстрата в Приильменье и Поволховье // Русская диалектная этимология: Мат-лы IV Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 22–24 октября 2002 года). Екатеринбург, 2002.
- Васильев 2003 – *В.Л. Васильев*. Очерки новгородской субстратной топонимии (др.-балт. *Должино, Цемена*) // Проблемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий: Мат-лы II Всероссийской науч.-практ. конф. Ч. II. Воронеж, 2003.
- Васильев 2004 – *В.Л. Васильев*. Древнеславянская гидронимия новгородско-псковских земель // Вестник Российского ун-та дружбы народов. М., 2004. № 2.
- Васильев 2007 – *В.Л. Васильев*. Древнебалтийская топонимия в регионе Новгородской земли // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 21. Великий Новгород, 2007.
- Васильев, Вихрова 2006 – *В.Л. Васильев, Н.Н. Вихрова*. Архаические гидронимы с фаунистической семантикой на побережье озера Ильмень // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Великий Новгород, 2006.
- Гусельникова 1996 – *М.Л. Гусельникова*. Полукальки русского Севера как заимствованный словообразовательный тип топонимов // Ономастика и диалектная лексика. Екатеринбург, 1996.
- Дини 2002 – *П. Дини*. Балтийские языки / Пер. с итал. М., 2002.
- Ермеев 2007 – *И.И. Ермеев*. Комплексные исследования в Восточном Приильменье в 2006 г. // Доклад, прочитанный на науч.-практ. конф. «Новгород и Новгородская земля: История и археология» (Великий Новгород, 23–25 января 2007 г.).
- Жучкевич 1974 – *В.А. Жучкевич*. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974.
- Конецкий 1997 – *В.Я. Конецкий*. К вопросу о формировании культуры длинных курганов // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1997.
- Конецкий 1998 – *В.Я. Конецкий*. Славянская колонизация Северо-Запада в отечественной исторической и археологической литературе // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1998.
- Короткевич 2001 – *Б.С. Короткевич*. Днепродвинцы на севере. О начале раннего железного века в Приильменье // Миграции и оседлость от Дуная до Ладоги в первом тысячелетии христианской эры. Пятое чтение памяти Анны Мачинской. СПб., 2001.
- Крайнов 1987 – *Д.А. Крайнов*. Фатьяновская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР / Археология СССР. М., 1987.
- Лебедев 2001 – *Г.С. Лебедев*. Верхняя Русь по данным археологии и древней истории // Очерки исторической географии: Северо-Запад России: Славяне и финны. СПб., 2001.
- Матвеев 1993 – *А.К. Матвеев*. Субстрат и заимствование в топонимии // ВЯ. 1993. № 3.
- МБ – Мікратапанімія Беларусі (Матэрыялы) / Под рэд. М.В. Бірыла, Ю.Ф. Мацкевіч. Мінск, 1974.
- Муллонен 2002 – *И.И. Муллонен*. Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск, 2002.
- Мызников 2004 – *С.А. Мызников*. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб., 2004.
- Невская 1972 – *Л.Г. Невская*. Словарь балтийских географических апеллятивов // Балто-славянский сборник. М., 1972.
- НОС – Новгородский областной словарь / Отв. ред. В.П. Строгова. Новгород, 1992–1995. Вып. 1–12; Великий Новгород, 2000. Вып. 13.
- Носов и др. 2002 – *Е.Н. Носов, В.Я. Конецкий, А.Ю. Иванов*. Комплекс археологических памятников в долине р. Бслоу в контексте древней истории Северо-Запада России (итоги и перспективы изучения) // У истоков Новгородской земли. Любытинский археологический сборник. Вып. 1. Любытино, 2002.
- НПК – Новгородские писцовые книги, изданные императорской Археографической комиссией. СПб., 1859–1910. Т. I–VI.
- Орел 1997 – *В.Э. Орел*. Неславянская гидронимия бассейнов Вислы и Одера // Балто-славянские исследования 1988–1996. М., 1997.
- Основания 1999 – Основания регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон Европейской России. СПб., 1999.

- Откупщиков 2001 – Ю.В. *Откупщиков*. Балтийские гидронимы Мордовии // Ю.В. Откупщиков. *Oregra philologica minora* (Античная литература. Языкознание). СПб., 2001.
- Откупщиков 2004 – Ю.В. *Откупщиков*. Древняя гидронимия в бассейне Оки // Балто-славянские исследования. XVI. Сб. науч. тр. М., 2004.
- Откупщиков 2005 – Ю.В. *Откупщиков*. О так называемых «речных суффиксах» -ша и -кша в гидронимии бассейна Оки // Ономастика в кругу гуманитарных наук: Мат-лы междунар. науч. конф. Екатеринбург, 2005.
- ПKNЗ – Писцовые книги Новгородской земли / Сост. К.В. Баранов. М., 1999–2004. Т. 1–5.
- Попов 1981 – А.И. *Попов*. Следы времен минувших. Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Л., 1981.
- Розенфельдт 1974 – И.Г. *Розенфельдт*. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская культура. М., 1974.
- Седов 1971 – В.В. *Седов*. Балтская гидронимика Волго-Окского междуречья // Древнее поселение в Подмосковье, М., 1971.
- Седов 1999 – В.В. *Седов*. Древнерусская народность: Историко-лингвистическое исследование. М., 1999.
- Смолицкая 1976 – Г.П. *Смолицкая*. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976.
- Топоров 1962 – В.Н. *Топоров*. Некоторые задачи изучения балтийской топонимии русских территорий // Географические названия. Вопр. географии. № 58. М., 1962.
- Топоров 1972 – В.Н. *Топоров*. «Baltica» Подмосковья // Балто-славянский сборник. М., 1972.
- Топоров – В.Н. *Топоров*. Прусский язык. Словарь. М., 1975–1990. Т. 1–5.
- Топоров 1982 – В.Н. *Топоров*. Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования 1981. М., 1982.
- Топоров 1995 – В.Н. *Топоров*. О северо-западнорусском локусе балтийской гидронимии (из цикла *По окраинам древней Балтии*) // *Res Balticae*. Pisa, 1995.
- Топоров 1998 – В.Н. *Топоров*. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. III // Балто-славянские исследования 1988–1996. М., 1998.
- Топоров 1999 – В.Н. *Топоров*. Балтийский элемент в Новгородско-Псковском ареале (общий взгляд) // Великий Новгород в истории средневековой Европы: К 70-летию В.Л. Янина. М., 1999.
- Топоров 2000 – В.Н. *Топоров*. О балтийском слое русской истории // *Florilegium*: К 60-летию Б.Н. Флори. М., 2000.
- Топоров 2001 – В.Н. *Топоров*. К вопросу о «новгородско-литовском» пространстве и его языковой характеристике (по материалам XIII–XV веков) // *Res Balticae*. V. 7. Pisa, 2001.
- Топоров, Трубачев 1962 – В.Н. *Топоров*, О.Н. *Трубачев*. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
- Фасмер – М. *Фасмер*. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачев. М., 1986–1987. Т. 1–4.
- Хабургаев 1980 – Г.А. *Хабургаев*. Становление русского языка. М., 1980.
- Хенгст 2001 – К. *Хенгст*. Древнеславянские гидронимы у восточных славян // Ономастика Поволжья. М., 2001.
- Шилов 1999 – А.Л. *Шилов*. Заметки по исторической топонимике Русского Севера. М., 1999.
- Яшкін 1971 – І.Я. *Яшкін*. Беларускія геаграфічныя назвы. Мінск, 1971.
- Endzelin 1934 – J. *Endzelin*. Die lettländischen Gewässernamen // *ZSIPh*. Leipzig, 1934. Bd. XI.
- Endzelins 1956–1961 – J. *Endzelins*. Latvijas PSR vietvārdi. D. I. 1–2. Riga, 1956–1961.
- Krahe 1954 – H. *Krahe*. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.
- Krahe 1964 – H. *Krahe*. Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden, 1964.
- LATS – Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas. Vilnius, 1959.
- LATSŽ – Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. Vilnius, 1976. II dalis.
- LUEV – Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. Vilnius, 1963.
- Schall 1965 – H. *Schall*. Baltische Dialekte im Namengut Nordwestslawiens // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der idg. Sprachen*, 79. Göttingen, 1965.
- Schall 1970 – H. *Schall*. Preussische Namen längs der Weichsel // *Donum Baltikum to Professor Chr.S. Stang*. Stockholm, 1970.
- Schmid 1987 – W.P. *Schmid*. Beiträge zur Bestimmung der baltischen Westgrenze // *Baltistica*. Baltų kalbų tyrinėjimai. Vilnius, 1987.
- Vanagas 1981 – A. *Vanagas*. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
- Vasmer 1934 – M. *Vasmer*. Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. I. Die Ostgrenze der baltischen Stämme; II. Die ehemalige Ausbreitung der Westfinnen in den heutigen slawischen Ländern / Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (philos.-hist. Klasse). Berlin, 1932–1934.

© 2008 г. Ж. БАГАНА

**ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЕКСИКИ
НА АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ**

(на материале французского языка Республики Конго
и Демократической республики Конго)

В статье рассматриваются семантические сдвиги во французском языке на африканском континенте (сужение, расширение, смешение значений, метафора и метонимия, эвфемизмы, стилистические преобразования). Исследуются также африканские заимствования во французском языке Африки.

Французский язык в Африке – язык, развивающийся в многоязыковой и многокультурной ситуации. Он находится в сердце богатой мозаики из местных языков и языков, привнесенных с других континентов. В то же время иллюзорным можно считать мнение, что франкоязычному африканцу французский язык представлен во всей своей целостности и полноте. В африканских условиях французский язык находится в стадии интеграции и носит следы взаимопроникновения различных кодов и диалектов, свойственных определенной местности, и буквально заполнен лексико-семантическими особенностями. Чтобы убедиться в этом, достаточно прислушаться к речи местных жителей или полистать национальную прессу на французском языке: здесь отклонения от центральнофранцузской нормы наиболее заметны. В данной статье предпринята попытка классификации и описания наиболее ярких примеров из французского языка Республики Конго и Демократической республики Конго. К сожалению, объем статьи не позволяет привести примеры из других африканских вариантов языка; отметим лишь, что изменения, возникающие во французском языке вследствие его использования в новых языковых и культурных условиях, практически во всех франкоязычных странах континента имеют общие черты. На основании многочисленных исследований зарубежными лингвистами (С. Лафаж, С. Нсьяль, О. Массуму, Л. Дюпоншель, А. Кеффелек, Р. Мони) изданы словари французского языка Африки в целом и по отдельным регионам. Среди отечественных ученых следует отметить В.М. Дебова и В.Т. Клокова.

Материалы, представленные в словарях, позволяют говорить, что измененная французская лексика делится на две группы:

- 1) лексика, претерпевшая семантические изменения;
- 2) лексика, претерпевшая изменения по форме.

Семантические изменения

Сужение значения. Словарный состав французского языка в Африке, как и словарь любого другого языка в мире, в ходе своего развития претерпевает определенные семантические изменения. Так, в связи с тем, что распространенным способом словообразования является изменение значения слова, в словах французского языка, в частности, отмечаются случаи сужения значения, и многие слова французского языка претерпели смысловую специализацию [Багана 2003: 27]. Так, слово *engin* «механизм» приобрело три узких значения:

1) «транспортное средство на двух колесах»:

Les contrevenants ne rentreront en possession de leur engin qu'en s'acquittant de la contravention. «Нарушители получают свое транспортное средство только после уплаты штрафа».

2) «диктофон»;

3) «микрофон».

Специфическим образом во французском языке Африки функционирует слово *dépense*, обозначающее сумму денег, предназначенную для покупки продуктов на один день.

Des maris accusent leurs épouses de détourner une partie de la dépense quotidienne. «Мужья обвиняют своих жен в растрате денег на ежедневные покупки».

Французское слово *ancien* в Африке и Франции не всегда означает одно и то же. В Африке *ancien* может означать студента, отучившегося по крайней мере один год в университете Marien Ngouabi.

Les anciens font peur aux palins au sujet des études à l'Université. «Студенты старших курсов пугают молодежь учебой в университете».

Но *ancien* также может означать военного, старшего по званию:

Ancien! Dans quel corps es-tu maintenant? «Командир, в какой части ты сейчас служишь?».

Данное слово особенно распространено среди студентов и солдат.

Широкое использование в Африке получил глагол *préparer* «готовить», обозначающий «готовить пищу», «заниматься кухней» (*faire la cuisine, préparer le repas, cuisiner*).

De cette cassure échappera le gaz qui ne tardera à être fasciné par le feu attisé dans la cuisine où prépare Céline. «Из этой трещины будет утекать газ, который займется пламенем, зажженным на кухне, где готовит Селин».

Parisien: в результате семантической эволюции слово «парижанин» в Африке стало применяться для обозначения «молодого авантюриста, поехавшего в Париж, чтобы купить одежду (дорогую и красивую) и по возвращении домой прихвастнуть этим».

Необходимо подчеркнуть, как утверждает В. Баль, значимость и различие африканизмов, существующих во французском языке Центральной Африки, некоторые из которых ставят под угрозу целостность франкоязычного мира. Эти особенности, нарушающие морфосинтаксическую и фонологическую структуру французского языка, довольно часто встречаются в Африке и должны привлекать внимание исследователей французского языка [Bal 1974: 15, 27].

Расширение значения. Во французском языке Африки многие слова, наоборот, испытывают расширение значения. Кроме значения, свойственного центральнофранцузскому варианту, следующая лексика принимает новые значения, обычно передаваемые во французском языке Франции другими словами. Подобные случаи имеют под собой, как правило, интерференционную базу. Например:

Frère «брат» и *papa* «отец» – уважительное обращение ко всем лицам определенного возраста мужского пола.

Так как системы родственных связей в Европе и Африке не совпадают, то французская лексика на территории континента приобрела специфическую предметную и понятийную отнесенность. В основе африканской системы родства лежит принцип, в соответствии с которым все члены общества одного поколения являются братьями и сестрами, даже если, с точки зрения европейца, родственные связи отсутствуют [Клоков 2000: 117].

При обращении к представителям поколения отцов французские слова *père* и *mère* используются для обозначения людей старшего поколения.

Лексема *frère* (брат) в Африке в первую очередь относится к «двоюродному брату» или к «любому индивиду мужского пола данной семьи и того же поколения».

Papa et Jean Taty sont deux frères et deux amis d'enfance... «Папа и папа Жан – два брата и два друга детства».

Frère также обозначает любого человека того же возраста, с которым есть что-то общее (клан, этнос, страна, континент, дружба):

Maboundou, le meilleur ami de Kitounga, était sur des épines depuis midi. Il ne se risqua pas à aller les voir pour leur demander le motif de celui qu'il appelait familièrement «mon frère». «С самого полудня Мабунду, лучший друг Китунга, был как на иголках. Он не рискнул к ним пойти, чтобы спросить о мотиве у того, кого он просто называл “мой брат”».

Третье значение слова *frère* указывает на человека, с которым говорящий находится в особых отношениях.

On m'a dit que j'ai reçu de l'argent d'un président frère et que sa femme m'avait apporté cet argent à Point-Noire. «Мне сказали, что я получил деньги от президента и что его жена мне их привезла в Пуэнт-Нуар».

Во французском языке африканских стран термин *papa* более эмоционально окрашен, чем *père*. Его значение переключается со значением слова *frère* «человек, внушающий уважение в силу своего возраста»:

Mais voilà, Monsieur le juge est un monsieur, lui. Devant des gens comme lui, moi, je m'incline. Je me mets à genoux, même dans la boue. Par respect. Oui, il arrive qu'on appelle le juge «papa», en signe de profond respect «Вот, господин судья – это человек. Перед такими людьми, как он, я преклоняюсь. Я встаю на колени, даже в грязи. Из уважения. Да, случается, что судью называют отцом в знак глубокого уважения». Данная лексема следующим образом используется журналистами газеты «La Semaine»: *Pendant la messe, le vieux papa, Germain Ombara, qui assistait à cette messe, sortit* «Во время службы папаша Жермен Омбара, который присутствовал на службе, вышел из церкви».

Не будучи семантической калькой, некоторые французские слова расширяют свое семантическое поле в ходе контакта африканских языков. Так, слово *oncle*, которое преимущественно означает «брат отца или матери», может также указывать на любого родственника или друга того же поколения. Нередко в Африке это слово может означать «жених» или «муж»: *qu'est qu'on joue, oncle? – lui demande celle qui venait derrière lui* «Что играют, дядя, – спросила та, что шла позади».

Смещение значения. Смещение значения – одно из распространенных средств обогащения лексики французского языка Африки. Нередко африканские писатели в своих произведениях используют слова *madame* и *dame* «замужняя женщина, госпожа», имея в виду женщину-европейку. *Madame* в понимании африканцев – это белая женщина, независимо от того, замужем она или нет:

C'est qu'il a vécu chez eux. Quelque chose comme dix ans à Paris. Il s'y est même marié à une madame. J'ai vu la photo de leur fils. Un beau petit gars. Café au lait. «Он жил у них. Что-то около 10 лет в Париже. Он даже женился там на белой. Я видел фотографию их сына. Красивый мальчик. Кофе с молоком».

Как отмечает Ж.П. Макута-Мбуку, данное изменение значения во многом обязано влиянию лингвистического труда, написанного священником и озаглавленного «Лари-французский» (*Lari-Français*). В этой работе слово *madame* переводилось как «белая женщина», а слово *monsieur* – «белый мужчина». Но если сегодня слово *monsieur* вернулось в пределы традиционного значения, то слово *dame* обозначает для большинства образованных африканцев «белая женщина» [Makouta-Mboukou 1973: 70].

Безусловно, далеко не вся французская лексика ассимилировалась таким образом, но за некоторыми словами закрепились значения, отличающиеся особой спецификой. Например, *marier* «женить, выдать замуж» употребляется вместо *épouser* «жениться на ком-либо, выйти замуж за кого-либо». Исследователи обращают внимание на тот факт, что в Африке глагол *marier* в устной французской речи редко бывает местоименным (ср. франц. *Se marier avec qn*) и может присоединять к себе прямое дополнение. В отдаленных сельских регионах можно услышать: *Cette fille me plaît; je vais la marier* (вместо общезападного *je vais l'épouser*). «Эта девушка мне нравится; я на ней женюсь». Однако литературные нормы запрещают подобное использование глагола и требуют сохранения за ним только общеязыкового значения «женить, выдать замуж» при строгой дифференциации местоименной формы. Высокая частота встречаемости данного явления наводит на мысль, что оно могло быть вызвано потребностями говорящих в упрощении возвратной конструкции с предлогом и в более четком

стилистическом разграничении *marier* с синонимом *épouser*, который оказался невос-
требуемым в разговорной речи в силу присущего ему оттенка книжности.

Soupe – во Франции «суп» (густой бульон с кусочками хлеба или овощами). В Африке слово *soupe* часто является синонимом слова *sauce* «соус, подливка». Случается, что даже образованные африканцы просят у повара или жены подать «жаркое без супа» (*sans soupe*), имея в виду «без соуса». Что касается самого супа, то в Африке он имеет густую протертую консистенцию и большинство темнокожих африканцев его пьют, а не едят.

Слово *rival* во Франции означает «человек, стремящийся к тем же достижениям, выгодам, что и другой». В Африке изначально *rival* употреблялось в значении «другая жена полигама» (между двумя женами, естественно, возникало соперничество и ревность). Потом оно было перенесено и на другие виды родственных отношений. В речи местного населения это слово часто имеет значение французских слов *beau-frère*, *belle-soeur*, указывая на двух молодых людей, женившихся на сестрах, или двух девушек, вышедших замуж за братьев.

Kilo (kilogramme): «кило (килограмм) – мера веса, равная 1000 граммам». Это французское значение хорошо известно образованным жителям. Для остального населения данное слово ассоциируется с медицинскими центрами, где следят за весом грудных детей. Женщины, чаще всего неграмотные, слыша это слово при взвешивании детей, называют им и само учреждение.

J'attends ma femme qui est allée au kilo. «Я жду жену, которая пошла взвесить ребенка в больницу». [Makouta-Mboukou 1973: 72].

На основе слова *kilo* возникло выражение *aller au kilo* «ходить в больницу для взвешивания ребенка»:

Tous les mois il faut aller au kilo pour l'enfant. «Каждый месяц ребенка надо водить на взвешивание».

В подобных условиях европейцам бывает очень сложно догадаться о том, что хочет сказать франкоязычный африканец, так как здесь слова не только часто подбираются с трудом, но и сильно искажаются фонетически и семантически.

Метонимические и метафорические переносы. Эти явления лежат в основе создания многочисленных лексических единиц во французском языке Африки. В результате метонимии одни лексические единицы заменяются другими по причине смежной связи (отношения) между различными предметами. Смежный смысл двух слов, включенных в данное средство (метонимию), обязывает говорящих называть содержимое содержащим или, наоборот, причину заменять следствием, знак явлением и т.д. Например, как известно, словом *bureau* первоначально называлась ткань из верблюжьей шерсти. Затем им стали называть стол, покрытый этой тканью, комнату с таким столом (или столами), отдел учреждения или даже целое учреждение, людей, работающих в этом учреждении, и, наконец, заседание этих людей. С помощью синекдохи (разновидности метонимии) целое именуют частью, часть – целым, материал предметом и, наоборот, единственное число заменяют множественным. Данное средство породило множество семантических африканизмов. Приведем несколько примеров: Слово *cadet* является сокращением от *cadet de la révolution* «ребенок или подросток, обучающийся в военной школе (училище)»:

Les soldats ne veulent pas payer l'entrée... cet exemple est fidèlement suivi par les cadets. Que se passerait-il si tous les élèves et étudiants de la Capitale, si tous les infirmiers de la Capitale entraient gratuitement au stade? [La Semaine 1/6/75] «Солдаты не хотят платить за вход... этому примеру следуют и кадеты. Что произойдет, если все учащиеся и студенты столицы, все санитары столицы будут проходить на стадион бесплатно?»

В Африке судьба и удача тесно связаны с понятием «гороскоп»:

C'est mon horoscope, j'ai gagné à la Tombola. «Это просто судьба, что я выиграл в Томбола (в лотерее)».

J'arrive... c'est elle, quel horoscope. «Я приезжаю... это она, какая удача».

Другим примером может служить слово *long* «длинный», которое в метонимическом смысле означает «литровая бутылка красного вина». Яркий пример использования этого слова даст журнал «La Forêt»:

Ah! D'abord viens boire un long. – «А! Выпей-ка сначала бутылочку красного вина». [La Forêt 10/1980: 28].

К синекдохе можно отнести также слово *théâtre* «театр», которое может употребляться в качестве обозначения конкретных понятий, входящих в понятийное поле данной лексической единицы, и использоваться для обозначения как театра, так и театральной постановки:

La marmite de Koka-Mbala est un beau théâtre. Je l'ai vu au C.E.F.R.A.D. «Котел Кока-Мбала – хороший спектакль. Я видел его в драматическом театре в Конго».

Следует отметить, что в письменной литературной речи проводится четкое разграничение соответствующих понятий, охватываемых в устном общении единым словом *théâtre*.

Часто метафора, передающая образ и оживляющая слово, становится проявлением африканского темперамента. Однако некоторые метафорические переносы настолько ассимилировались, что не считаются таковыми; другие, более поздние, сохраняют свою выразительную силу. Например, словом *bureau* «бюро» называют «любовницу, женщину, находящуюся на содержании у женатого мужчины, обычно втайне от жены»:

L'amour n'existe donc plus? L'argent a-t-il tout pourri? Voilà des questions anodines que bon nombre de bien pensants se posent...vu la recrudescence dans nos cités de la prostitution et du phénomène deuxième bureau [Mweti 6/1/79]. «Любовь больше не существует? Деньги все испортили? Вот вопросы, которыми задаются большинство здравомыслящих граждан, наблюдая за ростом проституции в пригородах и за явлением «вторых жен»».

Madame dit qu'une grande partie du salaire de son mari tombe dans les mains des bureaux [Congo-Magazine 1/87: 47]. «Мадам считает, что большая часть зарплаты ее мужа оседает в руках любовниц».

Эвфемизация. Как известно, с помощью эвфемизмов грубым понятиям придают более мягкую, сглаженную форму. Если африканец говорит *qu'il traite* «он обращается» / *qu'il coopère* «он сотрудничает», то имеет в виду, что кто-то пытается получить выгоду или услугу. В другом контексте это означает «иметь сексуальные отношения» (*Il voulait qu'on traite / que je traite avec lui* – «Он хотел, чтобы вступали в сексуальные отношения с ним»). То же значение имеет и глагол *profiter* «использовать» (*Ce garçon voulait me profiter* «Этот парень хотел мной попользоваться») или выражение *faire le sixième commandement* – «исполнить шестую заповедь» (*Tu n'as pas encore fait le sixième commandement?* «Ты ещё не исполнил шестую заповедь?»). Кувшин для вина называют *sac de ciment* «мешок с цементом». В студенческом аргументе эвфемизация – очень распространенное явление. Например, можно встретить выражения *petit frère* «младший брат» («мужской половой орган»); *importer* – «импортировать, вывозить» в значении «приглашать к себе женщину с целью интимных отношений».

Коннотативные изменения. В Африке некоторые формы центрально-французского варианта претерпевают изменения, связанные с появлением у них специфических семантических наложений (коннотаций). Речь, в большинстве случаев, идет о словах, утративших или, наоборот, приобретших негативный оттенок в сравнении с французским языком Франции. Например, *affairiste* «делец, спекулянт» имеет более общее значение. Это слово может быть также использовано для обозначения разного рода жуликов, предметов, явлений или занятий, которые не могут (или не хотят) называть. Посредством данного слова ссылаются на коммерческую деятельность или любовные отношения, которые хотят держать в секрете.

Cet affairiste n'a rien fait pour mon dossier alors que je lui ai donné de l'argent. «Этот аферирист ничего не сделал для оформления моих документов, хотя я ему заплатил».

Широко используемое слово *bureaucrate* «бюрократ» приобрело несколько дополнительных значений. В частности, им называют не только сотрудника конторы, но и

любого госслужащего. При этом в Африке распространено очень позитивное отношение к карьере чиновника.

Dans la brousse reculée, chacun a compris que le fonctionnaire aux mains blanches gagne beaucoup sans grand travail... A ce gentil écolier d'Ouessou, dans l'avion de Brazzaville je demandai: Que feras-tu? Je serai bureaucrate «Даже в отдаленных деревнях люди поняли, что госслужащие хорошо зарабатывают без особого труда. В самолете из Браззавиля я задал вопрос школьнику из Уэссо: Кем ты будешь? – Бюрократом».

Коннотативные изменения можно наблюдать и в случае со словом *intérieur* «внутренние районы», которым называют провинцию (часть страны, противопоставляемую столице, то есть не слишком уважаемую часть страны). В 1987 году спортивный обозреватель газеты «Mweti» заметил:

Suco-sport de Nkayi est l'unique formation de l'intérieur qui a obtenu une victoire à Brazzaville face à Kotoko [Mweti 24/2/87] «Сюко-спорт – единственная команда из провинции, победившая в Браззавиле Котоко».

Коннотативное значение слов связано с «социальным положением говорящего», и многочисленные коннотативные изменения зависят от языкового регистра: глагол *démerder* «выкрутиться» не является таким вульгарным, как во Франции, а совпадает по своему значению со словом *se débrouiller* «выкрутиться»; так же *bonniche* «служаночка» и *en pagaille* «в беспорядке, как попало» утратили свое первоначальное значение; технический термин *matrice* «матрица» сменил регистр и получил новое значение «женский половой орган».

Французский язык африканских стран характеризуется смешением регистров. Данная концепция позволяет сделать определенные выводы относительно изменений и наложений регистров, специфических для устной и письменной речи.

Стилистические преобразования. Существование в языке стилистических уровней требует определенной категоризации и иерархизации лексических элементов и, таким образом, лингвистических единств, соответствующих социальным группам, которые их используют в зависимости от ситуации общения.

По мнению С. Нсяль, заимствованная лексика при переходе в другой язык часто лишается всяких коннотативных наложений [N'Sial 1993: 78]. Случается, что малообразованный или необразованный житель рассматривает соответствующую лексику как взаимозаменяемую во всех контекстах. Так, многие слова, относящиеся в центральнофранцузском варианте к разговорному стилю или просторечию или же, наоборот, к высокому стилю, используются как нейтральные. Например, слово *houffer* «жрать» (просторечие) равнозначно *manger* «есть» (нейтральный стиль): *On a mis en prison le caissier parcequ'il avait bouffé (mangé) l'argent.* «Кассира посадили в тюрьму, потому что он украл деньги»;

bagnole «тачка» = *voiture* «машина»,

tagot «кубышка, заначка» = *argent* «деньги»,

Zaïrois «житель Заира» = *imbécile* «дурак».

В дружеской переписке можно встретить вполне официальные формулировки: *j'ai l'honneur* «имею честь»; *dont l'objet ci-émargé* «что касается вышесказанного»; *veuillez agréer* «с уважением».

Mon cher ami, j'ai l'honneur de vous parler de ma santé. «Мой дорогой друг, имею честь рассказать вам о своем здоровье».

Veuillez agréer, cher ami, mes salutations les plus cordiales. «Дорогой друг, примите мои наилучшие пожелания».

Из сказанного выше видно, что стилистическая принадлежность французской лексики в африканском контексте нередко приобретает свои специфические черты. В отличие от Франции использование слов, относящихся к различным регистрам, не всегда связано с ситуацией общения. Так, африканец может разговаривать со своей женой и детьми так, как он это делает на работе, и наоборот. В связи с этим возникает вопрос о соответствии регистров центральнофранцузского варианта особенностям функционирования французского языка в африканских условиях.

Семантическое калькирование. Как известно, наиболее простым и показательным видом взаимодействия языков является прямое заимствование, которое заключается в том, что один язык перенимает из другого готовые материальные единицы – слова, морфемы (с теми или иными изменениями, обусловленными спецификой заимствующего языка) – и их семантику (полностью или частично в соответствии с условиями заимствования). Однако наряду с прямыми заимствованиями влияние иной языковой системы обнаруживается в появлении языковых единиц, называемых кальками, суть которых заключается в заимствовании значения иноязычного слова.

Не избежал подобного влияния и французский язык африканских стран. Некоторые слова и выражения африканского варианта французского языка отражают просто перевод лексических единиц из местных языков. Речь чаще всего идет о лексике, обозначающей родственные связи. В данной категории можно отметить такие синтагмы, как *frère même père* (от киконго *mpanguilyaya ya tata dimossi* и от лингала *lékilyaya ya tata moko*) «младший/старший брат по отцу» и *frère même mère* (от киконго *mpanguilyaya ya mama dimossi* и от лингала *lékilyaya ya mama moko*) «младший/старший брат по матери», а также *frère même père même mère* (от киконго *mpanguilyaya ya moyo mossi* или *mpanguilyaya ya mama i tata dimossi* и от лингала *lékilyaya ya hotama moko* или *lékilyaya ya mama i tata moko*) «младший/старший брат по отцу и по матери». К этой группе можно добавить слова *mère cadette* «младшая мать» (от киконго *mama ya ndeki* и от лингала *mama léki* «младшая сестра матери») и *père cadet* «младший отец» (от киконго *ngouankazi* «младший брат отца»).

Mama léki (mère cadette) est arrivée hier du village. «Мамина младшая сестра вчера присхала из деревни».

Notre ngouankazi (père cadet) vend des sola au marché Bouemba. «Младший брат нашего отца торгует поношенной одеждой на рынке Буэмба».

Также в сфере родственных связей часто встречаются составные слова: *grand frère* «старший брат» (от киконго и лингала *yaya mobali* «лицо мужского пола, одного поколения, но немного старше»); *grande soeur* «старшая сестра» (от киконго и лингала *yaya mwasi* – то же самое, но касается особ женского пола).

Но слово *grand* может быть применено также к уважаемой личности и к человеку высокого социального ранга: *Bonsoir Landu, tu attends une seconde... Tout le monde sait qu'avec les grands (yaya) une seconde peut avaler des semaines, des mois, des années.* – Добрый вечер, Ланду, подожди секунду... Все знают, что у начальников секунда может длиться неделями, месяцами и годами.

Одно из распространенных выражений в Африке *manger quelqu'un* (от киконго *dia mi ntu* и от лингала *ko lia moto*) «сглазить, известить человека с помощью колдовства» – отражает традиционное африканское понятие о том, что человек не может умереть сам по себе, а всегда должен существовать виновник, который якобы навел порчу. Как правило, виновного ищут среди представителей старшего поколения семьи умершего. Хотя многие традиции канули в Лету, данное представление продолжает существовать и по сей день. Например: *Si ce sorcier ne laisse pas mon fils tranquille, s'il finit par le manger, je ferai tout pour qu'il aille lui tenir compagnie sous terre* «Если этот колдун не оставит моего сына в покое, если он его съест, я сделаю все, чтобы он ему составил компанию на том свете».

Вышеуказанные примеры иллюстрируют механизм переноса разнообразных значений из африканских слов и выражений в лексику французского языка Африки.

Гибридизация (скрещивание). Во французском языке Африки отмечаются многочисленные случаи скрещиваемой лексики, элементы которой происходят из разных языков. Так, на основе английского слова *boy* «мальчик, слуга» образуются следующие гибриды:

boyerie (гибрид из англ. и франц.) «комната для прислуги»,

boy-maison (гибрид из англ. и франц.) «домашняя прислуга»,

boy-lavadère (гибрид из англ. и порт.) «прислуга, занимающаяся стиркой и глажением белья».

В качестве элементов гибридизации встречаются следующие французские суффиксы: *-isme*, *-iste*, *-eur*, *-ier* и др. Например:

zihoulateur (гибрид из лингала и франц.) «ключ для открывания бутылок»,
foungoulateur (гибрид из мунукутуба и франц.) «ключ для открывания бутылок»,
moukandier (гибрид из банту и франц.) «пишущий письма; журналист».

Гибриды с английским суффиксом *-ing* особенно распространены в разговорной речи:

zonzing (гибрид из киконго и англ. яз.) «договоренность»,
couling (гибрид из франц. и англ. яз.) «провалить на экзамене».

Встречаются также гибридные глаголы, образованные на африканской основе с прибавлением французского суффикса *-er*. Например:

rémbéniser (гибрид из лингала и франц.) «убирать в сторону»,
domber (гибрид из киконго и франц.) «топтать на месте»,
houkouter (гибрид из киконго и франц.) «есть».

Но значительно чаще для обозначения действия используют аналитические гибриды, построенные по модели «французский глагол + африканское существительное или глагол»:

faire thiolilo (гибрид из франц. и киконго) «уйти, не попрощавшись»,
faire le ngembo (гибрид из киконго и франц.) «смотреть концерт из-за ограды, не имея билета»,
être hondowé (гибрид из лингала и франц.) «быть женщиной легкого поведения».

Как видно из примеров, гибридная лексика получила широкое распространение на территории франкоязычных африканских стран и вошла в повседневную речь местных жителей.

Лексика, претерпевшая изменения по форме

Изменения по форме вытекают из фонетических искажений заимствованных слов. В них происходят различного вида трансформации, которые выражаются в добавлении или усечении главным образом гласных звуков. Например:

1. Усечения:

а) синкопа (выпадение звука или группы звуков внутри слова):

maitesse вместо франц. *maîtresse* «любовница»,
regader вместо франц. *regarder* «смотреть»,
fofolo вместо порт. *fosforo* «спичка»,
normament вместо франц. *normalement* «нормально»,
assuance вместо франц. *assurance* «страхование»,
losque вместо франц. *lorsque* «когда»;

б) апокопа (усечение конечных звуков слова):

lape вместо франц. *lapin* «кролик»,
pardo вместо франц. *pardon* «извините»;
в) афрезис (усечение начальных звуков слова):
plinge вместо франц. *épingle* «булавка»,
déologie вместо франц. *idéologie* «идеология»,
firmier вместо франц. *infirmier* «медбрат»,
maginer вместо франц. *imaginer* «представлять»,
tener вместо франц. *amener* «вести»,
veugle вместо франц. *aveugle* «слепой».

2) Нарращения:

а) энцете́за (добавление звука или группы звуков в середине слова):

docotère вместо франц. *docteur* «доктор»,
palado вместо франц. *pardon* «извините»,

méléci вместо франц. *merci* «спасибо»,
mpalata вместо порт. *prata* «медаль»,
djieu вместо франц. *dieu* «бог»,
djix вместо франц. *dix* «десять»,
estudiant вместо франц. *étudiant* «студент»;
б) протеза (добавление звуков в начале слова):
estoyen вместо франц. *citoyen* «гражданин»,
lumeya вместо порт. *meio* «старая монета в 50 сантимов»,
çavocat вместо франц. *avocat* «адвокат»;
в) наращение конца слова:
hopitalo вместо франц. *hopital* «больница»,
boyi вместо англ. *boy* «мальчик»,
rapela вместо порт. *rapel* «бумага».

Среди вышесобозначенных изменений фонологическая трансформация – довольно частое явление в речи африканцев на французском языке. Это главным образом связано с тем, что фонетические системы языков банту и европейских языков не совпадают, и африканские франкофоны, видоизменяя французские слова, стараются приблизить их к норме родных языков и облегчают себе тем самым произношение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Багана 2003 – Ж. Багана. О сужении значения французской лексики в африканском контексте // Функционирование языковых единиц в аспекте национально-культурной специфики. М., 2003.
- Клоков 2000 – В.Т. Клоков. Французский язык в Африке. Саратов, 2000.
- Bal 1974 – W. Bal. Particularités actuelles du français d'Afrique Centrale // Bullétin d'information du groupe de recherche sur les africanismes. Lubumbashi, 1974.
- Makouta-Mboukou 1973 – J.-P. Makouta-Mboukou. Le français en Afrique Noire. Paris, 1973.
- N'Sial 1993 – S. N'Sial. La francophonie au cœur de l'Afrique. Le français zaïrois. Paris, 1993.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2008 г. Д.В. СИЧИНАВА

**СИНОНИМИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ЛИНГВИСТИКИ XX–XXI ВЕКОВ
(ЧАСТЬ I)**

В первой части статьи рассматриваются структуралистские и генеративистские подходы к описанию синонимии грамматических (словоизменительных) показателей; особо выделены работы ряда отечественных исследователей 1960–1980-х гг. (часть из которых испытала влияние структурализма). Диапазон подходов к этому явлению – от его полного отрицания, диктуемого самыми общими принципами структурализма (причем предлагалось несколько различных способов объявить синонимию «несуществующей»), до дифференцированного подхода к различным типам сосуществования синонимичных единиц.

В этой статье, состоящей из двух частей¹, мы рассмотрим некоторые предлагавшиеся в языкознании XX – начала XXI века трактовки проблемы синонимии грамматических показателей. Представленный в статье обзор никоим образом не претендует на полноту. Синонимия и «вариативность» («варьирование») – тема достаточно популярная в отечественной и зарубежной лингвистике, особенно последних пятидесяти лет, и число работ по ней очень велико; тем не менее не многие из них в том, что касается внутриязыковой синонимии словоизменительной морфологии, представляют теоретический интерес.

Сразу оговоримся также, что наше изложение ведется не в порядке строго хронологическом, а в соответствии с некоторым идеализированным вектором «от структурализма к постструктурализму», от идеи жестких оппозиций в языке и хаотичной поверхностной вариативности в речи – к идее так или иначе равноправного сосуществования параллельно возникших грамматических единиц со сходной дистрибуцией. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимает совокупность работ по синонимии и вариативности грамматических показателей, появившихся в отечественном языкознании второй половины XX в.: в чем-то они испытывают влияние различных направлений структурализма, в чем-то продолжают, по сути, прескриптивную, а не описательную традицию нормативной стилистики, а некоторые предвосхищают позднейшие принципы теории грамматикализации.

Часть I статьи посвящена структуралистским подходам и упомянутой группе отечественных работ, часть II – постструктуралистским теориям грамматической синонимии.

I. ПОДХОДЫ ЭПОХИ СТРУКТУРАЛИЗМА**1. Что такое синонимия грамматических показателей?**

Под грамматическими показателями мы подразумеваем морфемы или иные морфологические знаки (такие, как чередования, редупликации и проч.), аф-

¹ Часть II будет опубликована в следующем номере. – *Ред.*

фиксальные или корневые (например, корни вспомогательных глаголов или частицы), выражающие грамматические значения. Грамматические значения – такие значения, выражение которых обязательно для всех словоформ данного класса лексем (согласно неформальному определению, данному в [Зализняк 1967: 22–24]).

Понятие языковой синонимии – чаще применительно к лексике – имеет долгую историю, несколько конкурирующих определений и даже принципов определения (см. обзор и обширную библиографию в [Апресян 1974/1995: 216–224]). Представление о синонимии как о «семантическом тождестве», названное Ю.Д. Апресяном «естественным» [Там же: 217], долго не получало полной поддержки в лингвистике и сопровождалось различными оговорками, а иногда даже и заменялось на противоположное утверждение (восходящее еще к В. фон Гумбольдту и А.А. Потебне), согласно которому синонимия, напротив, не может усматриваться в случае полного тождества означаемых, а непременно требует определенных различий в семантике единиц, участвующих в этом отношении. В XX веке, по крайней мере в первой его половине, такая трактовка в языкознании была даже доминирующей. Ср. цитируемую Ю.Д. Апресяном обобщающую формулировку А.Б. Шапиро: «общее мнение сошлось на том, что синонимами не являются слова различного звукового состава, полностью совпадающие по значению. ...Синонимами являются слова... содержащие в своих, сходных в целом, значениях те или иные различия» [Шапиро 1955: 72]. Применительно к грамматической синонимии подобное понимание предложено уже в первой отечественной работе, где употребляется этот термин – [Пешковский 1930].

Указанный подход к синонимии опирается не только на филологическую традицию нормативной стилистики, но и на объективные языковые тенденции. Наряду с хорошо известным принципом «асимметричного дуализма языкового знака» (сформулированным С.О. Карцевским), согласно которому между планом означающего и планом означаемого в языковом знаке принципиально нет однозначного соответствия (Карцевский 1929) и всякий знак «является виртуально “омонимом” и “синонимом” одновременно» [Карцевский 2004: 239], существует, по-видимому, и иной, в некотором смысле противоположный ему, семиотический функциональный принцип, согласно которому знаковая система стремится, напротив, к идеальному и принципиально недостижимому одно-однозначному соответствию означающего и означаемого – это требование «изоморфизма языка и модели мира» по [Haiman 1985] (см. также [Кобозева 2000: 40, 100]) или «порядка» («упорядоченности», *order*) по [Dahl 2004: 19]. Выражается этот принцип, в частности, при дифференциации синонимических средств языка, которые после некоторого (возможно, большого) периода сосуществования начинают различаться если не в плане денотата, то, по крайней мере, в синтактике, прагматике и иных свойствах (ср. широко известный пример слов *лингвистика* и *языкознание*, тождественных по денотату, но различающихся по синтактике – словосочетание *сравнительно-историческая лингвистика* менее допустимо, чем *сравнительно-историческое языкознание*). Естественно, это относится и к синонимии грамматических показателей, ср., например, стилистически маркированное *-ою* в *рукою* рядом с нейтральным *-ой* в *рукой*. В связи с этим в литературе неоднократно встречается утверждение, согласно которому в языке вообще нет (точных) синонимов ни на каком уровне; якобы существует системная «боязнь синонимов» в языке, подобно тому как в аристотелевой физике «природа боялась пустоты» – [Aronoff 1976; Kiparsky 1983] (принцип «избегай синонимов» – *Avoid Synonyms Principle*); [Williams 1997]. В [Croft 2000: 176] это положение названо «первым принципом распространения» (или «пропагации», *propagation*), а в [Dahl 2004: 77–78] такое утверждение (Э. Даль видит в нем скорее не принцип, а тенденцию диахронического развития, одну из нескольких) сопоставлено с принципом «ниши» в экологии – два вида в экосистеме не могут занимать одну и ту же нишу и вступают в отношение конкуренции.

Тем не менее указанная тенденция, хотя объективно и несомненно существующая, по крайней мере в синхронном срезе не имеет абсолютного характера – слова с идентичными лексическими значениями в естественных языках все-таки засвидетельство-

ваны, поэтому принятое в Московской семантической школе разделение синонимов на «точные» или «абсолютные», толкования которых полностью совпадают, и «неточные» или «квазисинонимы», толкования которых имеют большúю общую часть (ср. [Апресян 1974/1995: 218]), как представляется, адекватно отражает как синхронную, так и диахроническую реальность языковых элементов, близких по значению. Аналогичное разделение предлагалось на морфологическом уровне для словообразовательных аффиксов, ср. апеллирующий к понятию «инварианта» (основного, единого во всех употреблениях значения) подход работы [Улуханов 1977: 199]: здесь «синонимичными» признаются аффиксы, «инвариантное» значение которых совпадает, а «частично синонимичными» – аффиксы с совпадающими «контекстами» (вторичными) значениями.

При дальнейшем употреблении терминов «синонимия» и «синоним», если специально не оговорено обратное, имеется в виду (аналогично тому, что принято в лексической семантике) как полная синонимия, так и квазисинонимия.

2. Пражский структурализм и американский дескриптивизм: строгие оппозиции в грамматике. Алломорфы, варианты и синонимы

Применение структуралистских представлений о языке как о системе четких оппозиций к морфологии – зачастую выражавшееся в переносе фонологического понятийного аппарата на морфологический уровень – начинается в 1930-е годы в рамках так называемого «пражского структурализма». Обычно в этой связи указывают на знаменитые статьи Р.О. Якобсона [Якобсон 1932/1985; 1936/1985], где, соответственно, значения категорий русского глагола и падежных категорий русского имени разбираются с точки зрения бинарных оппозиций: в рамках каждой из этих пар определен маркированный и немаркированный признак, а синонимия грамматических форм в известных контекстах рассматривается как нейтрализация этих противопоставлений. Якобсон принимает тезис «асимметричного дуализма» по Карцевскому (напомним, что работа Карцевского 1929 г. была опубликована в первом же выпуске «Трудов Пражского лингвистического кружка» и должна также рассматриваться в ряду обсуждаемых работ пражцев) и усматривает образец синонимического отношения в «асимметрии коррелятивных грамматических форм»: «**Два знака могут относиться к одной и той же предметной данности** (выделение Якобсона. – Д.С.), но значение одного знака фиксирует известный признак А этой данности, тогда как значение другого знака оставляет этот признак неупомянутым. Например, ослица может быть обозначена как словом *ослица*, так и словом *осёл*. При этом подразумевается один и тот же предмет, только во втором случае значение гораздо менее уточнено» [Якобсон 1932/1985]. Таким образом, члены оппозиции могут входить в квазисинонимичные отношения, но, по-видимому, только указанного типа (связанного с противопоставлением маркированного члена оппозиции немаркированному). Статья [Якобсон 1936/1985] содержит утверждение о том, что всякую грамматическую категорию любого языка можно представить в виде таких противопоставлений. Таким образом, несмотря на то, что Якобсон принимает принцип «асимметричного дуализма», идеалом грамматической системы языка оказывается все же противопоставленность всех форм: сосуществования полностью синонимичных элементов системы (или квазисинонимичных, но имеющих каждый свои дополнительные значения) в рамках данной системы допущений не предусмотрено.

Из работ пражских структуралистов в связи с нашей темой нужно назвать два текста В. Скалички, явившиеся в печати в 1935 году. Статья [Скаличка 1935/1967а] представляла собой опыт развития принципа асимметричного дуализма; монография [Скаличка 1935/1967б] – одно из первых структуралистских описаний грамматики конкретного языка (венгерского), в сопоставлении с целым рядом других языков. В статье разбирается омонимия и синонимия (в терминологии автора – «омосемия») языкового знака. Впервые дано важное указание на то, что синонимия более свойственна «флек-

сиям» или «формемам» (грамматическим показателям), чем корням [Скаличка 1935/19676: 121–122]. В качестве примеров синонимичных корней («омосемичных семантем») в книге «О венгерской грамматике» рассматриваются лишь супплетивные корни, выбор между которыми обусловлен грамматикой (лат. *fer-o*, *tul-i*, *lat-um* ‘носить’, венг. *vagy-ok* ‘я есмь’ – *len-nék* ‘я был бы’). Скаличка формулирует также принципиальное для структурализма утверждение – его не было у Карцевского – согласно которому как синонимия, так и омонимия языкового знака связаны со взаимоисключаемостью членов соответствующего ряда. В качестве примера приводятся, в частности, чешские окончания различных типов спряжения: «Омосемическими являются, например, флексии *-i*, *-m* в формах *kuřij-i* [‘покупаю’], *dělá-m* [‘делаю’]. Условием появления омосемии является опять-таки взаимоисключаемость частей омосемической группы. Части омосемической группы подобны фонологическим вариантам, взаимно дополняющим друг друга. Взаимоисключаемость делает возможным их смысловую идентичность при формальном различии» [Скаличка 1935/19676: 121]. Указанное явление объясняется тем, что «асимметричный дуализм... вызывает в языковой системе известные затруднения и осложнения. Поэтому языки – разные и каждый в неодинаковой степени – избегают его» [Там же]. Это положение, как увидим, было последовательно развито дескриптивистами.

Школой структурализма, особенно подробно разрабатывавшей описание морфологического уровня языка, стал американский дескриптивизм. Первые работы в этой области здесь появляются уже в 1930-е годы, параллельно выше указанным статьям Якобсона и Скалички. Вопрос о синонимии морфологических единиц (морфем) возникает в дескриптивизме на стадии группировки выделенных морфем – минимально значимых отрезков речи – в морфемы, что называется *идентификацией морфем*. Принципы идентификации выдвинуты в 1942 году З.З. Харрисом [Harris 1942] и базируются на фундаментальном для дескриптивизма принципе дополнительного распределения (*complementary distribution*). Алломорфами одной и той же морфемы признаются синонимичные единицы, никогда не встречающиеся в одном и том же морфемном окружении (например, алломорфы английского показателя множественного числа [s], [z], [ɪz], [ən] в *books* ‘книги’, *boys* ‘мальчики’, *classes* ‘классы’, *oxen* ‘волы’).

Кроме того, в американском дескриптивизме выделяются два типа дистрибутивных отношений, имеющих ближайшее отношение к нашей проблематике: это свободное варьирование (*free variation*) – синонимия при отсутствии дополнительного распределения (русские примеры из [Арутюнова, Кубрякова 1961: 213]: *рукой–рукою*, *шофёры–шофера́*) и неконтрастирующая дистрибуция («такое соотношение морфемных сегментов, при котором они, даже попав в одинаковое положение, не могут выполнять дистрибутивной, смыслоразличительной роли»: *-ся* и *-сь* в *вернулся–смеюсь* дополнительно распределены, но тогда, когда эта норма нарушается, формы типа *смеюся* не несут никакой семантической нагрузки сравнительно со *смеюсь*). Относительно статуса данных единиц с точки зрения объединения в морфемы мнения разных дескриптивистов расходятся.

Так, например, Ч. Хоккет [Hockett 1947: 331, 336 ff] критиковал подход Харриса за то, что единицы, находящиеся в отношении свободного варьирования, согласно его принципам не отождествляются. Хоккет предложил модификацию соответствующего принципа, согласно которому вместо дополнительного распределения требуется неконтрастирующее (таким образом, в парах вроде *свечой–свечою* усматривается одна и та же морфема творительного падежа). Данный анализ наталкивается, однако, на ту трудность, что синонимические морфемы могут употребляться для маркирования одной и той же грамматической категории у разных значений одной лексемы, например, англ. *brother* ‘брат’ – *brothers* ‘сыновья тех же родителей’, но *brethren* ‘монахи, члены братств’ (ср. русское *хлеб* – *хлебы*, *хлеба*): Хоккет обходит это препятствие тем, что считает подобные слова омонимами (и соответственно корни таких слов – разными морфемами).

С другой стороны, в рамках дескриптивизма выдвигалась точка зрения, согласно которой фонетически вполне различные морфы не могут считаться алломорфами, а представляют собой синонимы; для объединения в одну морфему необходим известный критерий фонетической близости (эту позицию отстаивал, в частности, Ю. Найда [Nida 1949: 90]).

В отечественной традиции критерий, аналогичный подходу Найды, сформулированный в рамках Московской фонологической школы (МФШ) и связанный с именами В.Н. Сидорова, А.А. Реформатского и П.С. Кузнецова, требует, чтобы морфы, входящие в одну морфему, были связаны друг с другом чередованиями. Таким образом, синонимия морфем усматривается в дополнительно распределенных показателях, например, во флексиях различных типов парадигм: так, русские окончания творительного падежа единственного числа *-ой*, *-ом* и *-ю* признаются тремя разными синонимичными морфемами; не являются алломорфами, с точки зрения МФШ, и супплетивные корни, вроде русских *ид-* и *ид(д)-*.

В качестве постскриптума к данному разделу – не столько исторического, сколько уже теоретического характера – укажем, что и современные трактовки алломорфии (уже не связанные рамками структурализма как направления) в общем следуют за позднедескриптивистским подходом к синонимии морфем. Нам представляются справедливыми критические положения, выдвигаемые И.А. Мельчуком [2001: 243–244] против последней трактовки морфемы, в частности, то, что для выражения единства дополнительно распределенных аффиксов, а также супплетивных корней в таком случае требуются дополнительные понятия более высокого таксономического уровня. По замечанию В.А. Плунгяна [2000: 60–61], такое решение покоится на «часто весьма зыбком критерии фонологической естественности».

Тем не менее нам представляется, что при решении проблемы алломорфии к случаям одинакового распределения синонимичных морфем следует применить по меньшей мере требование возможности перехода от одной морфемы к другой при помощи тех или иных чередований (в терминологии, используемой Мельчуком, – представимости по означаемому). При таком компромиссном решении определения алломорфии как для класса корневых, так и для класса аффиксальных морфов приближается к симметрии (хотя все же и не становится полностью симметричным, поскольку не полностью тождественное распределение корней, не связанных чередованиями, не обязательно предполагает объединения их в одной морфеме).

Похожее решение предлагается В.Б. Касевичем: «Если правило, фиксирующее переход от морфа *X* к морфу *У* в контексте *С*, указывает на фонологические признаки хотя бы одной из переменных – *X*, *У* или *С*, то морф *У* есть вариант морфа *X*. Так, морф *рожн-* – вариант морфа *рожон-*, поскольку правило говорит об опущении гласной /о/ в корнях некоторого фонологического облика (хотя и не во всех). Но морф *люд'* – не есть вариант морфа *человек-*, так как правило перехода от *человек-* к *люд'* не апплирует к фонологическому виду ни первого морфа, ни второго, ни контекста, в котором осуществляется замена морфов. Поэтому *люд'* – самостоятельная морфема, синонимичная морфеме *человек-*» [Касевич 1986: 41]. «Фонологически необусловленное» варьирование, лишённое фонетического сходства, отделено от алломорфии в [Алпатов 1991: 139, ср. также 144]: «Крайний случай фонетически необусловленного варьирования – так называемый супплетивизм, когда варианты такого рода не имеют и фонетического сходства. Сюда могут быть отнесены не только случаи типа русск. *ид-* – *ид(д)-*, но и обычно не относимые к супплетивизму случаи, например, окончаний разных типов склонения. Варианты здесь столь различны, что принято считать их разными, но синонимичными морфемами».

3. ВАРИАТИВНОСТЬ И СТРУКТУРА ЯЗЫКА В ТЕОРИИ АНДРЕ МАРТИНЕ

Французский лингвист А. Мартине, один из последних крупных теоретиков «классического» (не «нео-») структурализма, посвятил проблеме вариативности языковой

структуры особую работу [Мартине 1962]. Термин «variation», вынесенный в заголовок работы, означает, как комментирует автор, и процесс «варьирования», и являющиеся его результатом языковые «вариации». В этой работе бросается в глаза прежде всего то, что Мартине выделяет лишь «вариации в пространстве» (разные выражения одного и того же в различных диа-, этно- и/или идиолектах, не препятствующие взаимопониманию) и «вариации во времени» (то есть диахронический процесс изменения языка); проблема сосуществования в языке нескольких вариантов эксплицитно даже не обсуждается. Тем не менее его работа представляет собой некоторый шаг вперед по сравнению с «жестким» структурализмом в морфологии: во-первых, ставится сама проблема варьирования структуры, во-вторых, принципиальное внимание уделяется семантической стороне вопроса; семантические различия между единицами считаются столь же «субстанциальными» [Мартине 1962: 458–459], что и поверхностное распределение.

Мартине различает два аспекта системы языка, в которых может осуществляться варьирование: это парадигматический (класс взаимоисключающих единиц, элементов одной грамматической категории) и синтагматический, определяющий различие между различными грамматическими категориями (например, синтагматическая глагольная система включает в себя парадигматические категории времени, залога и т.п.). Данное разграничение – во всяком случае, как его представляет автор – полемично по отношению к дескриптивизму. Дескриптивистскую позицию, от которой Мартине отмежевывается, он формулирует так: «никакие отношения, возможные или существующие между единицами, входящими в один и тот же класс, не могут рассматриваться в качестве элементов структуры языка... какие бы то ни было отношения между членами одного и того же класса, кроме самого факта их “контрастирования” друг с другом, считаются внеязыковыми или, в лучшем случае, метаязыковыми и не относящимися к структуре языка» [Там же: 454].

Значительная часть работы, как и гораздо более известная работа Мартине [Martinet 1955], посвящена вопросу о причинах и технике языковых изменений – теме, касающейся нашей проблематики лишь косвенно. Собственно вопрос вариативных элементов языка рассматривается в последнем разделе статьи [Мартине 1962: 460–464], выразительно озаглавленном «Внешние вариации и фундаментальная структура». Данный раздел полемичен по отношению к дескриптивизму и «дистрибуционистскому» подходу к морфологии. Хотя «для всех тех, кто изучает данный язык – будь то ребенок или взрослый, – далеко не безразлично количество способов выражения генитива в изучаемом языке: имеются ли в нем две (или более) различные формы генитива или в результате выравнивания по аналогии представлен только один способ выражения этого падежа», понимание морфологии лишь как инвентаря алломорфов и правил их распределения ограничено: описываемые таким образом «акциденции» (внешние стороны сущности, термин, заимствованный из схоластики) «представляют собой лишь весьма периферийные аспекты подлинной структуры языка» [Мартине 1962: 461]. Дело в том, что, согласно Мартине, подлинную структурную значимость имеет не столько возможность употребления той или иной единицы в определенной точке высказывания (что задаст все пространство возможностей традиционной формально-морфологической типологии: агглютинация, фузия, кумуляция, разрывные морфемы, алломорфия, супплетивизм и т.п.), а возможность употребления этой единицы в высказывании вообще, не морфологическая (линейная), а семантическая (нелинейная) сторона дела [Там же: 462–463]; порядок значимых единиц – в отличие от порядка фонем – нерелевантен [Там же]. Соответственно проблемы соотношения между поверхностными представлениями единиц являются второстепенными по сравнению со структурными соотношениями единиц, принадлежащих разным дистрибутивным классам (или одному и тому же, но с семантической, а не формальной точки зрения).

Получается, что структурализм, ориентированный на семантику (кроме как у Мартине, такой подход мы видели и у Якобсона), в еще меньшей степени, чем структура-

лизм, ориентированный на форму (дескриптивизм), уделяет внимание синхронному сосуществованию синонимичных единиц. Если дескриптивизм хотя бы ставит проблему «свободного варьирования» и допускает споры о статусе – алломорфическом или синонимическом – таких единиц, поднимает вопрос о синонимии супплетивных морфем и т.п., то семантико-ориентированный подход признает синонимию лишь как речевую нейтрализацию форм, противопоставленных в языке. Конкретные средства выражения этой оппозиции и этой нейтрализации представляют для него лишь периферийный интерес.

4. ОБОБЩЕНИЕ СТРУКТУРАЛИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ В «КУРСЕ ОБЩЕЙ МОРФОЛОГИИ» И.А. МЕЛЬЧУКА

Структуралистский подход к семантике грамматических показателей, жестко противопоставленных семантике лексических единиц, представлен, например, в «Курсе общей морфологии» (КОМ) И.А. Мельчука – этот фундаментальный компендиум морфологических знаний, появившийся в 1990-е годы, отражает структуралистскую научную парадигму (с элементами генеративизма), характерную и для более ранних (1960–1970-е годы) работ как самого автора, так и других лингвистов, работавших в рамках получившей широкую известность лингвистической теории, т.н. «Модели Смысл \Leftrightarrow Текст». Некоторые идеи, обсуждаемые ниже, высказаны уже и в ранних статьях Мельчука (в частности, серия статей в «Известиях АН», из которых для нашей проблематики специальный интерес представляет [Мельчук 1968]).

Синонимия морф (корней или аффиксов) трактуется как «тождественное означаемое при различном означающем» у двух морф [Мельчук 2001: 228]. В качестве примеров таких аффиксов приводятся (в различных частях КОМа) «адъективирующие словообразовательные суффиксы *-ическ vs. -ичн* и *-лив vs. -н*: эти суффиксы имеют одно и то же означаемое ('относительное прилагательное'), не являясь, однако, алломорфами одной морфемы» [Мельчук 1997: 332], а также словообразовательные суффиксы со сложным и трудноописываемым распределением: диминутивы *-ок* и *-ик* [Мельчук 2001: 233], суффиксы, образующие названия жителей, *-ич*, *-ец*, *-анин* и др. [Там же: 234].

«[Грамматические значения] достаточно легко сводятся в хорошо организованную систему четких обобщенных оппозиций, образуя высоко структурированные и достаточно очевидные множества. Так, для всякого носителя русского языка 'множественное [число]' образует систему с 'единственным [числом]', а 'настоящее [время]' – с 'прошедшим' и 'будущим'» [Мельчук 1997: 243]. Этот принцип в формулировке, предлагаемой автором, касается только грамматических значений, однако он, как увидим, оказался фактически во многом распространен и на план их формального выражения.

Подробно вопрос о соотношении между планом выражения и планом содержания двух знаков ставится в томе IV «Курса общей морфологии», где проводится попытка полного исчисления «формально-смысловых отношений между двумя произвольно взятыми языковыми знаками» [Мельчук 2001: 468–496]; данный раздел во многом опирается на серию ранних работ автора (см. выше). Автор ставит целью проанализировать все логически возможные способы отношения между знаками; для этого он строит 17 классов, соответствующие различным комбинациям отношений между означающими и означаемыми в пределах пары знаков. Коль скоро анализу подвергаются не только элементарные знаки, но и более сложные (например, словоформы), то случай полной грамматической синонимии мог бы попасть в классы 2 – «Тождество означаемых, включение означающих», 3 – «Тождество означаемых, непустое пересечение означающих» и 4 – «Тождество означаемых, дизъюнкция означающих». Квази-синонимия могла бы попасть в любой из классов 5–12, где речь идет о непустом пересечении (в т.ч. включении) означаемых. Однако в перечне анализируемых случаев мы вовсе не находим синонимии грамматических показателей – для «тождества означае-

мых» Мельчук рассматривает только лексическую синонимию, различные типы словообразования, а также супплетивизм, регулярную алломорфию и словоизменение, связанное с согласованием (так, полностью синонимичны словоформы *хороший* и *хорошая*). Квазисинонимические грамматические показатели в соответствующем списке также отсутствуют (наличествуют, в частности, супплетивизм и лексическая квазисинонимия).

Тем не менее, опираясь на этот *argumentum ex silentio*, утверждать, что существование двух и более синонимичных различных морфем (а не алломорфов одной морфемы), выражающих словоизменительные, а не словообразовательные значения, теорией Мельчука вовсе не предусмотрено, было бы неверным. По крайней мере для корневых морфем – в нашем случае речь идет о корнях вспомогательных словоформ (лекс), участвующих в образовании аналитических форм – такая возможность имеется, хотя в качестве примеров приводятся только корни полнозначных лексем. Согласно мельчуковскому определению морфемы ([Мельчук 2001: 230–231]; см. также специальную работу [Мельчук 1998]), корни, означаемые и дистрибуции которых тождественны, но которые не представимы через чередование и/или конкатенацию относительно некоторой представляющей корневой морфы, не являются алломорфами одной морфемы – например, франц. *tank* и *char* ‘танк’; «мы не хотели бы, чтобы они были признаны морфемами одной морфемы» [Мельчук 2001: 242]. Таким образом, синонимия вспомогательных глаголов вроде португальских *ter* и *haver* не является алломорфией, уже постольку, поскольку представляет собой синонимию корней, распределенных одинаково.

Однако относительно синонимических аффиксов Мельчук [2001: 242] утверждает: «для аффиксов свободное варьирование [алломорфов] допускается без ограничений: например, суффиксы творительного падежа единственного числа у русских существительных женского рода [...] *-ой* и *-ою* (а также *-ей* и *-ею*), взаимозаменяемы во всех контекстах, являются алломорфами одной и той же морфемы»; ср. также более четкую формулировку с употреблением понятия синонимии: «равнозначные (= синонимичные) аффиксы с факультативным распределением включаются в одну морфему независимо от их означающих... синонимия таких аффиксов влечет их алломорфию» [Мельчук 1998: 19]. Иными словами, синонимичные, одинаково распределенные показатели испанского имперфекта конъюнктива (восходящие к латинским плюсквамперфектам индикатива и конъюнктива соответственно) *-se-* и *-ra-*, в таком понимании принадлежат одной и той же морфеме. Данное решение, как представляется, не вполне адекватно с интуитивной точки зрения – заметим, что к интуиции прибегает и И.А. Мельчук, когда говорит, что «не хотел бы» считать *tank* и *char* алломорфами.

Таким образом, грамматическая модель, принятая в «Курсе общей морфологии», как будто бы предусматривает существование синонимичных аналитических, но не синтетических грамматических форм; последние оказываются дополнительно связаны (через соответствующие грамматические показатели) отношением алломорфии. Квазисинонимическое отношение в этом смысле не отличается от полной синонимии.

5. «ОДНОЗНАЧНОСТЬ» МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ В ГЕНЕРАТИВИЗМЕ: «БЛОКИРУЮЩИЙ ПРИНЦИП»

Радикальная «антисинонимическая» позиция, согласно которой синонимичных словоизменительных форм (а, возможно, и языковых единиц с тождественной семантикой вообще) в языке не существует, получила распространение в морфологической теории уже после отступления структуралистской парадигмы с господствующих позиций. Примером может служить американская лингвистика второй половины XX в. Здесь дескриптивизм и «дистрибуционизм» в понимании Харриса–Хоккета сошел со сцены после так называемой «хомскианской революции» второй половины 1950-х годов и распространения генеративистского подхода.

Казалось бы, порождающая лингвистика, на начальном своем этапе поощрявшая исследования альтернативных «поверхностных» рeализаций, которые получают «глубинные» синтаксические конструкции, должна была бы уделить особое внимание и синонимии грамматических форм. Но этого не произошло. Парадоксально, но влиятельная морфологическая модель, разработанная в рамках генеративизма М. Эроноффом [Агопoff 1976], эксплицитно запрещает сосуществование синонимичных форм, то есть сохраняет одно-однозначное соответствие смысла и формы, свойственное структурализму (и даже, как увидим, в более сильной степени, чем собственно в дескриптивизме).

Данное ограничение на образование морфологических форм Эронофф называет «принципом блокирования» (blocking principle)². Возникновение этого принципа было связано не столько со словоизменительной, сколько со словообразовательной морфологией (дeривация в теории Эроноффа нечетко отграничена от словоизменительной морфологии – см. об этом также [Кубрякова 1991: 155]). «Принцип блокирования» был призван объяснить отсутствие образований вроде *glorious* ‘славный’ + *-ity* ‘номинализирующий суффикс’ = **gloriosity*; создание подобной формы «запрещается» благодаря существованию бессуффиксального существительного *glory* ‘слава’.

Принцип блокирования сформулирован его автором так: «Б л о к и р о в а н и е – это отсутствие некоторой формы в силу того, что просто уже существует другая форма... Предположим, что в основе организации словаря лежат [морфологические] основы, и каждая из них имеет свободную позицию (slot) в соответствии с каждым регулярным значением, где «регулярный» означает «образованный по регулярным правилам». В таком случае примем, что каждая позиция, соответствующая значению, не может быть занята более чем одним элементом (item)» [Агопoff 1976: 42–44].

Кратко данный принцип переформулирован Э. Вильямсом [Williams 1997]: «Х блокирует Y тогда и только тогда, когда X является кандидатом с тем же значением, что и Y. Блокирование можно представить как часть «боязни синонимии»: если в синтаксисе³ или морфологии существуют две формы, они должны иметь разные значения, а если двум формам невозможно приписать разные значения, то одна из них не может существовать».

Дж. Блевинс [Blevins 2000: 250] замечает, что сформулированный таким образом принцип блокирования, безусловно, распространяется не только на словообразование, но и на словоизменение; кроме того, в более поздних версиях теории Эроноффа на месте «основы» выступает уже «лексема», что прямо указывает даже на более узкое понимание данного принципа [Ibid.]. Блевинс утверждает: «Эффекты блокирования гораздо весомее присутствуют в словоизменительных парадигмах»; если понимать под «значением» в формулировке принципа «грамматическое значение» по Якобсону, то «систематические случаи блокирования имеют место внутри лексем, а не между ними».

Видимое нарушение этого принципа в виде существования словообразовательных дублетов «иногда объясняют через утверждение, согласно которому в языке вообще нет синонимов». Иными словами, различие в морфологической структуре на самом деле поддерживается семантическими различиями, и тогда принцип блокирования не нарушается. Но словоизменительная однозначность, с точки зрения Блевинса, носит абсолютный характер, и проблема синонимии к ней не относится: «если и на самом деле синонимов нет, синонимия не может служить катализатором морфологического блокирования» [Blevins 2000: 250].

² Литература по «принципу блокирования» достаточно обширна: помимо работ, разбираемых и цитируемых ниже, он затрагивался (и получил поддержку) в статьях таких известных американских морфологов, как П. Кипарский и Л. Цвики (библиографию работ 1970–1980-х гг. см. в [Miller 1993: 2]).

³ Вильямс предлагает (как и ряд других авторов) также и распространение принципа блокирования на синтаксис. – Д.С.

Таким образом, допущения, принятые в наиболее влиятельной морфологической теории, выдвинутой в рамках генеративизма, не допускают существования двух синонимичных словоизменительных форм. По-видимому, то же относится и к квазисинонимии, когда дистрибуция словоизменительных форм не в точности одинакова (ни одному регулярному «значению», воплощаемому основой или лексемой, не могут соответствовать две формы); в работе Блевинса утверждается, что маркированная форма не может встречаться в том же синтагматическом окружении, что и немаркированная [Ibid.: 243].

Встречается и более узкое понимание принципа блокирования (например, в работе [Pinker 1999: 144–153], обсуждение идей Пинкера ср. также в [Dahl 2004: 96–97]), согласно которому блокирование имеет место только при наличии в парадигме «неправильных» (супплетивных и/или непродуктивных) форм, которые хранятся в словаре (stored), в то время как «правильные» формы порождаются говорящим по регулярным правилам (ср.: «более частный случай предшествует более общему» [Miller 1993: 2]); такая точка зрения, согласно Пинкеру, подтверждается психолингвистическими экспериментами. Так, существование английской неправильной формы типа *ran* 'побежал' блокирует порождение **runned* по общим продуктивным правилам образования Past Indefinite; говорящий, таким образом, имеет «параллельный» доступ к словарю и к правилам. Но это положение наталкивается на маргинальный (и малочастотный, в отличие от последовательно неправильных глаголов, в живой речи; ср. об этом [Dahl 2004: 97]), однако же несомненный феномен сосуществования альтернативных регулярных и нерегулярных словоформ (и, соответственно, словоизменительных морфем) от одной и той же лексемы. Ряд английских глаголов знает варьирование вида *dreamt* [dremt]/*dreamed* 'мечтал, видел сны'. Пинкер обходит данный факт, утверждая, что в таких случаях поверхностно «правильная» форма не порождается, а хранится в словаре наравне с «неправильной». Таким образом, глубинная синонимия все же признается. Некоторые исследователи проблемы [van Marle 1985; Rainer 1988] различают «штучное блокирование» (token-blocking), когда запрещается порождение продуктивной формы при наличии непродуктивной, и «типовое блокирование» (type-blocking), когда один продуктивный тип блокирует другой (например, в нидерландском есть два продуктивных способа образования множественного числа – при помощи показателя *-s* и при помощи показателя *-en*; если от некоторого слова, скажем, *lepel* 'ложка' образуется множественное число *lepel-s*, а не **lepel-en*, то считается, что *-s*-тип блокирует *-e*-тип) [Miller 1993: 5]. Однако случаи варьирования между несколькими продуктивными типами также известны: *директор-ы* и *директор-а* и под.

Разумеется, генеративизм не отрицает объективных фактов, связанных с употреблением различных показателей в тождественной функции; однако, в точности как и дескриптивизм, считает подобные случаи поверхностным представлением одной и той же хранящейся в лексиконе морфемы (впрочем, в версии Пинкера, как мы видели, уже допустимо параллельное хранение в памяти синонимичных способов выражения). В.Б. Касевич, обсуждая проблемы представления морфемы как множества алломорфов, говорит о генеративистских работах (в том числе и о морфологических концепциях Эроноффа и Вильямса) следующее: «Для генеративистов, как известно, реальны с функциональной точки зрения только словарные (глубинные, системно-фонологические) и текстовые (поверхностные, системно-фонетические) записи морфем... Основной источник появления абстрактных единиц в словарных представлениях морфем – это именно стремление свести к минимуму возможность морфемной синонимии. Если, например, для испанского глагола *oír* 'слышать' устанавливают словарную запись /awd/, поскольку существует слово *audición* 'слушание' и некоторые другие, а потом сложной системой правил из /awd/ получают поверхностные формы *oigo* 'слышу', *oís* 'слышишь'⁴ и т.п...., то это объясняется именно стремлением не допустить вхождения в словарь двух синонимичных морфем – /awd/ и /oír/» [Касевич 1986: 40].

⁴ Так у Касевича (использующего пример из [Calvano, Saltarelli 1979], где 'you hear'): в действительности *oyes* 'слышишь', а *oís* 'слышите'. – Д.С.

В данном пункте генеративная морфологическая теория Эроноффа и его последователей фактически остается в рамках структурализма. Э. Вильямс справедливо утверждает: «Принцип блокирования предвосхищался в структурализме, в частности, принципами, предлагавшимися Соссюром и Фортом⁵; согласно этим принципам различие в значении, возможно, играет более фундаментальную роль, чем собственно значение» [Williams 1997]. Впрочем, подобный взгляд выдвигался и младограмматиками, например, таким классиком сравнительно-исторического языкознания, как Г. Пауль (как и у Эроноффа, речь шла о подобных явлениях в словообразовании [Paul 1896: 704]).

6. MORFOЛОГИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ И ВАРИАТИВНОСТЬ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.

Интерес к анализу и теоретическому осмыслению языковой синонимии и/или вариативности (сами понятия «синонимия/синоним» и «вариативность/вариант» при этом разграничиваются различными авторами по-разному) возникает в отечественной лингвистике в конце 1950-х–1960-е годы во многом как реакция на структурализм. Преимущественное внимание здесь уделялось синонимии и вариативности не в области морфологии, а в области лексики и синтаксиса, а также проблеме «семантической вариативности» (полисемии) и поискам инварианта. Показателен сборник [Ярцева (ред.) 1979], в предисловии к которому указано: «Стремление авторов монографии всегда держать в поле зрения содержательную сторону языка привело к тому, что семантическому варьированию было уделено большее внимание, чем чисто формальным вариантам, существующим в каждом языке» [Там же: 4]; действительно, собственно морфологической стороне проблематики здесь посвящена только общетеоретическая статья редактора сборника [Ярцева 1979], остальные так или иначе связаны либо с полисемией на грамматическом уровне, либо с синонимией на лексическом. Это характерно, впрочем, и для подхода к проблематике вариативности в западной лингвистике указанного периода: здесь она нередко связывается с проблематикой инварианта, т.е. общего значения различных употреблений одной и той же грамматической формы. Такой подход связан с уже упоминавшейся работой [Якобсон 1936/1985] и нашел отражение, например, в сборнике [Waugh, Rudy (eds.) 1991], где о «вариативности» заходит речь практически только в связи с полисемией и поиском «инварианта». Ср. в этом отношении даже недавний, специально посвященный вариативности в языке, выпуск журнала «Lingua» (2004, во второй части нашей статьи обсуждается работа [de Hoop et al. 2004] из этого выпуска), где также большое внимание уделено поверхностной синонимии и неразличению тех или иных грамматических значений, хотя проблематика инварианта уже во многом и утратила для этих исследователей актуальность.

Из огромного количества теоретических работ, тематических сборников и исследований вариативности и синонимии в конкретных языках, опубликованных в нашей стране в указанный период, нами здесь рассматриваются несколько непосредственно имеющих отношение к теоретическому осмыслению синонимии в морфологии. Более подробные библиографические указания в связи с проблематикой синонимии и вариативности (не только морфологической) в отечественном языкознании указанного периода см. в недавней работе [Сорокина 2003: 94 и сл.].

Понятие «грамматическая синонимия/синонимика» возникает у нас значительно раньше, чем начинается активная разработка данной проблематики, – в русле традиции нормативной, можно сказать даже «школьной» стилистики. Упомянем здесь методико-педагогическую по своим задачам работу А.М. Пешковского 1930 года; грам-

⁵ Чарльз Х. Форт (1874–1932) – малоизвестный у нас американский писатель, автор работ по философии науки и «паранормальным явлениям», НЛО и проч. (один из пионеров этой темы), критик позитивизма. – Д.С.

матические синонимы определяются здесь как «значения слов и словосочетаний, близкие друг другу по их грамматическому смыслу» [Пешковский 1930: 153]; синонимия трактуется как неабсолютная, связанная с «тонкими оттенками», «нюансами», «потому что стилистика вообще ведаёт только их». Соответственно, «синонимы, совершено тождественные по значению, как *кадет – кадетов, свеч – свечей*, а также синонимы, всецело диктуемые словарем, как *воды – огня – площади, воде – огню – площади* (имеются в виду надежные окончания разных склонений. – Д.С.)», с точки зрения Пешковского, «должны будут выпасть из поля наблюдения» [Там же]. Морфологическая словоизменительная синонимия («синонимика синтаксических форм») рассматривается как нечто маргинальное: «морфологические синонимы этого типа в нашем языке все наперечет»; различие между ними относится на счет «архаичности» старых форм и «вульгарности» новых [Там же: 154].

Традицию нормативной стилистики применительно к русскому материалу развивают известные работы Д.Э. Розенталя [1968, переиздавалась неоднократно] и К.С. Горбачевича [1978]. Если пособие Розенталя связано прежде всего с «практической стилистикой» и «синонимией языковых средств» в понимании Пешковского, а «грамматическую стилистику» автор рассматривает как средство установления тонких различий между элементами (об этой работе см. также [Dahl 2004: 131]), то в работе Горбачевича имеются теоретические суждения относительно не только стилистических пар («синонимов»), но и полностью однозначных дублетов («вариантов»). Варьирование автор полагает неотъемлемым фактором языковой системы, связанным прежде всего с эволюцией языка («избыточность формы представляет собой и необходимый этап перестройки элементов языковой системы, который поддерживает преемственность речевых навыков и обеспечит в будущем более рациональный способ выражения» [Горбачевич 1978: 9]; «варианты слова маркированы, в первую очередь, по временной шкале»). Процесс сосуществования и конкуренции вариантов (предшествующий «отмиранию вариативности») оказывается медленным, значительно дольше жизни одного поколения и осуществляется неравномерно [Там же: 204–205].

Для исследования К.С. Горбачевича характерен строго формальный подход. Вариантами одного и того же слова (под «словом» разумется и лексема, и словоформа) признаются единицы со вполне тождественным лексическим и грамматическим значением («полные синонимы», в нашей терминологии), морфологическая структура которых тождественна (различаться могут только формообразующие суффиксы), а на фонематические различия налагается известное ограничение [Горбачевич 1978: 9–17]. Альтернативные словоизменительные образования (*чашка чая/чаю*), таким образом оказываются «формообразовательными вариантами», в то время как словообразовательные (*волчиха/волчица*) – синонимами. Варианты (в отличие от синонимов) суть объекты не стилистики, а ортологии – науки о языковой норме или правильности речи [Там же: 9–20]. В работе анализируются три пары словообразовательных вариантов: формы родительного падежа единственного числа мужского рода на *-а* и на *-у* (так называемый второй родительный падеж), окончания множественного числа в том же склонении *-ы* и *-а*, окончания родительного падежа множественного числа (вроде *граммов/грамм, кочевий/кочевьев* и т.п.). Среди общих выводов относительно природы морфологического варьирования – более характерная для морфологии, чем для других уровней языка, семантическая специализация вариантов [Горбачевич 1978: 201]; неоднократно отмечается зависимость распределения грамматических вариантов от семантического класса лексем: «образование даже морфологических вариантов имеет весьма лексикализированный характер» [Там же: 204].

Работы Розенталя и Горбачевича, хотя и продолжают старшую традицию, относятся уже к концу 1960-х–1970-м годам; специальные работы по синонимии грамматических форм впервые появляются, как кажется, в ленинградской школе германистики во второй половине 1950-х годов, и здесь очевидно уже влияние структурализма. Прежде чем перейти к исследованиям В.Н. Ярцевой и Е.И. Шендельс, важно назвать

во многом опередившую время статью акад. В.М. Жирмунского (1963 года) «Об аналитических конструкциях» [Жирмунский 1976]. В этой статье, посвященной, на первый взгляд, другому вопросу, предвосхищена возникшая в рамках теории грамматикализации (см. вторую часть нашей статьи) идея синхронного сосуществования («наслаивания») в языке синонимичных единиц, представляющих различные уровни грамматикализации («ступени грамматизации», в терминологии автора, использовавшего понятийный аппарат работ Мейе и Куриловича).

Аналитическое формообразование, по Жирмунскому, «имеет характер п р о ц е с с у а л ь н ы й (разрядка автора. – Д.С.) с переходными случаями большей или меньшей грамматизации, которые следует рассматривать не как метафизически изолированные классификационные клеточки, а... как “узловые точки” в процессе развития, представляющие ряд последовательных ступеней грамматизации, сосуществующих в языке без непроницаемых между ними перегородок» [Жирмунский 1976: 89]. В качестве иллюстрации этой идеи Жирмунский рассматривает синонимичные формы аналитического будущего русского несовершенного вида, образуемого при помощи глаголов *буду, стану и начну*.

Синонимии и полисемии в грамматике (на материале немецкого глагола) специально посвящена книга другого представителя ленинградской германистической школы – Е.И. Шендельс [Шендельс 1970] (ей предшествовала статья [Шендельс 1959])⁶. К сожалению, за пределами собственно германистики эта интересная работа не получила широкой известности, а между тем методология Шендельс представляется близкой к оптимальной для подобных исследований в рамках грамматической системы отдельного языка. Автор выделяет и описывает набор значений, присущий каждой из временных, залоговых и модальных форм немецкого глагола, а затем рассматривает, каким образом схожие значения различных форм могут вызывать эффект их синонимии и функционирования в идентичных контекстах.

Синонимия грамматических форм определяется Шендельс в структуралистских терминах: грамматическая категория понимается как «грамматическое значение, реализованное и формально выраженное в противопоставленных членах» [Шендельс 1970: 5], а «синонимы в морфологии – это противочлены оппозиций с нейтральными различительными признаками» [Там же: 40]. Синонимия грамматических значений считается неотрывной от полисемии (в соответствии с принципом Карцевского). Действительно, структура немецких глагольных форм индикатива представлена (в духе Якобсона и Исаченко) при помощи бинарных оппозиций и более сложных, сводимых к бинарным [Шендельс 1970: 6–11, 47], а изучаемая автором синонимия связывает не базовые значения форм («парадигматические»), а их вторичные («второстепенные синтагматические») значения; элементарные составляющие значений она одной из первых в отечественной лингвистике называет «смами» [Там же: 22–32] (этот термин восходит к уже обсуждавшимся работам В. Скалички и Ю. Найды). «Если представить потенциальный объем значений формы в виде совокупности смысловых элементов (сем), то синонимы можно считать пересечением двух и более совокупностей» [Там же: 31]. В пределах каждого синонимического ряда автор выделяет «доминанту, которой считается форма в своем парадигматическом значении» [Там же: 82]: например, в один синонимический ряд с парадигматическим значением претерита вступает перфект в его «дистантном» значении, презенс в «повествовательном» значении и плюсквамперфект в «завершающей» функции.

С одной стороны, нейтрализация синонимичных форм немецкого глагола происходит не в грамматической системе – «парадигматически» они противопоставлены все-

⁶ К работам Шендельс методологически (понятие «структурной близости») примыкает также подробно не рассматриваемая здесь статья ленинградской исследовательницы И.П. Ивановой [Иванова 1961], посвященная анализу синонимии в видо-временной парадигме английского глагола.

гда – а при «функционировании в речи», «в определенных синтагматических условиях» [Там же: 15]. Эти условия разбираются на с. 17 и след. (лексическая обусловленность, интонационная обусловленность, смысловая ассоциация, вневингвистический контекст и проч.). С другой стороны, «имеются оппозиции со слабо выраженными дифференциальными признаками, которые даже в парадигматической схеме могут считаться синонимичными» [Шендельс 1978: 16].

В качестве факторов, определяющих выбор синонимов, исследовательница выделяет «закон изменчивого угла зрения» (прагматическую субъективность), «стиль речи», причем противопоставляются наиболее резко отличающиеся друг от друга регистры – стиль научной прозы и обиходной речи, зависимость от социального положения, диалектной принадлежности, зависимость от лексического фактора, стремление избежать грамматической омонимии и трудноопределимая (и задаваемая в основном конкретными примерами) «зависимость от эстетического фактора», которой автор приписывает (в отличие от многих нормативных стилистик) наиболее скромную роль.

К филологической школе, испытавшей влияние работ Жирмунского и западноевропейского структурализма, принадлежит также ленинградский романист Л.М. Скредина, автор второй известной нам отечественной монографии по грамматической синонимии – учебного пособия к спецкурсу «Грамматическая синонимия» [Скредина 1987]. Ее метод также базируется на анализе семантики грамматических форм по минимальным различительным признакам (или компонентном анализе) и связан с «тензорной» теорией языка (или «психосистематикой»), выдвинутой еще в начале XX в. французским лингвистом Г. Гийомом и не получившей значительного признания за пределами Франции. В работе Скредина, как и у Шендельс, сохраняется сосюрровская дихотомия «язык vs. речь»: помимо анализа «актуализации» языковых единиц (по методике Гийома и его последователей) ею также проводится компонентный анализ значения глагольных форм на «семы», а возникновение синонимии в речи («системно-дискурсивной» синонимии) связывается с нейтрализацией того или иного дифференциального признака (как ставшего «слабым» в той или иной «микросистеме» оппозиций). Примечательно, что Скредина [1987: 61] признает абсолютную синонимию грамматических единиц, более того, утверждает, что феномен абсолютной синонимии присущ только грамматическому, но не лексическому уровню языка (это утверждение перекликается с аналогичным положением Скалички – см. выше, раздел 2). «Синонимичными» при этом именуется также дополнительно распределенные грамматические показатели (такие, как окончания разных склонений и под.; проблема алломорфии не ставится), а абсолютная синонимия морфем при одной и той же лексеме относится к «морфологической вариантности», причем это понятие не противопоставлено синонимии (например, сюда подпадают альтернативные парадигмы глагола *s'asseoir* 'сидеться': *je m'assieds/je m'asseye/je m'assis* и т.п.).

Другая «школа» изучения грамматической синонимии во второй половине XX в. связана прежде всего с именем В.Н. Ярцевой, ученицы Жирмунского (чья научная деятельность началась в Ленинграде, а продолжалась в Москве). Ее работы по грамматической синонимии появляются уже во второй половине 1950-х годов [Ярцева 1957], даже несколько ранее, чем первые работы Шендельс в этой области. И здесь проблематика «варьирования» (данная группа авторов предпочитает этот термин) привлекает в основном германистов; материалу германских языков, помимо нескольких статей в сборнике [Ярцева (ред.) 1979], целиком посвящен более поздний московский сборник [Семенюк (ред.) 1996]. Большинство исследований, выполненных в рамках этой ветви отечественной традиции – «case studies» конкретных фрагментов языковой системы, причем, как мы уже отмечали, в поле зрения этого круга авторов попадают не только (и, может быть, даже не столько) синонимия в морфологии, но и полисемия в служебной лексике или эквивалентность синтаксических средств выражения. Для этой традиции также характерно подчеркивание функциональных принципов (ср. прежде всего [Сорокина 2003]; в [Локштанова 1996] наряду с «вариативностью» употребляется термин «изофункциональность»).

В теоретической статье В.Н. Ярцевой [1979], специально посвященной морфологическому варьированию, интересующее нас явление называется «немотивированным формальным» варьированием (полная синонимия показателей), в отличие от полисемии, или «семантического варьирования» («сохранение одной формы при множестве варьирующихся значений»). Первое усматривается только в том случае, когда две различные формы «могут чередоваться в одной и той же позиции» [Ярцева 1979: 10]. Оно «типично для так называемых переходных периодов, когда происходит радикальная перестройка строя данного языка и социально-исторических условий его функционирования» [Там же: 15]; «оно не может быть извечным и узаконенным, так как с течением времени либо возникает семантическая или дистрибутивная дифференциация вариантов, либо один из вариантов отмирает» [Там же: 16]. К числу источников вариантов относится сосуществование исторических и аналогических форм, сведение в одну систему синонимов из разных территориальных диалектов либо этимологических дублетов. Все эти факты так или иначе уже были известны в предшествующей литературе. Собственно В.Н. Ярцевой принадлежит гипотеза, согласно которой такое варьирование возможно, «по-видимому, только для отдельных элементов ряда, но не для всего ряда в целом» [Ярцева 1979: 10, 23–25], то есть не может затрагивать всех элементов парадигмы в данном языке.

Среди работ последователей Ярцевой о морфологической вариативности в германских языках особо отметим посвященную глагольной системе датского языка статью [Локштанова 1996], где проводится постструктуралистское различие между «собственно парадигмой», выстроенной на четких оппозициях, и слабее «грамматизованной» «расширенной парадигмой» (для которой синонимия более характерна) – впрочем, и тут автор усматривает «дифференцированные инвариантные значения» [Там же: 45–47], а также общетеоретическую (с привлечением примеров из английского языка) работу [Сорокина 2003], использующую функциональный и когнитивный подходы. Автор этой последней статьи концентрирует внимание на синонимии синтаксических конструкций, считая, что «на морфологическом уровне критерии... синонимии и методика выявления сходства и различия между синонимами детально описаны» [Там же: 94], таким образом, эта недавняя работа считает проблему морфологической синонимии практически закрытой, и это при том, что определение морфологической синонимии дано предельно краткое и явно не учитывающее всех особенностей данного явления: «морфологические синонимы – это грамматические единицы, имеющие одинаковое (близкое) денотативное и разное коннотативное содержание» [Сорокина 2003].

Итак, работы отечественных лингвистов 1950–1990-х годов, так или иначе посвященные проблематике грамматической синонимии и вариативности, сходятся в том, что сосуществование единиц с тождественными значениями представляет собой неотъемлемое свойство языковой системы, причем, как правило, обусловленное историческим развитием языка (пафос «историзма» в противовес «неисторичности» вообще характерен для критиков структурализма, а особенно в Советском Союзе, где такая позиция отчасти поддерживалась даже официально). Причина возникновения данного феномена – сосуществование в языке моделей, возникших в различное время, либо нейтрализация семантических оппозиций между уже существующими моделями (в этом последнем случае синонимия может затрагивать не только второстепенные «синтагматические», но и базовые «парадигматические», входящие в языковую структуру значения). Особо следует отметить концепцию В.М. Жирмунского относительно различной «степени грамматизации» сосуществующих грамматических синонимов (с этой концепцией можно сблизить «этимологические дублеты» Ярцевой). Относительно диахронической судьбы данных форм высказываются наиболее общие утверждения, согласно которым обычно такое соотношение ведет к «победе» одной из форм – как правило, более новой – но в целом процесс более или менее равноправной конкуренции синонимичных форм может растягиваться на период жизни нескольких поколений, как указывает, в частности, Горбачевич.

Понятия «синоним» и «вариант» некоторые авторы употребляют, – к сожалению, придется несколько смешать язык с метаязыком, – как полные синонимы (или, если угодно, свободные варианты). Некоторые терминологизируют эти различия, считая «синонимы» знаками с тонким семантическим различием, а «варианты» – знаками, полностью совпадающими по означаемому. Причем идея «тонких стилистических различий» – на деле больше, чем просто дань школьной традиции: подчеркивается объективно сложный и неоднородный, не связанный собственно с денотативной семантикой характер синхронного «противопоставления» между грамматическими синонимами (ср. [Dahl 2004]). Важное исчисление подобных факторов (не сводимых к недифференцируемым «стилистическим целям») мы находим у Шендельс (во многом оно предвосхищает многофакторный подход к виду и времени в [Waugh 1991] или [Thelin 1991]); здесь имеется и указание на роль дискурсивных функций в семантике денотативно совпадающих глагольных форм – предпосылки такого подхода были и у современников Шендельс, прежде всего В.В. Виноградова, но к функции глагольной словоформы в тексте как важнейшему параметру описания видо-временных значений аспектология обратится только в 1980–1990-е годы (ср. обзор данного подхода в [Петрухина 2000: 76–79; Плунгян 2004]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов 1991 – *В.М. Алпатов*. К вопросу о типологии оформления морфемных стыков // Морфема и проблемы типологии. М., 1991.
- Апресян 1974/1995 – *Ю.Д. Апресян*. Лексическая семантика: синонимические средства языка. М., 1995.
- Арутюнова, Кубрякова 1961 – *И.Л. Арутюнова, Е.С. Кубрякова*. Проблемы морфологии в трудах американских дескриптивистов // М.М. Гухман (ред.). Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
- Горбачевич 1978 – *К.С. Горбачевич*. Вариантность слова и языковая норма (на материале современного русского языка). Л., 1978.
- Жирмунский 1976 – *В.М. Жирмунский*. Об аналитических конструкциях // В.М. Жирмунский. Общее и германское языкознание. Л., 1976.
- Зализняк 1967 – *Л.А. Зализняк*. Русское именное словоизменение. М., 1967.
- Иванова 1961 – *И.П. Иванова*. К вопросу о грамматической синонимии (на материале видо-временных форм английского глагола) // Исследования по английской филологии. Сборник II. Л., 1961.
- Карцевский 2004 – *С.И. Карцевский*. Об асимметричном дуализме языкового знака // С.И. Карцевский. Из лингвистического наследия. II. М., 2004.
- Касевич 1986 – *В.Б. Касевич*. Морфонология. Л., 1986.
- Кобозева 2000 – *И.М. Кобозева*. Лингвистическая семантика. М., 2000.
- Кубрякова 1991 – *Е.С. Кубрякова*. Понятие морфемы в современных лингвистических исследованиях за рубежом // Морфема и проблемы типологии. М., 1991.
- Локштанова 1996 – *Л.М. Локиштанова*. Парадигматические потенции и вариативность элементов глагольных систем (на материале датского языка) // Н.Н. Семенюк (ред.). Вариативность в германских языках (функциональные аспекты). М., 1996.
- Мартине 1962 – *А. Мартине*. Структурные вариации в языке // Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1962.
- Мельчук 1968 – *И.А. Мельчук*. Строчение языковых знаков и возможные формально-смысловые отношения между ними // ИАН СЛЯ. 1968. № 5.
- Мельчук 1997 – *И.А. Мельчук*. Курс общей морфологии. Т. I. М.; Wien, 1997.
- Мельчук 1998 – *И.А. Мельчук*. Морфа и морфема // Н.А. Козинцева, А.К. Оглоблин (ред.). Типология. Грамматика. Семантика: К 65-летию В.С. Храковского. СПб., 1998.
- Мельчук 2001 – *И.А. Мельчук*. Курс общей морфологии. Т. IV. М.; Wien, 2001.
- Петрухина 2000 – *Е.В. Петрухина*. Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.
- Пешковский 1930 – *А.М. Пешковский*. Принципы и приемы стилистического анализа и оценки художественной прозы // А.М. Пешковский. Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики. М.; Л., 1930.
- Плунгян 2000 – *В.А. Плунгян*. Общая морфология: введение в проблематику. М., 2000.
- Плунгян 2004 – *В.А. Плунгян*. К дискурсивному описанию аспектуальных показателей // А.П. Володин (ред.). Типологические обоснования в грамматике: К 70-летию проф. В.С. Храковского. М., 2004.

- Розенталь 1968 – Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М., 1968.
- Семенюк (ред.) 1996 – Н.Н. Семенюк (ред.). Вариативность в германских языках (функциональные аспекты). М., 1996.
- Скаличка 1935/1967а – В. Скаличка. Асимметричный дуализм языковых единиц // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
- Скаличка 1935/1967б – В. Скаличка. О грамматике венгерского языка // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
- Скрелина 1987 – Л.М. Скрелина. Грамматическая синонимия: учебное пособие к спецкурсу. Л., 1987.
- Сорокина 2003 – Т.С. Сорокина. Функциональные основы теории грамматической синонимии // ВЯ. 2003. № 3.
- Улукханов 1977 – И.С. Улукханов. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977.
- Шапиро 1955 – А.Б. Шапиро. Некоторые вопросы теории синонимов // Доклады и сообщения ИЯ АН СССР. № 8. 1955.
- Шендельс 1959 – Е. И. Шендельс. Понятие грамматической синонимии // ФН. 1959. № 1.
- Шендельс 1970 – Е.И. Шендельс. Многозначность и синонимия в грамматике (на материале глагольных форм современного немецкого языка). М., 1970.
- Якобсон 1932/1985 – Р.О. Якобсон. О структуре русского глагола // Р.О. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.
- Якобсон 1936/1985 – Р.О. Якобсон. К общему учению о падеже // Р.О. Якобсон. Избранные работы. М., 1985.
- Ярцева 1957 – В.И. Ярцева. О грамматических синонимах // Романо-германская филология. Вып. 1. Л., 1957.
- Ярцева (ред.) 1979 – В.И. Ярцева (ред.). Семантическое и формальное варьирование. М., 1979.
- Ярцева 1979 – В.И. Ярцева. Проблема вариативности на морфологическом уровне языка // Ярцева (ред.). Семантическое и формальное варьирование. М., 1979.
- Aronoff 1976 – M. Aronoff. Word formation in generative grammar. Cambridge (Mass.), 1976.
- Blevins 2000 – J.P. Blevins. Markedness and agreement // Transactions of the philological society. V. 98. № 2. 2000.
- Calvano, Saltarelli 1979 – W.J. Calvano, M.D. Saltarelli. The morphological meaning of phonological rules // Lingua. V. 48. 1979. № 1.
- Croft 2000 – W. Croft. Explaining language change: an evolutionary approach. Harlow, 2000.
- Dahl 2004 – Ö. Dahl. The growth and maintenance of linguistic complexity. Amsterdam, 2004.
- Haiman 1985 – J. Haiman. Natural syntax: Iconicity and erosion. Cambridge, 1985.
- Harris 1942 – Z.S. Harris. Morpheme alternants in linguistic analysis // Language. V. 18. 1942. № 1.
- Hockett 1947 – Ch. Hockett. Problems of morphemic analysis // Language. V. 23. 1947. № 3.
- de Hoop et al. 2004 – H. de Hoop, M. Haverkort, M. van den Noort. Variation in form versus variation in meaning // Lingua. V. 114. 2004.
- Kiparsky 1983 – P. Kiparsky. Word-formation and the lexicon // F. Ingemann (ed.). Proceedings of the 1982 Mid-America linguistics conference. Lawrence (Kansas), 1983.
- van Marle 1985 – J. van Marle. On the paradigmatic dimension of morphological creativity. Dordrecht, 1985.
- Martinet 1955 – A. Martinet. Economic des changements phonétiques. Berne, 1955.
- Miller 1993 – D.G. Miller. Complex verb formation. Amsterdam; Philadelphia, 1993.
- Nida 1949 – E. Nida. Morphology: The descriptive analysis of words. Ann Arbor, 1949.
- Paul 1896 – H. Paul. Über die Aufgaben der Wortbildungslehre // Sitzungberichte der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophische Classe. München, 1896.
- Pinker 1999 – S. Pinker. Word and rules: the ingredients of language. London, 1999.
- Rainer 1988 – F. Rainer. Towards a theory of blocking: the case of Italian and German quality nouns // G. Booij, J. van Marle (eds.). Yearbook of morphology. Dordrecht, 1988.
- Thelin 1991 – N. Thelin. On the concept of time: Prolegomena to a theory of aspect and tense in narrative discourse // L. Waugh, S. Rudy (eds.). New vistas in grammar: Invariance and variation. Amsterdam, 1991.
- Waugh, Rudy (eds.) 1991 – L. Waugh, S. Rudy (eds.). New vistas in grammar: Invariance and variation. Amsterdam, 1991.
- Waugh 1991 – L. Waugh. Tense-aspect and hierarchy of meanings: pragmatic, textual, modal, discourse, expressive, referential // L. Waugh, S. Rudy (eds.). New vistas in grammar: Invariance and variation. Amsterdam, 1991.
- Williams 1997 – E. Williams. Blocking and anaphora // Linguistic inquiry. V. 28. 1997. № 4.

© 2008 г. Ж.В. ГАНИЕВ

**ОБ АДЕКВАТНОМ ОПИСАНИИ РУССКОГО НОРМАТИВНОГО
ПРОИЗНОШЕНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕНИЕМ АКАД. Л.В. ЩЕРБЫ)**

Существующие описания русского нормативного произношения не достигли той полноты, к которой стремился акад. Л.В. Щерба, но не успел ее осуществить: звучание цельных текстов при закономерном чередовании в них полного и разговорного произносительных стилей. В результате 30-летней работы Л.В. Щерба пришел к мысли о включении в понятие стилей произношения и степени четкости (ясности), и качества звуковых сегментов (см. его замечания в [Щерба 1983]).

Автор публикуемой статьи развивает эти щербовские положения, а также его концепцию относительно совершенствования вербального (тембрального) слуха и обучения нормативному произношению в полном объеме. В рамках универсальной методики автор не может считать себя сторонником ленинградско-петербургской традиции в части различения типа произнесения и стиля произношения, поскольку там трактуется возможность/невозможность «фонемной интерпретации» сегментов.

Собственно щербовская концепция русского нормативного произношения имеет неоценимое культурноречевое значение, поскольку учит публичному произношению, необходимости осознавать в связи с этим тривиальное, бытовое звучание в речи – в превентивных целях. Разумеется, рассматривается произношение при порождении цельного текста со стратегией и тактикой развертывания последнего, поэтому ограничиваться пословным (посегментным) различением стилей произношения (см., напр., работы московской школы) не представляется возможным.

На протяжении многих лет Л.В. Щерба стремился к всеохватному достоверному описанию нормативного русского произношения, но огромная занятость в других областях языкознания и прочие обстоятельства (например, эвакуация в 1941–43 гг.) не позволили закончить задуманное (см. [Колесов 1987; Зиндер, Маслов 1982])¹. Его ученики не продвинулись существенно в этом научном направлении, где центральное место принадлежит щербовскому понятию о стилях произношения. Эта категория была названа маргинальной, занимающей «в фонетике периферийное место, несмотря на то что этого вопроса касаются в той или иной степени многие авторы» [Бондарко, Вербицкая и др. 1974: 64]. Ленинградские лингвисты были правы в том, что Щерба как бы заблокировал проблему, назвав ключевое понятие в произношении стилями. В начале прошлого века и в наше время лингвистическое понимание стилей (или функциональных стилей) производно от таких факторов, как типовое содержание, цели общения, способы речевого выражения, социально значимые сферы общения и деятельности, соотносимые с определенными формами сознания [СС 2003: 581–583]. К стилиевым средствам относятся единицы уровней означаемого, т.е. единицы лексики и фразеологии, морфологии, словообразования, синтаксиса. Тем более что лексема *стиль* на протяжении более двухсот лет распалась на омонимы, а один из них включает не менее восьми значений. Имя в виду эту путаницу относительно фонетического термина, которую Щерба унаследовал в 1907–1908 гг. от своих старших коллег в Ев-

¹ См. также статьи Д.Л. Щербы, В.В. Виноградова, Л.Р. Зиндера, М.И. Матусевич, Е.С. Истриной, Л.И. Жиркова в разделе I сборника статей «Памяти акад. Л.В. Щербы» (1951).

ропе П. Пасси и Г. Суита, последователи Л.В. Щербы в упомянутой статье охарактеризовали ситуацию так: «Повод для этого был дан самим Щербой. Во-первых, употребив термин “стиль”, он сам спровоцировал слишком широкое и даже неверное истолкование рассматриваемого им явления. Во-вторых, в некоторых высказываниях он прямо включал свои стили в стили речи вообще» [Бондарко, Вербицкая и др. 1974: 64]. Р.И. Аванесов в 1950 г., А.Н. Гвоздев в 1955 г., М.В. Панов в 1963 г. связывали понятие стилей произношения с «параллельными» явлениями в лексике и грамматике, которые в соответствии со стилистической окраской нуждаются в определенном фонетическом оформлении [Аванесов 1950: 10; Гвоздев 1963: 75; Панов 1963: 5].

На самом деле ни предшественники Л.В. Щербы (П. Пасси, Г. Суит, Д. Джоунз), ни сам он не имели в виду изоморфизм и прямую связанность стилей произношения со стилистической окраской лексико-грамматических явлений; эта фонетическая категория предусматривала культуру произношения в различных ситуациях, многообразие произносительных вариантов в пределах нормативной речи. В этом случае при обучении рекомендовалась поначалу одна из разновидностей с дальнейшим расширением спектра этих стилей произношения. Можно только пожалеть, что в условиях конца XIX – начала XX в. было использовано нетерминологичное по своим семантическим связям слово *стиль*, по существу не термин. Такое несоответствие было отмечено и ранее 1974 года (см. указ. выше статью ленинградцев); Р.И. Яковсон, его ученик М. Шапиро и др. предлагали называть разновидности нормативного произношения (аналоги щербовских стилей) разными кодами в произнесении [Яковсон, Халле 1962: 234–235; Shapiro 1968: VII]. Целесообразно, во избежание путаницы в лингвистических понятиях, разновидности нормативного произношения называть кодами, имея в виду под ними щербовские стили. Сказанное здесь никак не связано с концепцией проф. Л.Р. Зиндера и его учеников относительно типа произнесения, где в традициях ленинградско-петербургской фонологической школы рассматривается возможность/невозможность «фонемной интерпретации».

Варианты в нормативном произношении развитого литературного языка существуют объективно [Горбачевич 1978: 123–136]. В результате массового переселения русских людей из деревень и поселков в большие города (наибольшее стремление было в Москву и Ленинград) в 20–40-е гг. XX в. и «демократизации» литературного языка в речи новой («красной») интеллигенции (общественных деятелей, писателей, преподавателей, ученых) наши орфоэписты² сознательно дистанцировались от проблемы произносительной вариантности. А Щерба – нет, он не опасался наступления диалектов и просторечия на литературное произношение и уверенно работал над первой академической грамматикой русского языка XX в. (являясь автором и редактором первого тома, который включал фонетику и морфологию; работа была ему поручена в 1938 г. Институтом языка и мышления АН СССР). Вот один из аспектов тогдашней его работы: «Лев Владимирович участвует... в составлении вопросника по нормам произношения и по грамматическим нормам» для распространения «в широких кругах интеллигенции» [Щерба Д.Л. 1951: 18]. Выделенные и противопоставленные два стиля произношения в 1937 г. (год публикации его «Фонетики французского языка») Л.В. Щерба назвал окончательно полным и разговорным стилями. Дихотомия решала две крупнейшие проблемы: адекватное описание вариативного (согласно норме) произношения³ и повышение культуры профессионального (в том числе публичного) произношения [Ганиев 1990: 108–112]. В одном это прекрасное дело Щербы не соот-

² Р.Б. Тарковский назвал их «московскими орфоэпами», пейоративным словом из-за его какофоничности [Тарковский 2006].

³ Могу засвидетельствовать, что, обучая иностранцев безвариантному нормативному произношению, преподаватели РКИ спустя пару лет пребывания бывших «приготовишек» в русскоязычной среде слышали от них при встрече понятное и необидное замечание: «Вы учили нас не той фонетике».

ветствовало названным проблемам. Если целью его полного стиля была возможность опознания фонемы (в петербургско-ленинградском понимании), то, например, в безударном вокализме в ряде случаев этот полный стиль практически невозможно ни воплотить, ни услышать; словом, это была не красивая идея (речь идет о части «идеального фонетического состава слов»). Ср.: в 1911 г. он транскрибирует в этом стиле [vr'ém'e, zakútanava], здесь же [tadá]; в другой того же времени транскрипция «неубыстренного» произношения [kadá, n'ikadá], неразличение безударных [ъ-ы]:[shtъ/ыбъ/ы, тъ/ы val'álsъ/ы]; в транскрипции 1937 г. [pám'atn'ik, n'epakórnaj] (род.п. ж.р.) [Ščerba 1911]; щербовская транскрипция в [Passy 1922: 132; Щерба 1953: 21].

В общей картине произношения имеются две пары контроверз, и выбрать определенный порядок изложения четырех континуумов означает принять концептуальное решение. Первая пара – коды (щербовские стили) произношения: «В русском языке разница между этими двумя стилями произношения исключительно велика...» [Щерба 1953: 22]. Если иметь в виду культуру произношения, например, в публичной, сценической, учебной и т.д. речи, следовало бы начинать описание общей картины произношения со сведений о неполном коде произношения – т.е. с того, что надо исключить из речи профессиональной (или же употреблять это в ней в особых стилистических целях: пародия, речь персонажей известного типа и т.д.). Такой порядок изложения, например, при обучении сценической речи или чтению классических стихов, способствует тому (как выразился Щерба и его ученик проф. Л.П. Якубинский), что «звуки речи... всплывают в светлое поле сознания и внимание сосредоточено на них» [Якубинский 1916: 44; перепечатки: Поэтика 1919: 38, Якубинский 1986: 164], т.е. совершенствуется речевой (или вербальный, тембральный) слух. Это превентивный (или предупредительный) способ. Затем следует описание полного кода произношения. Этот путь опробован на практике еще в XIX в., «классики фонетической методики в своем увлечении открытым ими (в буквальном смысле этого слова) разговорным стилем хотели начинать с него (см. книжечку *Sweet. Gesprochenes English*)» [Щерба 1953: 22]. Одна из глав пособия Г. Суита так и называлась: «Начинайте с разговорной речи».

Будучи непревзойденным специалистом в методике преподавания языка, Щерба считал этот порядок неверным: на самом деле глобальное описание произношения надо начинать с полного «стиля», а от него переходить к неполному (разговорному). Он так прокомментировал предпочтения Г. Суита: «...Это, конечно, неверно: нет и не может быть общих правил, как переходить от разговорного стиля к полному...; правила же обратные – вполне реальны (ср., например, ...*Богородицкий*, Курс русской грамматики, 1935, отдел о неударяемом вокализме и т.д.)» [Щерба 1953: 22]; см. также [Ганиев 2007: 101–107]. Об этом же говорит и порядок расположения двух кодов («стилей») в предложенном Щербой проекте орфоэпического словаря русского языка, например, *здра(в)ствуйте – здрасте* [Щерба 1957: 143].

Второй из вопросов (пары контроверз) касается взаиморасположения вокализма и консонантизма, т.е. какая из систем в произношении должна быть описана раньше – гласные или согласные. Что касается фонологии, то прав был проф. С.Б. Бернштейн, указавший на ведущую роль консонантизма по отношению к вокализму в русском языке, тогда как в латинском, английском и др. европейских языках ведущие роли играет вокализм. Поэтому, по мнению Бернштейна, описание фонологической системы русского языка следует начинать с консонантизма, а система гласных рядом с ним играет подчиненную роль [Бернштейн 1961].

Что же касается произношения, то обращает на себя внимание в первую очередь, представляя собой трудность для освоения и (учебного) усвоения, слабая в информативном отношении часть звучания русской речи – гласные звуки. Здесь различительная способность безударных гласных низка, в том числе в результате частых нейтрализаций (неразличения в слабых позициях), роль гласных сводится к созданию некоего базового фона для развертывания семантически нагруженных консонантных различий. Другими словами, вокалические оттенки в произношении труднее осозна-

ются и осваиваются, чем согласные звуки (вспомним, насколько труднее учащимся «разобраться» в гласных звуках, чем в согласных, при изучении и освоении русской транскрипции).

Из двух названных противопоставлений при описании звучания (коды и системы гласных и согласных звуков) нуждается в более пристальном анализе основная щербовская категория – его «стили» (коды) произношения. Не все в произношении вариативно, есть много случаев безвариантного («невариабельного») или же равноправного произношения, что в кодах, естественно, не учитывается (словоформы *столы, дом, жить, крах* и др.; долгий или нормально краткий согласный звук в случаях *расстояние, полтинник, расстроить* и др. с удвоенными буквами; равноправны ударения в *вóлнам и волна́м, и́скристый и искри́стый* и т.д.).

1. Инвентарь полного кода приведен в разделе «Фонетика» академической «Грамматики русского языка» [Грамматика 1952], написанном в основном Щербой, в его небольшой книге [Щерба 1983], а также в пособиях Р.И. Аванесова, книгах московских и петербургских ученых. Главное в речевом освоении полного кода – навык, основанный на знании и умении; при этом произношение как таковое не отделяется от степени его отчетливости, внятности.

Владение текстом (или умение выстроить текст) отнюдь не означает еще, что освоена на необходимом уровне и его произносительная сторона. Оценки приемлемости – неприемлемости звуковой стороны публичной речи основаны у слушателей на общественно-эстетическом опыте, авторитете образцов; неумение подняться в произнесении до необходимого уровня расценивается как недостаток общей культуры личности. Выступающий, да и сама обстановка публичной речи (заседание, лекция, урок и т.д.) стремятся к реализации целевой установки (убеждение, внушение, побуждение и т.д.), но если лексико-грамматическая сторона речи способна захватить слушателя, а звуковое оформление далеко не отвечает ожиданиям, это оборачивается потерями в речевом воздействии.

Человек, не учившийся профессиональному произношению, выдает себя очень скоро, а ведь выступающий силой обстоятельств предстает в роли лидера, авторитет которого, в ряду других факторов, мог бы укрепиться также за счет правильности и мастерства его речи. Вот что писал почти сто лет назад один из русских педагогов: «...Наша публика... весьма чутка к тому, что называется отчетливым и правильным произношением, и бывает иногда, что оратора, страдающего в этом отношении, провожат такими замечаниями: “Прежде научился бы говорить, а потом выступал бы”» [Италинский 1913: 53].

У человека без опыта публичных выступлений имеются своеобразные представления о том, как следует читать или говорить, идущие вразрез с ожиданиями аудитории. Техника его речи напоминает обыденное говорение при непосредственном общении – не потому, что неопытный оратор пренебрегает интересами слушателей. Предмет своей публичной речи, ход рассуждений в ней человеку, обуреваемому эмоциями «ораторской лихорадки», представляются тривиальными, а произносить выразительнее, четче, медленнее ему кажется проявлением нескромности.

В редких речевых ситуациях, исключая непрофессиональные (неполные) варианты произношения, в публичную, несбыденную речь произвольно проникают разговорные особенности (элементы противоположного кода), ставшие прочным стереотипом автоматизированной, фонетически не контролируемой речи. Непрофессиональное произношение наблюдается и при чтении вслух с развитием его беглости, когда большая предсказуемость порождает ощущение и выражение тривиальности. Небрежные сокращения в публичном произношении носителей нормативного языка встречаются гораздо чаще, чем полагают: звучит *пийсят* или *писят*, часто с глухим предударным гласным, вместо [п'ьд'и'с'ят]; [выхóит'ь] (иногда с губно-губным [w] в начале) вместо [выхóд'ит'ь]; [wòс'м'с'тАрòм] вместо [в: ос'ьм'д'ьс'ьт фтАрòм] и т.д.

Существует понятие о неодинаковых степенях тщательности, ясности артикуляции при произнесении звуков – дикция. Имеется определенная связь между стилями (кода-

ми) произношения и качеством дикции: в неполных вариантах произношения чаще наблюдается неотчетливая, небрежная дикция, а в профессиональном произношении полных вариантов – отчетливое, ясное произнесение, хорошая дикция (см. об этом [Культура русской речи 2003: 712–713]).

Чрезвычайную важность и целесообразность различения стилей (кодов) произношения, степеней отчетливости в артикуляции для методики обучения орфоэпии родной речи подчеркивал Л.В. Щерба. Это не дается само собой, требует специального внимания, целенаправленной тренировки для приобретения необходимых навыков.

Между функциональными стилями (объединяющими средства лексики, грамматики, словообразования) и вариантами нормированного произношения имеется большая разница в их природе, возможностях освоения и употребления в речи. Если носителю литературного языка для понимания природы функциональных стилей достаточно определенной информации об этом, чтобы осознать их употребление («дисциплина типа истории»), то проблема вариантов (кодов) в произношении для него изначально намного сложнее. Из-за опосредованной, не прямой связи сознания с произносительными навыками фонетический уровень, единицы которого носят односторонний характер (означающее), в присамах освоения нового – этот уровень, в разграничении вариантов – противопоставлен остальным уровням языка (т.е. это «дисциплина типа спорта»). Специалисту нередко приходится встречаться с недоверием обучаемых, когда он демонстрирует им вариативность их собственного произношения – настолько это им кажется неочевидным [Sweet 1911: VIII–IX; РЯСО 1968: 109; Щерба 1974: 36]. Ср. замечание Щербы: «...Все эти колебания нормально нами не осознаются, оставаясь ниже порога сознания... Насколько же однако трудно обратить на них внимание впервые, явствует из того, что “открытие” того или другого оттенка обыкновенно вменяется в особую заслугу» [Щерба 1983: 3, 4]. Обучение строгим вариантам, освоение профессионального произношения (полного кода) – процесс нелегкий. Пока новый навык не стал вполне автоматизированным, достаточно самоконтролю исчезнуть или хотя бы ослабеть, чтобы создались условия для возвращения привычного разговорного стереотипа (неполного кода).

2. «Правила перехода» к неполному коду описаны В.А. Богородицким, в новое время Л.Р. Зиндером, Г.А. Бариновой, Н.Н. Розановой, Л.Л. Касаткиным и др. [Богородицкий 1939: 125–129; Зиндер 1948; 1964; Баринова 1973: 40–128; Кодзасов 1973: 109–133; Сиротина 1974; Розанова 1996: 23–53; Касаткин 2006: 181–206].

Непринужденный разговор родственников или друзей характеризуется короткими фразами и синтагмами, большим диапазоном в изменении высоты тона и в интенсивности (степени интонационного подчеркивания). В непринужденной речи субъективная модальность как бы превалирует над несложной предметной информацией с бытовым ее осмыслением. Содержание, модальность, просодика разговорной речи таковы, что наряду с полными звуковыми вариантами, например, в реме высказывания, велика в ней доля ослабленных произносительных вариантов, как правило, в интонационных промежутках между выделенными словоформами, например [фк:омгАду] с [к] слоговым, [вжыз(н)дАрбжнм] с [з, н] слоговыми⁴.

Параллельно с этим утверждение, что профессиональная речь должна произноситься сплошь полным кодом, было бы упрощением; конечно, в ней закономерно встречаются предсказуемые или тривиальные словоформы, которые обычно находятся в интонационной «тени» (т.е. не выделены) и поэтому звучат в коде неполном (например, [къ'шнъ] (конечно), [сбпснъ] с внутрисловным [с] слоговым (собственно), [ш'ас] и т.д.). Другими словами, текст не «разнимается» на последовательность полных и неполных произносительных кодов, а при порождении своем закономерно чередует доли тех и других. Значит, адекватная фонетика – это не только строчки фоностилистического словаря (о котором мечтал Щерба), а изучение фонетического

⁴ Подробнее о такой совместимости см. [Ганиев 1990: 130–131].

текста как закономерностей в употреблении кодов (где они возможны). Звучание «пульсирует», коды в нем перемежаются, имея в целом преимущество в полном или неполном вариантах – в зависимости от текстообразующих факторов (обстановка речи, тема, коммуникативная направленность, субъективная модальность, адресат и т.д.)⁵. При поверхностном слушании может показаться, что текст исполнен в духе одного кода, но те, кто занимается сплошной транскрипцией цельного текста (пусть и в диалогической речи), знают, что он никогда не бывает выдержан в единственном коде. Ср.: «Таким образом, речевая цель обычно неоднородна. Она образуется сегментами полного типа... и сегментами неполного типа» [Бондарко, Вербицкая и др. 1974: 66].

Обыденная речь в высокой степени насыщена типизированными конструкциями и клише (как говорил Щерба, сознательность ее стремится к нулю). Будучи связанной с предметной ситуацией, она становится понятной с полуслова, имсет вид «необходимых намеков», рассчитанных на «понимание догадкой» (Е.Д. Поливанов). При известной общности «апперципирующих масс у собеседников» (Л.П. Якубинский) восприятие речи становится активным процессом встречного прогнозирования принимаемого сообщения. Человек адекватно «слышит» реально пропущенные или измененные звуки, недостающая фонетическая информация (сегменты) компенсируется, кроме чрезвычайно существенных вслингвистических факторов (общий жизненный опыт, знание ситуации, собеседника и т.п.), более высокими языковыми уровнями (опознание словоформы в типизированной конструкции с ее привычным ходом мысли и интонированием). Восприятие в непринужденной ситуации опирается на часть фонемной информации, «спеша» перейти к смыслу путем выдвижения гипотез и их дальнейшей корректировки [Касевич 1974: 74–76]. Иными словами, собеседники в разговоре понимают друг друга не потому, что просто слышат, а наоборот, слышат потому, что понимают.

Характерная особенность обыденной речи – эллипсис (пропуск) элементов; существуют сокращенные варианты форм, фраз, текстов, обеспечивающие коммуникацию в обстановке разговорной речи. В произношении эллипсис одних сегментов сопровождается ослаблением, изменением в произношении (большей редукцией) других элементов.

Вариативные (вариабельные по произношению) клишированные тексты, фразы, синтагмы, словоформы подвержены в речи действию потенциальных факторов, касающихся фонемного состава и размещения позиций; указанные факторы представляют собой необходимые условия для изменения относительной длительности частей, степени их отчетливости или даже нулизации в фонетическом слове, синтагме. Эти позиции в слове и звучание словоформ в разговорной речи подробно описаны в лингвистической литературе (см., напр. [Баринава 1973; Ганиев 1990: 136–144] и др.). Особый интерес представляют исследования ученика акад. Л.В. Щербы проф. Л.Р. Зиндера, проведенные им и его сотрудниками в Лаборатории экспериментальной фонетики им. акад. Л.В. Щербы в ЛГУ в 60–70 гг. Оознаваемость текстов, фраз, словоформ часто при колоссальном эллипсисе основана на понятии избыточности языка (согласно общей теории информации). Л.Р. Зиндер исследовал действие эллипсиса на звуковые (фонемные) сегменты и установил, что «наиболее устойчивыми являются глухие щелевые и аффрикаты. (К аффрикатам примыкает палатализованное [tʰ], которое произносится как мягкое [cʰ].) Они обладают наибольшей среди согласных средней длительностью, что является фактором, благоприятствующим и их артикуляции, и их восприятию. ...Следующими по степени устойчивости из согласных можно считать глухие согласные (кроме [tʰ]).

Далее по степени устойчивости идут все звонкие согласные, включая сонанты. ...Обобщая приведенные данные о степени устойчивости разных согласных, можно

⁵ Конечно, при общей «кодовой» оценке (идентификации) произносимого текста играют роль и парафонетические явления. Их меньше в строгом варианте произношения и больше в непринужденной речи, см. [Ганиев 2002: 75–81].

сказать, что чем тот или иной согласный ближе по своей акустической природе к гласным, тем он менее устойчив. Что касается гласных, то безударные гласные несомненно являются в русской речи самыми неустойчивыми звуками... Наибольшей устойчивостью среди ударных гласных отличаются [u] и [i]» [Зиндер 1964: 26, 27].

Описанные особенности, как сказано выше, относятся к потенциальным факторам, касающимся реализации фонем в определенных позициях. Другие факторы ослабления сегментов в произношении, называемые реализующими, проявляются только на протяжении единиц коммуникации, где употреблена данная словоформа, и текста в целом. Воздействие этих двух типов факторов на звучание словоформы или синтагмы в тексте можно сравнить с действием силы на тело, когда физические изменения в нем определяются его структурой (потенциальные факторы) и поэтому предсказуемы.

Различные типы устной речи знают разные реализующие факторы; в спонтанной или подготовленной официальной речи, в интервью, в пересказе, при меняющихся социальных характеристиках коммуникантов, тех или других их взаимоотношениях, различной субъективной модальности (напр., отношение к предмету речи) и т.д. можно ожидать различные варианты реализующих факторов. Чтение вслух в принципе отличается от спонтанной и диалогической речи умением предугадывать дальнейшее развитие текста и автоматизированное исполнение его «блоков». Здесь при ослаблении на передний план выступает сознание тривиальности (рутинности) этих «блоков» – лексической, грамматической, фонетической. Следовательно, разница в процессах порождения типов речи обуславливает своеобразие реализующих факторов в характере фонетического ослабления. Виртуальные же факторы ослабления – фонетические условия внутри словоформы, синтагмы – в разных типах звучащей речи приблизительно одинаковы.

Исполняется 100 лет первым публикациям Щербы, направленным на адекватное описание произношения в его нормативных вариантах. Обратился он к вариативности, чтобы «отворить» вербальный слух соотечественникам, тем самым повысить культуру русского нормативного произношения, и, во-вторых, для улучшения методики обучения языку. Если бы воплотилась мечта Л.В. Щербы об издании русского орфоэпического словаря с двумя колонками – с полным и неполным произношением, а также о создании адекватного глобального описания русского нормативного произношения, завершился бы полный цикл его идеи, поднятой им в начале XX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов 1950 – *Р.И. Аванесов*. Русское литературное произношение. М., 1950.
Баринова 1973 – *Г.А. Баринова*. Фонетика // Русская разговорная речь / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 1973.
Бернштейн 1961 – *С.Б. Бернштейн*. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
Богородицкий 1939 – *В.А. Богородицкий*. Очерки по языкознанию и русскому языку. М., 1939.
Бондарко, Вербицкая и др. 1974 – *Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, М.В. Гордина, Л.Р. Зиндер, В.Б. Касевич*. Стили произношения и типы произнесения // ВЯ. 1974. № 2.
Ганиев 1990 – *Ж.В. Ганиев*. Русский язык: Фонетика и орфоэпия. М., 1990.
Ганиев 2002 – *Ж.В. Ганиев*. Что значат неязыковые явления в фонетике? (Полный перечень русских литературных парафонетизмов) // Фонетика в системе языка: Сб. статей. Вып. 3. Ч. 1. М., 2002.
Ганиев 2007 – *Ж.В. Ганиев, В.А. Богородицкий* о вариантах произношения в субстандарте. (К 150-летию со дня рождения ученого и педагога) // ФН. 2007. № 1.
Гвоздев 1963 – *А.Н. Гвоздев*. Современный русский литературный язык. 3-е изд. Ч. 1. М., 1963.
Горбачевич 1978 – *К.С. Горбачевич*. Вариантность слова и языковая норма (на материале современного русского языка). Л., 1978.
Грамматика 1952 – Грамматика русского языка. Т. 1. М., 1952.
Зиндер 1948 – *Л.Р. Зиндер*. Существуют ли звуки речи? // ИАН ОЛЯ. 1948. Вып. 4.

- Зиндер 1964 – *Л.Р. Зиндер*. Влияние темпа речи на образование отдельных звуков // Учен. зап. ЛГУ. № 325. Серия филологических наук. Вып. 69. Вопросы фонетики. Л., 1964.
- Зиндер, Маслов 1982 – *Л.Р. Зиндер, Ю.С. Маслов*. Л.В. Щерба – лингвист-теоретик и педагог. Л., 1982.
- Италинский 1913 – *А.Д. Италинский*. Происхождение, свойства и особенности правильной русской речи. С методическими указаниями для учителя начальной школы. М., 1913.
- Касаткин 2006 – *Л.Л. Касаткин*. Современный русский язык: Фонетика. М., 2006.
- Касевич 1974 – *В.Б. Касевич*. О восприятии речи // ВЯ. 1974. № 4.
- Кодзасов 1973 – *С.В. Кодзасов*. Фонетический эллипсис в русской разговорной речи // Теоретические и экспериментальные исследования в области структурной и прикладной лингвистики. М., 1973.
- Колесов 1987 – *В.В. Колесов*. Л.В. Щерба: Кн. для учащихся. М., 1987.
- Культура русской речи 2003 – Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. М., 2003.
- Памяти акад. Л.В. Щербы 1951 – Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880–1944). Л., 1951.
- Панов 1963 – *М.В. Панов*. О стилях произношения (в связи с общими проблемами стилистики) // Развитие современного русского языка / Под ред. С.И. Ожегова и М.В. Панова. М., 1963.
- Поэтика 1919 – Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1919.
- Розанова 1996 – *И.Н. Розанова*. Фонетика разговорной речи. Взаимодействие сегментных и суперсегментных единиц // Русский язык в его функционировании. Уровни языка. М., 1996.
- РЯСО 1968 – Русский язык и советское общество. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры / Под ред. М.В. Панова. М., 1968.
- Сиротинина 1974 – *О.Б. Сиротинина*. Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974.
- СС 2003 – Стилистический энциклопедический словарь русского языка // Под ред. М.Н. Кожинной. М., 2003.
- Тарковский 2006 – *Р.Б. Тарковский*. Русская поэзия и московские орфоэпы. СПб., 2006.
- Щерба Д.Л. 1951 – *Д.Л. Щерба*. Лев Владимирович Щерба (1880–1944) // Памяти академика Льва Владимировича Щербы: Сб. статей. Л., 1951.
- Щерба 1953 – *Л.В. Щерба*. Фонетика французского языка. Очерк французского произношения в сравнении с русским. 4-е изд., испр и расшир. М., 1953.
- Щерба 1957 – *Л.В. Щерба*. К вопросу о русской орфоэпии // Л.В. Щерба. Избр. работы по русскому языку. М., 1957.
- Щерба 1974 – *Л.В. Щерба*. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Щерба 1983 – *Л.В. Щерба*. Теория русского письма. Л., 1983.
- Якобсон, Халле 1962 – *Р. Якобсон, М. Халле*. Фонология и ее отношение к фонетике // Новое в лингвистике. М., 1962. Вып. II.
- Якубинский 1916 – *Л.П. Якубинский*. О звуках стихотворного языка // Сборники по теории поэтического языка. Петроград, 1916. Вып. I.
- Якубинский 1986 – *Л.П. Якубинский*. Избранные работы: Язык и его функционирование / Отв. ред. А.А. Лесотьев. М., 1986.
- Passy 1992 – *P. Passy*. Petite phonétique comparée des principales langues Européennes. 3-me ed. Leipzig: Berlin, 1922.
- Shapiro 1968 – *M. Shapiro*. Russian phonetic variants and phonostylistics. Berkeley, 1968.
- Sweet 1911 – *H. Sweet*. A primer of spoken English. Oxford, 1911.
- Ščerba 1911 – *L. Ščerba*. Court exposé de la prononciation russe. Paris, 1911.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Passivization and typology: Form and function / Ed. by W. Abraham, L. Leisiö. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2006. 553 p. (Typological studies in language. V. 68)¹

Очередной выпуск TSL (подготовленный выдающимся лингвистом-типологом В. Абрахамом и известным финно-угроведом Л. Лейсьё) посвящен проблемам пассивного залога, рассматриваемым в типологическом и кросс-лингвистическом аспекте. Основные вопросы, интересующие авторов, суть следующие. Что такое пассивный залог, как он соотносится со смежными категориями (средним залогом, безличными конструкциями, категорией состояния, так называемым антикаузативом)? Можно ли говорить о пассивном залоге как универсалии? Какова актантная рамка пассива, и как он связан с аспектно-временной и модальной системами глагола? Эти вопросы рассматриваются как во введении, написанном В. Абрахамом, так и в статьях, привлекающих материал литовского, санскрита, китайского, тайского, нганасанского, эрзя-мордовского, итальянского, испанского, немецкого, английского, голландского, японского языков. Одни статьи посвящены описанию пассива в исследуемых языках, в других на конкретном языковом материале решаются общетеоретические вопросы.

В предисловии В. Абрахам очерчивает круг теоретических вопросов, с которыми связывается категория пассива. Это, во-первых, проблема выделения пассива как отдельной граммы: во всех ли языках мира она представлена? Залог – действительно универсальная категория, но каковы формальные и содержательные характеристики именно пассива? Очевидно, это прежде всего изменение статуса актора, а именно понижение его в ранге (agent/actor demotion, defocus-

ing²). Мы бы сказали так: из актанта он превращается в сирконстант, который по определению может быть опущен. Конечно, отсутствие агенса в предложении всегда существенно для смысла и стиля: существуют понятия общего и неопределенного субъекта. Важнейшей же формальной чертой пассива является специальная глагольная форма. Но она часто объединяет его с иными диатезами и не только с ними. Пассив часто выражается рефлексивами (что его объединяет с медиальным залогом), стативно-перфектными формами глагола, т.е., как правило, стативно-результативными причастиями и прилагательными. Нередко для их разграничения служат вспомогательные глаголы. Так, в немецком языке сочетание причастия II с глаголом *haben* образует активный залог, с глаголом *sein* – статив, а с *werden* – пассив: *Er hat die Tür geöffnet* «он открыл дверь» – *die Tür wird geöffnet (von ihm)* «дверь открывается (им)» – *die Tür ist geöffnet* «дверь открыта» (в последнем предложении невозможно появление имени актора)³. Все остальные черты пассива можно считать производными от первых двух. Так, перевод же объекта в ранг субъекта (повышение ранга) – это частое, но не обязательное явление, естественно, возможно лишь в случае устранения агенса. В. Абрахам указывает, что в древнесардинском диалекте итальян-

² Этому вопросу специально посвящены статьи А. Сансо и Д. Каллили, которые мы рассмотрим далее.

³ Говоря точнее, и первое пассивное предложение: *Дверь открывается* двусмысленно: русский возвратный глагол может иметь и простое непереходное значение. В этом случае эквивалентом будет нем. *die Tür öffnet sich*.

¹ Выражаю глубокую признательность Г. Климоновой и О. Хайдль, которые ознакомились с текстом и высказали ряд важных замечаний и уточнений.

ского встречается пассив с именем логического объекта в аккумулятиве: *furon binkitos parentes de piskopu* 'родители были прокляты епископом' (дословно: 'были родителей проклятых от епископа').

Здесь возникает серьезный вопрос: связаны ли пассив с системой аспектов или только с ролевыми функциями актантов? Эта проблема существенна для истории немецкого языка: на стадии древневерхненемецкого пассивных конструкций просто не существовало, они развились из причастных оборотов. Следовательно, возникает вопрос о механизмах такого перехода: связаны ли они с лексическим значением вспомогательных глаголов или с абстрактными синтаксическими чертами причастий? Возможно (Абрахам иллюстрирует это анализом нидерландского причастия *begonnen* «начатый»), дело в том, что некоторые глаголы могут быть одно- или двухактантными. Это сказывается в том, что одна и та же перифрастическая конструкция может быть активной и пассивной: нидерл. *het is begonnen* «он стал (сделался)» vs. нидерл. *wij zijn 't begonnen* «мы это начали». Таким образом, по мнению автора, именно западногерманские языки (немецкий, нидерландский, английский) позволяют поставить вопрос о генезисе пассивных функций (и представленные в книге статьи А. Сансо и К. Аридзи по-разному рассматривают эту проблему). Дискуссионным является и проблема выражения пассивной семантики в венгерском и финском, где нет специальной пассивной морфологии. Во введении также рассматривается взаимоотношение акционального и статального, личного и безличного пассивов, пассива и рефлексива (который именуется синтаксическим пассивом⁴), развитие стативного значения в предикативных прилагательных и т.д. Неожиданным и интересным поворотом темы является привлечение материала креольских языков, в частности, латиноамериканских в Гвиане, содержащих черты нидерландского и испанского. Пассив в них находится in

⁴ Автор имеет в виду, что во многих языках возвратные местоимения сохраняют относительную независимость, так что их сочетание с глаголом является чисто синтаксическим. Это справедливо относительно немецкого, романских и древнерусского языков; в литовском языке возвратная частица составляет вместе с глаголом фонетическое слово, в современном русском ее место жестко фиксировано. Таким образом, «синтаксический пассив» подвержен грамматикализации.

statu nascendi, и Абрахам отмечает, что пассивное значение в нем выражено с помощью перфектного отглагольного прилагательного, причем в глаголах нидерландского происхождения появляется префикс *h-*, происходящий из общегерманского перфективного *ge-*.

В статье Э.Ш. Генюшене рассматривается литовский пассив в сопоставлении с русским (справедливости ради отметим, что русского материала в статье значительно меньше, чем литовского). Автор рассматривает три базовые конструкции: акциональная, статальная и эвиденциальная. Первая из них образуется с помощью страдательного причастия настоящего и прошедшего времени: литовск. *Petras atveria langą* «Пётр отворил дверь» → литовск. *Langas (yra) atveriamas (Petro)* «Дверь отворена Петром»; в прошедшем времени то же: литовск. *Petras buvo atvėręs langą* → литовск. *Langas buvo atvertas (Petro)*. Акциональный пассив, таким образом, представляет собой трансформацию переходного глагола, при котором допустимо имя агенса. Статальный же пассив возможен только с причастиями прошедшего времени, и имя агенса при нем недопустимо: литовск. *Langas (yra) (vis dar) atvertas* «Дверь уже открыта». Сочетание причастия на *-ta-* с вспомогательным глаголом в настоящем времени, в отличие от акциональной конструкции, относит время предложения к презенсу. Акциональный пассив, таким образом, выражает событие, а статальный – состояние⁵. Эвиденциальный пассив образуется с помощью страдательных причастий (на *-ta-*, реже на *-ma*), без глагола-связки, с обязательным именем деятеля: литовск. *Vagis nusikirto visus kapustus* «Вор похитил все кочаны» → литовск. *Vagies nusikirsta visai kapustai* «Вором похищены все кочаны капусты». Предикат со страдательным субъектом не согласован. Такой пассив имеет модальное значение: уверенность/неуверенность, неочевидность события, используется в качестве пересказательного времени. Кроме того, в литовском языке имеются предложения с возвратными частицами, близкие по значению к пассивным. Автор отмечает, что они часто сочетаются с характеризующими наречиями: *gerai* «хорошо», *sunkiai* «с трудом», *lengvai* «легко», *greitai* «быстро» и т.д. Они указывают на определенное положение вещей. Автор выделяет антикаузативы и потенциальные пассивы. Пример первого – литовск. *durys*

⁵ См. о понятиях *акциональность* и *статальность* на материале русского языка [Князев 1989].

*atsidare*⁶ «дверь открылась», пример второго – литовск. *durys sinkiai atsidaro* «дверь открывается с трудом». Это весьма важное различие. В антикаузативах присутствие агенса невозможно, ибо они указывают на спонтанные, незапланированные события, совершающиеся без участия деятеля. Потенциальные же пассивы подразумевают возможность деятеля, но акцент в этих высказываниях сделан на характере протекания событий, и имя агенса в них коммуникативно излишне. Отмечу, что русские конструкции предоставляют важную параллель литовским, что у Э.Ш. Генюшене подчеркнута недостаточно. Это доказывают уже переводы ее примеров на русский язык. Конечно, русская система залогов отличается от литовской тем, что возвратные глаголы могут выражать и пассивное значение. Однако в целом сходство обоих языков в этой области велико: оба отражают развитие общиндоевропейской модели среднего залога (см. подробнее [Krasukhin 2006]), который развивается и в пассив. Кроме этого, можно назвать еще несколько важных точек соприкосновения русского и литовского пассива. Во-первых, возвратные глаголы совершенного вида не выражают пассивного залога: *Дом строится рабочими* при невозможности **Дом построился рабочими*. В этом случае возможно только страдательное причастие, – как и в литовском. Во-вторых, как отмечает Э. Генюшене, в литовских говорах возможно рассогласование причастий с предикатами и в акциональных пассивах. Это очень напоминает северорусские конструкции типа *У волков корову съедено, Дорогу / Дорога здесь идёно / шодши* [Кузьмина, Левченко 1971]. Существенным различием, конечно, является падеж агенса при страдательном причастии – генитив в литовском и творительный падеж в русском. Это напоминает взаимоотношение падежей в древнеиндийском и древнеперсидском пассиве: др.-инд. *mayá kṛtám* «мною сделано» (инструменталь) – др.-перс. *mana kartam* «то же» (генитив). Последняя конструкция почти пофонемно соответствует литовск. *máno kūrta*. Как показал Дж. Кардона, генитивный агент характеризует именные конструкции, инструментальный или аблативный – глагольные. Близкородственные языки реализовали различные модели управления.

Л.И. Куликов в своей статье прослеживает формирование пассивных форм в древнеиндийском, – от ведического, где они еще не очень регулярны, до классического санскри-

та, где система пассива полностью оформилась. Основные способы выражения пассива в Ригведе суть следующие: причастия на *-ānā-*, глаголы с суффиксом *-uá-*, стативы и медиальные перфекты с флексией *-e* (< **a-i*) в ед.ч., *-re* (* < *-ra-i*) в мн.ч. Автор справедливо подчеркивает, что эти формы можно рассматривать как омонимичные. И перфекты могут иметь активное значение, тогда как стативы всегда имеют непереходное и нередко пассивное значение. Подобно медиальным перфектам, амбивалентны и причастия: с суффиксом *-ānā-* иногда образуются и активные формы: *yuuyjānā* может означать как «запряженный», так и «запрягающий». Таким образом, эти две формы не являются характерными для выражения именно пассивного значения. Следует заметить, что здесь древнеиндийский унаследовал общиндоевропейское состояние системы залогов. Многократно отмечалось [Pedersen 1908; Kuryłowicz 1932; Перельмутер 1977; Lightfoot 1979], что в праиндоевропейском противопоставлялись активный и средний залог, но не было специфического выражения для пассива. Л.И. Куликов показывает, каким образом развилась эта категория в санскрите, где формы на *-uá-* грамматикализовались как пассив презенса. Так, в Ригведе он соединяется с 40 глагольными корнями; в младших ведах количество корней удваивается. Параллельно с пассивными глаголами становятся регулярны и каузативы от переходных корней (которые появляются в ведической прозе)⁷. В ведическом, кроме того, развилась форма 3 л. ед.ч. пассивного аориста со ступенью **-o-* и окончанием 3 л. *-i*. Происхождение этой категории не вполне ясно (ср. [Küttel 1996]); возможно, суффикс *-ya* – тематизация форманта *-i*. Впрочем, как справедливо отмечает автор, медиальный аорист тоже иногда имеет пассивное значение: *ayukṣata* «они были запряжены», *adrkṣata* «они были увидены».

В статье Д. Тойота и М. Мустафович рассматривается пассив в славянских языках. Авторы существенно ограничили круг явле-

⁷ Вслед за П. Тиме и С. Джемисон [Jamison 1983] отмечает, что в Ригведе каузативы образуются только от непереходных глаголов или от глаголов восприятия и потребления: *drś* «смотреть», *vid* «знать», *pā* «пить». Но в X 5 засвидетельствована форма каузатива также от *dhā*: *śrāddhe śrād dhāpayehá nah* «в вере сердце укрепи нам», где каузатив *dhāraya*, впрочем, по значению не отличается от первичного глагола.

⁶ Подчеркнута возвратная частица.

ний, относимых к этой категории: во-первых, они учитывают только перифрастический пассив, не упоминая возвратные формы⁸ и конструкции с рассогласованными субъектами. О последнем можно лишь пожалеть, так как они представляют собой хорошую параллель литовским синтагмам из статьи Э.Ш. Генюшене. Авторы приходят к выводу о том, что славянский пассив развился из сочетания глагола-связки с причастием под влиянием активного претерита (глагол «быть» с причастием на -л). В южнославянских языках, однако, пассивная перифрастическая конструкция не сформировалась: она означает только прошедшее время. Это доказывает, что славянский пассив – сравнительно новая категория.

В статье А. Сансо рассматриваются разные типы устранения агенса из высказывания. Материалом явился роман У. Эко «Il nome di rosa» в подлиннике и в переводах на испанский, датский, польский и новогреческий языки. Автор удачно применил метод определения прототипических ситуаций, использованный при описании залога еще в работах [Kemmer 1993; 1994; Fox, Hopper (eds.) 1994; Bakker 1994]. Суть его состоит в том, что для каждой диатезы предлагается ситуация, наиболее типичная именно для данного типа глагола. Типическая ситуация состоит из трех компонентов: агенса, пациенса и особенности самого события (event properties). Этот последний компонент включает в себя характеристику события, связанную с его значимостью, отдельностью, независимостью от других; автор называет это degree of elaboration «степень разработанности». Прототипическое событие, ориентированное на пациенса, выглядит так: пациенс в высокой степени индивидуализирован, агенс – значительно меньше, степень разработанности – средняя или высокая. Прототипическое событие, в котором фиксируется только сам его факт (bare happening): пациенс мало индивидуализирован, агенс мало индивидуализирован или отсутствует, степень разработанности минимальна: такие события, как правило, мыслятся как связанные с другими, более важными. Прототипическое общее (generic) событие: слабо индивидуализированный пациенс, необозначенный агенс, в качестве которого выступает неопределенное множество, слабо разрабо-

⁸ Это можно обосновать тем, что взаимоотношение форм на -ся с пассивным залогом далеко не однозначно, как и количество залогов в русском языке. Но думается, что необходимо было бы хотя бы упомянуть о возвратных глаголах. Возможно, в сборнике такого содержания целесообразно было бы поместить специальную работу о славянских рефлексивах.

танное событие, модальность часто приближается к ирреальности. Установив эти базовые характеристики, исследователь сравнивает их и показывает, в чем сходство и различие всех этих ситуаций. В рассмотренных языках эти ситуации выражаются с помощью либо возвратных, либо перифрастических конструкций. Исключение составляет новогреческий, где сохранился морфологический средний залог, унаследованный от древнегреческого⁹. На основании подсчетов автор приходит к выводу о том, что в итальянском языке типичным способом выражения события, ориентированного на пациенс, был перифрастический пассив, для констатации события – также, общие безагенсные события обозначаются возвратными глаголами. В испанском языке несколько шире сфера возвратных глаголов; они могут передавать также общие события. В польском языке пассивы передаются с помощью перифрастического оборота «*być* + страдательное причастие», безличной конструкции с причастием *-to/-no-* и возвратного залога. Нечто аналогичное наблюдается в датском, где безличные конструкции маркированы частицей *man*. В новогреческом имеется особый способ выражения общих событий – с помощью местоимений «ты» и «они», выражающих общий неопределенный агенс: *vá mēn tá avtaómóseis gía deúterē forá* 'и ты (= никто) бы не встретился второй раз'; *to-þetoúsan tó gíali sta molúβdina pláisia* 'установили стекло в свинцовую рамку'. В целом, можно видеть в рассмотренных языках некое единство во многообразии: по-разному выраженные однотипные ситуации. Отметим, что оба способа, по-видимому, универсальны. Русские неопределенно-личные предложения давно описываются как разновидность пассива [Степанов 1981], аналогичные конструкции есть и в латыни. Там же имеется и неопределенно-личное употребление 2 лица: *Quod si regum atque imperatorum animi virtus in pace, ita ut in bello valeret... cerneret* (Sallustius, Coni. Cat. I 8) 'ты мог бы убедиться (= можно убедиться), так ли велика сила духа у царей и полководцев в мирное время, как на войне'. Примеры А. Сансо, как и их русские переводы и цитированное предложение из Саллюстия, показывают, что неопределенное 2 лицо всегда имеет модальное значение.

⁹ Говоря точнее, медиопассив. В древне- и новогреческом окончания *-μαι*, *-σαι*, *-ταί* могут выражать прямо-, косвенно-возвратный залог, антикаузативность, пассивность. Из последней литературы см. [Перельмутер 1995; Krasukhin 2006].

В pendant к статье Генюшине написана работа Бьёрна Вимера. Автор рассматривает особенности выражения субъекта в литовских пассивах. С его точки зрения, можно построить определенную градацию: пассивы переднего плана с «привилегированным членом предложения» (*privileged syntactic argument, PSA*), т.е. субъектом в номинативе, и пассивы заднего плана, т.е. безличные. Проблема, однако, заключается в том, что, согласно ролево-референциальной грамматике, именно PSA прототипичен в активном залоге, но гораздо менее свойствен пассивному. Вимер отмечает, что PSA чаще встречается у атрибутивных причастий с пассивными маркерами *-t/-m-*. Впрочем, иногда такой субъект выступает в роли полноценного актора: ср. литовск. *gaivinti* ‘освежать’ – *gaivinamieji gėrimai* ‘освежающие напитки’. Пафос статьи Вимера заключается в том, что, при формальном сходстве выражений, пассивная и безличная конструкции суть совершенно разные явления, так как составляющие их актанты имеют различные макророль. Это проявляется в различных лексемах, характерных для этих синтаксических схем. С точки зрения рецензента правильнее было бы говорить о расщеплении единой конструкции, выражающей неконтролируемый процесс. Сама семантика этого процесса имплицитно устраняет субъекта, так как прототипический субъект в языках номинативного строя – это актор. Впрочем, мое разногласие с автором является скорее техническим, оно связано с направлением исследования – от формы к значению или от значения к форме. Интересна мысль Вимера о возвратных глаголах, имплицитно субъект-человека. Нечто подобное можно наблюдать в древнегреческом: *δεῖ* ‘нужно’ (безличный глагол в форме действительного залога) – *δεομαι* ‘я нуждаюсь’; аналогично безличное *μέλει* ‘заботит’ – *μέλομαι* – ‘я забочусь, обеспечиваю’. Личная форма обозначает более контролируемое событие, чем безличная.

В статье М. Ченнамо рассмотрено развитие пассива с глаголами *feri* и *facere* в латыни. Наличие второго глагола в пассивных конструкциях выглядит парадоксально, так как в классической латыни он непреходен; *feri* выступает по отношению к нему как супплетивный пассив (*patefacere* ‘открывать’ – *pateferi* ‘открываться’; перфектом *feri* является пассив *factus est*). Но автор приводит вполне однозначные контексты из поздней латыни, в которых *facere* непреходно и означает ‘становиться, быть’: *idem remedium optime facit* (Columella, 60. 15, 1) ‘это лекарство – самое лучшее’; *numquam fecit tale frigus* (Augustinus, Sermones 25, 3) ‘никогда не было такого холода’. Заслуживает внимания контекст, где *facere* выступает как безличный глагол, управляющий аккумулятивом:

sed hodie bonum aerem facit (Vita patrum, 5, 1, 51) ‘но сегодня настала хорошая погода’ (дословно – ‘делает хорошую погоду’). Автор полагает, что такой утративший значение глагол мог заменить *fio* в причастных оборотах: (1) *equus sanus facit* ‘конь делается здоровым’ > (2) **carnes assatae faciunt (= fiunt)* ‘мясо делается жареным’ > (3) *ancilla fekit pettita* ‘служанку спросили’ [дословно ‘служанка была спрошена’ (др.-сард)]. В латыни сочетание страдательных причастий с *facere* может выражать только действительный залог. Но наличие а) утери переходности у данного глагола; б) древнесардинского пассива заставляет допустить возможность конструкции типа (2). Этот тип пассива получил развитие только в древнесардинском и редко привлекал внимание романистов¹⁰. Но следует отметить, что в основе этого изменения значения лежит тот же механизм, который превратил глагол *habere* ‘иметь’ практически в глагол-связку или глагол существования: франц. *il y a* ‘есть, имеется’ < лат. *ille inde habet*¹¹.

Динали Калили рассматривает пассивы и их связь с антикаузативами в албанском в сопоставлении с английским. Автор полагает, что в английском надежным критерием разграничения обеих категорий является возможность их сочетания с аргументом, вводимым предлогом *by* (пассивы) и *from* (антикаузативы). В албанском эти категории не так четко разграничены.

В. Абрахам («Составная природа аналитического пассива: Синтаксические факторы vs. семантика событий. “Гипотеза аргумента” vs. “гипотеза аспектов”») рассматривает пассив в европейских языках, который во многом происходит из перфектных страдательных причастий. Естественно, такой пассив мог относиться изначально только к совершенному виду¹². Но в немецком различается пассив состояния (нем. *ist gemacht* ‘сделан’) и пассив становления (*wird gemacht* ‘делается’). Но в таком пассиве с формальной и семантической точки зрения

¹⁰ Кроме работ самой М. Ченнамо, можно отметить выступление В. Абрахама на III конференции по грамматикализации (Сантьяго да Компостела, август 2005 г.).

¹¹ Ср. *ut novercarum mos est* (Gregorius Tourisus, 3, 5) ‘каков обычай у невесток есть’ = *ut mos barbarorum habet* (ibid. 8, 31) ‘каков обычай имеется у варваров’ [Bauer 1999: 604].

¹² Мы вводим термин «совершенный вид», поскольку автор рассматривает и русский язык. Исследование В. Абрахама не требует упоминания о тех различиях, которые имеются между категориями славянского вида и аспекта в европейских языках.

выделяются две фазы: становление (*increment*) и завершение; в *werden*-пассиве доминирует первая фаза, в *sein*-пассиве – вторая (аналогично – английские пассивы с *get* и *is*). На материале английского, латинского, русского, немецкого, голландского языков автор выводит общие правила образования того или иного пассива. Так, перфективные непереходные или эргативные¹³ глаголы могут образовать безличный пассив только в особых контекстах (невозможно **es ist/wird angekommen* ‘пришло/приходит’, но возможно *es wird einfach nicht nicht angekommen* ‘пусть никто не приходит’). Имперфективные непереходные глаголы образуют пассив становления, но не состояния (**es ist gegangen* ‘ушло’, но *es wird (hinaus)gegangen (werden)* ‘уходят’ = ‘наступает момент, когда кто-то уходит’). Это действительно важные дефиниции, так как они позволяют понять развитие имперфективного и перфективного значения пассива. Но отметим, что эта тенденция не универсальна: в романских, скандинавских и славянских языках пассив сформирован на базе возвратных глаголов. Но, с другой стороны, в языках мира перфективные причастия гораздо чаще грамматикализуются как пассивный залог глагола, чем имперфективные¹⁴. Безличные пассивы, с точки зрения автора, характеризуются следующими чертами. Прежде всего, они не являются пассивами с семантической точки зрения: они обозначают некоторое положение дел, а устранение агента-пациенса снимает семантику претерпевания. В этом заключается «гипотеза аргумента».

Связь безличного пассива с несовершенным видом специально рассмотрена в статье В. Абрахама и Э. Ляйсс («Безличный пассив: Залог среди аспектуальных факторов»). Авторы подчеркивают, что в большинстве случаев этот вид пассива может быть образован только имперфективными глаголами. Другое ограничение связано с переходностью (авторы предпочитают говорить о местности предиката): так, одноместный предикат легко образует безличный пассив становления и не образует пассива состояния. Иными словами, безличный пассив

¹³ Особенности терминологии В. Абрахама заключаются в следующем. Перфективные глаголы (термин, используемый К. Бругманом [Brugmann 1900: 471–472]), иначе называются теминативными. Понятие же эргативности автор трактует вслед за М. Шурлеммер [Scorlemmer 1995], вкладывая в него иное содержание, чем принято в континентальной типологии.

¹⁴ Последние нередко приобретают модальное значение и становятся герундивами (ср. [Haspelmath 1994]).

более свойствен именно непереходным глаголам. Обратившись к данным различных европейских языков, авторы показывают, что безличный пассив подразумевает, как правило, неопределенный одушевленный агент (как правило, человека). Здесь, на наш взгляд, следовало бы четче обозначить разницу между неопределенно-личными и безличными пассивами. В немецком формально различаются *man tanzt* и *es wird getanzt*. По-видимому, их семантическое различие состоит в том, что в первом случае говорящий фиксирует субъект, пусть и неопределенный, а во втором – только состояние. Вообще, неопределенно-личные конструкции давно были названы разновидностью пассива [Степанов 1981]; в латыни они часто замещаются: *tradunt/traditur* ‘говорят/говорится’. Особо отметим очень важный вывод авторов: «Прямое дополнение не переходит в позицию субъекта только в случае тесной связи с глаголом, если оно полностью инкорпорировано или, по крайней мере, неспецифично и неопределенно» (с. 511). Это иллюстрируется нем. *heute abend wird richtig Zähne geputzt* ‘сегодня вечером зубы вычищены дочиста’. Введение определенного артикля требует передвижения имени на позицию субъекта: *die Zähne werden geputzt* (предикат согласован). Это явление близко к тому, что Ю.С. Степанов [1989: 130] называл «устраняемыми и восстанавливаемыми субъектами» в безличных предложениях, ср. лат. *vivitur* ‘живётся’ / *vita* / *vitam vivitur* ‘жизнь живётся’ (с именем в номинативе и аккузативе). Здесь мы имеем дело с универсалией, характерной для безличных предложений вообще.

М. Ратерт в статье «Простой претерит и составной перфект» рассматривает взаимоотношение этих категорий в немецком. Статья стоит несколько особняком, так как она посвящена не пассиву, а только названным в заголовке категориям; но в pendant к статьям В. Абрахама и Э. Ляйсс дает важную информацию об особенностях немецкого аспекта. Автор ищет ответ на старый вопрос немецкой грамматики: в чем разница между заглавными граммеммами? Автор ссылается на работу [Latzel 1977], где приведены следующие критерии: контаминация, субституция, недостаточность, функция вводного предложения, слияние. Первые два понятия обозначают, что претерит становится замещением презенса в ситуации, относимой к прошлому, тогда как перфект не может выполнять такой функции. Недостаточность означает невозможность для некоторых глаголов образовать то или иное время (например, модальные глаголы, также *sein*, *haben* почти не встречаются в перфекте); во вводном (начинающем текст) предложении, как правило, глагол стоит в перфекте. Кроме этого, автор отмечает невозможность претерита с наречиями.

указывающими на близость события к настоящему: *schon immer, schon oft* (при простых *immer, oft* претерит возможен). В общем, на выбор времени влияют: лексикон, прагматика и семантика. Лексикон связан с ограничениями в *sein, haben*, семантика – значение наречий, а прагматика – с особенностями времени в контексте. Так, перфект может вводить сообщение, а претерит требуется в тексте, который состоит из претеритов. В специальном разделе рассмотрены так называемые пассивные прилагательные (т.е. страдательные причастия в адъективной функции). По мнению М. Ратерт, глагольные и адъективные пассивы по-разному сочетаются с наречиями времени (при адъективах невозможно наречие *seit*). В статье М. Ратерт уточняются важные детали функционирования претерита и перфекта; эту работу можно считать шагом вперед в направлении, заданном классическими трудами А. Мейе [Meillet 1921] и Г. Вайнриха [Weinrich 1964].

Кроме того, в книге опубликованы чрезвычайно интересные работы М. Пелтомаа о пассивных конструкциях в китайском, А. Праситрасинт о тайском пассиве, В. Нолана об ирландском, М. Сало о мордовском, Л. Лейсьё о нганасанском, К. Сасаки, А. Ямазаки и К. Аридзи о разных аспектах японского пассива, Б. Озтюрка о турецком. Теоретические вопросы рассматриваются также в статьях Т. Гивона «Грамматические отношения в пассивных предложениях: Диахроническая перспектива» и Т. Офарли «Пассив и структура аргументов». Объем рецензии, к сожалению, не позволил их подробно отреферировать.

Итак, как можно оценить новую книгу серии «Типологические исследования языка»? Она необычайно богата фактами: эрудиции никакого рецензента, пожалуй, не хватило бы для рассмотрения всех включенных в нее языковых данных. Весьма привлекательно то, что авторы отказываются от глобальных типологических построений, выявляя вместо этого место конкретной грамматической подсистемы в общей системе грамматики и ее связи с другими подсистемами. Мы бы добавили к этому, что пассив и статив тесно связаны также с ирреальным модусом. Реальное событие гораздо больше нуждается в акторе, чем предполагаемое.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Князев 1989 – Ю.П. Князев. Акциональность и статальность: их соотношение в русских конструкциях с причастиями на *-и-, -т-*. München, 1989.
- Кузьмина, Левченко 1971 – И.Б. Кузьмина, Е.В. Левченко. Синтаксис причастий в русских говорах. Л., 1971.

- Перельмутер 1977 – И.А. Перельмутер. Индоевропейский и греческий глагол. Л., 1977.
- Степанов 1981 – Ю.С. Степанов. Имена. Предикаты. Предложения: Опыт семиологической грамматики. М., 1981.
- Степанов 1989 – Ю.С. Степанов. Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Bakker 1994 – E. Bakker. Voice, aspect, and Aktionsart: Middle and passive in Ancient Greek // B. Fox, P. Hopper (eds.). Voice: Form and function. Amsterdam, 1994.
- Bauer 1999 – B. Bauer. Impersonal Habet constructions in Latin: At the crossroads of Indo-European innovation // C. Justus, E. Polomé (eds.). Language change and typological variation: In honor of W.P. Lehmann on the occasion of his 83th birthday. Washington, 1999.
- Brugmann 1900 – K. Brugmann. Griechische Grammatik. München, 1900.
- Fox, Hopper (eds.) 1994 – B. Fox, P. Hopper (eds.). Voice: Form and function. Amsterdam; Philadelphia, 1994.
- Haspelmath 1994 – M. Haspelmath. Passive participles across languages // B. Fox, P. Hopper (eds.). Voice: Form and function. Amsterdam, 1994.
- Jamison 1983 – S. Jamison. Functions and forms of the *-áya-* formations of the Rig Veda and Atharva Veda. Göttingen, 1983.
- Kemmer 1993 – S. Kemmer. The middle voice. Amsterdam; Philadelphia, 1993.
- Kemmer 1994 – S. Kemmer. Middle voice, transitivity, and the elaboration of events // B. Fox, P. Hopper (eds.). Voice: Form and function. Amsterdam, 1994.
- Krasukhin 2006 – K.G. Krasukhin. Typology and comparative linguistics: Jakobson revisited // T. Nevalainen, J. Klemola, M. Laitinen. Types of variation: Diachronic, dialectal and typological interfaces. Amsterdam; Philadelphia, 2006.
- Kümmel 1996 – M. Kümmel. Stativ and Passivaorist im Indogermanischen. Göttingen, 1996.
- Kuryłowicz 1932 – J. Kuryłowicz. Les desinences moyennes de indo-européen et du hittite // BSL. V. 33. 1932.
- Latzel 1977 – S. Latzel. Die deutsche Tempora Perfekt und Präteritum. München, 1977.
- Lightfoot 1979 – D. Lightfoot. Principles of diachronic syntax. Cambridge, 1979.
- Meillet 1921 – A. Meillet. Évolution des formes grammaticales // A. Meillet. Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1921.
- Pedersen 1907 – H. Pedersen. Neues und Nachträgliches // KZ. Bd. 26. 1907.
- Schoorlemmer 1995 – M. Schoorlemmer. Participial passive and aspect in Russian. Utrecht, 1995 (Dissertation OTS-University at Utrecht).
- Weinrich 1964 – H. Weinrich. Tempus: Besprochene und erzählte Welt. Stutgard, 1964.

К.Г. Красухин

Обычно постулируются два основных принципа описания языковых явлений: «от формы к значению» и «от значения к форме». Если подход «от формы к значению» предполагает работу с «осязаемыми» единицами и структурами и может претендовать на описание системы языка или, по крайней мере, отдельных ее фрагментов, то подход «от значения к форме» с самого начала сталкивается с существенными трудностями: каков статус тех содержательных единиц (смысловых категорий), от которых происходит движение «к форме»; сколько их; как их выделять; вполне ли они одинаковы для разных языков? В то же время «активная грамматика» имеет и очевидные преимущества: во-первых, подход «от смысла к форме» позволяет собрать воедино и системно описать разные способы языкового выражения семантических (понятийных) категорий (таких, как «действие», «состояние», «место», «время», «определенность», «каузация» и под.), а во-вторых, он (в идеале) позволяет приблизиться к пониманию характера и определению состава самих этих категорий – т.е. к построению языковой онтологии. Первое имеет не только теоретический интерес, но и приносит ощутимую практическую пользу: методика «аккумуляции» разных языковых репрезентаций одинаковых или близких значений широко используется в преподавании иностранных языков, в лингвистических моделях машинного перевода и в других прикладных областях. Второе представляется, с точки зрения оптимистов, вполне реальной, а с точки зрения скептиков – далекой (если вообще достижимой) перспективой. Арто Мустайоки принадлежит к числу оптимистов, и в его работе предлагается вариант описания основных семантических категорий языка и способов их выражения в синтаксических структурах. Впрочем, реальная работа с языковым материалом (какой бы подход ни декларировался авторами – «активный» или «пассивный») имеет, скорее всего, «двунаправленный» характер: прежде чем стать отправной точкой в создании активной грамматики, «исходные» семантические структуры и категории должны быть выделены по их языковым репрезентациям. А. Мустайоки не раз отмечает важную роль формы для функционального подхода: «рассматриваются в основном те же языковые объекты, что и в традиционной грамматике, но распределены они в описании по-иному» (с. 21), «для наглядности» принимается «обратный порядок презентации материала», а именно – семантические структуры характеризуют-

ся «с помощью предложений, репрезентирующих их на поверхностном уровне» (с. 34).

В первой части книги «Теоретические основы функционального синтаксиса» автор обосновывает ключевое понятие своей концепции – понятие семантической структуры. Поскольку речь идет о синтаксисе, коррелятами семантических структур являются предложения – простые и сложные. Семантическая структура (ср.: *Виктор моет посуду; Нину тошнит; Ниша – директор школы* (с. 34) и под.) включает предикат(ы), актанта(ы), модификатор(ы) и спецификатор(ы). Автор подчеркивает, что, подобно традиционному синтаксису, описывающему не отдельные предложения, а их структурные схемы, функциональный синтаксис (ФС) описывает «не отдельные смысловые единицы, а стоящие за ними повторяющиеся типизированные структуры» (с. 38).

Относительно «глубины» и универсальности семантической структуры как основного звена предлагаемой лингвистической модели ее автор принимает следующие решения. «Глубинная семантика» не должна быть, по мнению А. Мустайоки, слишком абстрактной (с. 35), поэтому многие предикаты, которые в других моделях (например, в концепции А. Вежбицкой или в модели «Смысл \Leftrightarrow Текст») подверглись бы семантическому разложению, в модели ФС остаются «собранными» (так, смысл глагола *давать* в предложении *Маша дала Саше книгу* рассматривается как «неделимая семантическая совокупность» (с. 36) и не разлагается на составляющие ‘Маша каузировала: Саша обладает книгой’). Тем самым «глубинные предикаты» сохраняют достаточно тесные связи с реальными предикатами реального (в данном случае – русского) языка. Что касается универсальности предлагаемого списка семантических категорий, то он, как отмечает автор, «скорее всего, отражает интуицию представителя западной культуры и европейских языков, а не человечества в целом» (с. 38).

По концептуальному аппарату функциональный синтаксис А. Мустайоки близок к теории функционально-семантических полей, развиваемой в работах А.В. Бондарко и других представителей петербургской школы, к идеям функционального синтаксиса Г.А. Золотовой, функциональному подходу М.В. Всеволодовой. Краткий, но содержательный обзор этих теорий, а также других исследований, которые составляют научный контекст работы А. Мустайоки (в их числе – концепции П. Адамца, И.А. Мельчука, С. Дика, Р. Ван Валина, М.А. Шелякина и др.), дан в заключительном

разделе первой части «Место функционального синтаксиса в современной лингвистической теории». В этом обзоре автор не только отмечает связи и переклички ФС с существующими научными теориями, но и формулирует отличия предлагаемой версии ФС от концепций других лингвистов.

Основное содержание концепции функционального синтаксиса изложено во второй части монографии («Семантическая структура как основа описания языка в рамках функционального синтаксиса»).

В ФС различаются простые и сложные семантические структуры. Простая семантическая структура включает ядро – (глубинный) предикат и его актанты, – модификаторы (которые бывают обязательными и факультативными) и спецификаторы. Сложная семантическая структура является соединением простых и может выражаться как сложным (ср. *Если человек разочаровывается, он падает духом*), так и простым (*Разочарования приводят к упадку духа*) предложением (с. 153–154, а также глава 8).

В нынешнем варианте ФС различаются следующие типы актантов: агенс, экспериенсер, нейтрал, объект, тема, реципиент, источник, инструмент, место (их характеристика дается в разделе 4.1). Кроме семантических ролей важной характеристикой актантов являются категории, которые приблизительно соответствуют лексико-семантическим разрядам существительных: категория I – человек и другие живые существа, категория II – предметные актанты, категория III – вещественные, категория IV – отвлеченные (с. 159–160) (ср. таксономические классы участников ситуации в концепции Е.В. Падучевой, см., в частности, главу 4 в первой части работы [Падучева 2004]). Выделяются также восемь примарных классов предикатов: действие, отношение, обладание, локация, существование, состояние, характеристика и идентификация (очевидна синтаксическая ориентированность данной классификации: об этом свидетельствует выделение таких классов, как характеристика и идентификация).

К модификаторам в ФС А. Мустайоки относятся: речевые функции (сообщение, вопрос, побуждение и др.); фаза, которая включает не только темпоральную фазу (начало, конец), но и предварительную стадию (*решить, собираться*), стадию достижения цели (*успеть, суметь*), а также ирреальность, гипотетичность, модальную фазу (необходимость, возможность, желание); каузация разных видов (деонтическая, речевая, пермиссивная и др.); авторизация (ссылки на автора, указание степени до-

стоверности, разного рода оценки – *хорошо, плохо, важно* и под.).

К спецификаторам в концепции ФС относятся: отрицание, темпоральность, аспектуальность (основные), а также определенность, количество, место, образ и способ действия (дополнительные).

В целом противопоставление ядерной структуры и модифицирующих ее элементов соотносится с традиционными понятиями модуса и диктума (или пропозиции и модальной рамки), а модификаторы и спецификаторы соответствуют основным иллокутивным функциям и функционально-семантическим категориям (хотя отделение таких категорий, как утверждение/отрицание и темпоральность (которая включает, в числе прочего, грамматическое время), от модальных и речевых (иллокутивных) модификаторов и помещение их в один класс с определенностью и количеством выглядит несколько нетрадиционно).

В ФС выделяются следующие ядерные семантические структуры (глава 5): физическое действие и деятельность; передвижение и локация; социальное действие и деятельность; интеллектуальная деятельность (обработка информации, речевая деятельность, интеллектуальное отношение); существование; обладание/владение; эмоции; физиологическое состояние; физические состояния; состояния окружающей среды; характеристика; идентификация.

Легко заметить, что большинство перечисленных типов семантических структур соответствуют, с одной стороны, основным семантическим классам предикатов (см. выше), а с другой стороны, основным семантическим типам (моделям) предложений.

Семантическая классификация предикатов является одним из магистральных направлений синтаксиса и семантики последних десятилетий (ср., в частности, уже упоминавшуюся работу [Падучева 2004], а также фундаментальную классификацию предикатов Ю.Д. Апресяна [Апресян 2006]). Идея соединения классификации предикатов и классификации предложений представляется весьма плодотворной, поскольку, с одной стороны, семантика предиката определяет возможный набор его распространителей и тем самым модель предложения, а с другой стороны, состав данного класса предикатов определяет возможный набор «трансформаций» – разных синтаксических структур, представляющих некоторый семантический тип. По-видимому, классификация предикатов и есть та точка, где максимально сближаются подходы «от формы» и «от смысла»: классы предикатов связаны и с онтологическими категориями, и с синтаксическими моделями.

Хотя основные положения и основные структуры ФС иллюстрируются в книге Арто Мустайоки материалом русского языка (с привлечение английских и финских примеров), автор постоянно подчеркивает, что речь идет о семантических структурах, которые имеют межъязыковую (или надъязыковую) значимость. Отсюда естественно вытекает, что одна из главных областей применения ФС – сопоставительное описание языков. Иллюстрация такого сопоставительного описания (на примере выражения семантической категории «Физиологическое состояние» в русском, английском и финском языках) дается в третьей части монографии «Использование функционального синтаксиса в прикладных целях» (раздел 9.3). Остальные разделы третьей части посвящены другим аспектам прикладного использования ФС – в исследованиях текста, в электронной обработке языка и, конечно же, в преподавании иностранных языков.

В заключение хочется отметить, что труд Арто Мустайоки обладает рядом несомненных

достоинств: в нем поднимаются теоретические проблемы, перспективные в плане дальнейшего исследования; дается свод основных понятий и категорий функционального синтаксиса; систематизируются синтаксические конструкции русского языка, служащие для выражения важнейших семантических категорий. Это делает книгу А. Мустайоки интересной для самого широкого круга лингвистов – теоретиков «активной грамматики» и функционально-семантического подхода, синтаксистов, русистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 2006 – Ю.Д. *Апресян*. Фундаментальная классификация предикатов // Языковая картина мира и системная лексикография / Под ред. Ю.Д. Апресяна. М., 2006.
- Падучева 2004 – Е.В. *Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Г.И. Кустова

М.В. Панов. Труды по общему языкознанию и русскому языку. М.: Языки славянской культуры. Т. 1. 2004. 562 с.; Т. 2. 2007. 842 с.

В 2007 г. завершено издание двухтомника избранных трудов выдающегося отечественного лингвиста Михаила Викторовича Панова (1920–2001). В двух объемистых томах собрана значительная часть наследия ученого, не включены, правда, монографии (иногда, впрочем, вошедшие в издание во фрагментах: из книги 1967 г. «Русская фонетика» помещена историографическая часть). Зато собрано вместе большое количество статей и разделов в коллективных монографиях, разбросанных по разным изданиям и зачастую представляющих собой библиографическую редкость. Например, проспект коллективной монографии «Русский язык и советское общество» (не во всех пунктах покрываемый позже изданной серией монографий) публиковался в 1962 г. в Алма-Ате. Собранные вместе, они дают хорошее представление о творческом пути Михаила Викторовича, начиная с выступления в дискуссии о фонеме в «Известиях АН СССР» в 1953 г. и кончая отзывом о работах Е.А. Брызгуновой по русской интонации, написанным менее чем за месяц до кончины, в октябре 2001 г.

В предисловии к первому тому (с. 8–13, далее в ссылках на издание через двоеточие даются номер тома и страницы) Е.А. Земская и С.М. Кузьмина перечисляют области науки, которым занимался Панов. Это русская фонетика, типология фонетических систем, фоно-

логия, теория письма, проблема слова и членности на слова, теория частей речи, социолингвистика, упомянута и деятельность по популяризации науки о языке. Этот список можно было бы расширить, включив сюда теорию парадигматических и синтагматических отношений в языке, стилистику, поэтику, методику преподавания русского языка, историю отечественной лингвистики и многое другое. И каждая область отражена в издании.

За полвека научной деятельности Панов занимался всего одним языком, пусть столь важным для нас, как русский (преимущественно современным, но также и языком XVIII–XIX вв.). Ссылки на материал других языков у него нечасты. И в то же время он постоянно выходил за рамки русистики, ставя проблемы «языка вообще», развивая лингвистическую теорию. Такое сочетание интересов может заключать в себе определенную опасность, о которой сам Панов упоминал в связи с деятельностью выдающегося ученого К.С. Аксакова: Аксаков «говорил о человеческой звуковой стихии вообще, не обязательно русской, но мысль его в действительности была прикована к фактам русского языка»; по мнению Панова, в его построениях следует «видеть теорию русского языка, а не любого и каждого (как хотелось бы самому Аксакову)» (2: 659). Однако во времена Аксакова общей фонетической теории еще не существовало, а Михаил Викторо-

вич во всей своей деятельности опирался на разработанную теорию языка Московской школы, которую он развивал и совершенствовал. Поэтому многие его идеи имеют общелингвистическое значение.

М.В. Панов получил образование в Московском городском педагогическом институте в предвоенные и послевоенные годы (с перерывом на фронт), когда кафедра русского языка этого института во главе с Р.И. Аванесовым была центром Московской школы. И ученый на всю жизнь сохранил верность заветам своих учителей Р.И. Аванесова, А.А. Реформатского, В.Н. Сидорова, А.М. Сухотина (большинству из них он посвятил специальные статьи, включенные во второй том издания). Их идеи он рассматривал как этап развития Московской лингвистической школы (МЛШ), еще в конце XIX в. основанной Ф.Ф. Фортунатовым, о чем он специально писал в статье 1995 г. «Московская лингвистическая школа: 100 лет» (2: 615–646). По словам Панова, «МЛШ, фортунатовцы, ищут закономерности, характерные для языка как для особой, специфической системы знаков; они ищут то, что определено типами связей в данном языке и специфично для него. Ищут, – минуя случайные (хотя бы и «наглядные») сходства единиц» (2: 620). И он (как и другие ученые Московской школы, например, П.С. Кузнецов в лекциях для студентов МГУ) считал третьим создателем новой науки о языке XX в., наряду с И.А. Бодуэном де Куртенэ и Ф. де Соссюром, и Фортунатова, хотя тот по сравнению с Бодуэном и тем более Соссюром значительно менее известен за пределами России.

Черты этой новой и передовой в течение нескольких десятилетий науки проявляются во многих публикациях Михаила Викторовича разных лет. Одна из них – требование строго разграничивать синхронию и диахронию: «Подменять языковые отношения одной эпохи отношениями другой эпохи – это исследовательский произвол. Смещение синхронии и диахронии ведет неизбежно к субъективизму в оценке фактов» (2: 271). Но, как и другие москвичи (и пражцы), Панов много занимался и диахронией, считая, как и все они, что системные отношения проявляются и здесь. Здесь Московская школа опиралась на идеи И.А. Бодуэна де Куртенэ и Ф.Ф. Фортунатова, расходясь с Ф. де Соссюром. Любопытно сопоставление Бодуэна и Н.В. Крушевского: по мнению Панова, Бодуэн в их споре был прав, поскольку понимал синхронию (статику, в его терминах) как состояние языка, чему оказался чужд Крушевский, придававший фонетическим закономерностям «панхронический, вневременной характер» (2: 664). Лучший пример

диахронического подхода Михаила Викторовича – целая серия его работ, посвященных фонологии и фонетике современного русского языка. Здесь он не столько рассматривал синхронную систему фонем русского литературного языка XX в. как таковую (она в основных своих чертах была установлена еще поколением его учителей), сколько выявлял тенденции ее развития. Одно из самых известных его достижений – формулировка и распространение на XX век закона, замеченного за столетие до него И.А. Бодуэном де Куртенэ: в русском языке количество гласных различителей уменьшается, а количество согласных различителей увеличивается (1: 256 и др.). Панов на большом языковом материале показал, как действовал этот закон в течение уже нескольких столетий, как он проявляется в наше время и чего можно ожидать в будущем.

Другая черта того же подхода к языку – постоянное требование разграничивать парадигматические и синтагматические отношения. Парадигматике и синтагматике посвящена специальная статья (1: 17–29), а во многих других публикациях Пановым развивалась оригинальная идея построения двух дополняющих друг друга фонологических и грамматических теорий: парадигматической и синтагматической. В частности, недостатком пражской фонологии ученый считал сосредоточенность на синтагматике в ущерб парадигматике (2: 701).

И еще одна черта из того же ряда – стремление использовать аналогичные или сходные методы для описания различных языковых ярусов, прежде всего, фонологического и морфологического, а иногда также и лексического (синтаксисом Панов занимался относительно мало, что вообще было свойственно Московской школе). Например, в его трудах мы видим примеры применения в грамматике понятия нейтрализации (1: 41–50) или попытку рассмотрения изменений грамматических и лексических значений в зависимости от позиции на основе выработанных в фонологии критериев (1: 36–40). Как известно, в годы, когда Панов формировался как лингвист, принцип изоморфизма и параллелизма разных ярусов языка пользовался большой популярностью. Целый раздел (2: 387–584) посвящен работам ученого по поэтике, рассмотрение которых выходит за рамки нашей рецензии (тем более что им в томе посвящена специальная статья литературоведа Вл. Новикова (2: 9–14)). Но хочется в них отметить одно: и здесь Михаил Викторович постоянно ищет параллели между звуковой и словесной организацией стиха.

Все перечисленные черты научного подхода Панова объединяют его не только с его учителями, но и с различными (хотя не всегда со

всеми) направлениями лингвистического структурализма. При этом он, как и его учителя, кажется, никогда не называл себя структуралистом. Более того, в одном месте, причем уже в 1995 г., он прямо противопоставляет «структурализм» и «московскую фонологию» (2: 646). Однако давно уже признано, что структурализм – это не какое-то отдельное направление, а целый этап в развитии мировой лингвистики; его представители, расходясь в ряде пунктов, придерживались важных общих принципов, некоторые из которых перечислены выше. И процитированные нами слова Панова о принципах, на которых основана Московская школа, – типично структуралистские. Верность всему этому ученый сохранил до конца, даже тогда, когда на смену структурализму стали приходить иные направления в науке, показывая примером своих работ, что структурную парадигму в языкознании нельзя считать исчерпанной.

Остановимся еще на некоторых проблемах, специально рассматривавшихся М.В. Пановым (конечно, общее количество затронутых им вопросов очень велико, и наш отбор неизбежно субъективен). Одна из них – проблема слова, как известно, плохо решаемая в теоретическом плане, но неустранимая из лингвистики. Этой проблеме ученый посвятил одну из самых ранних статей 1956 г. (1: 51–87), не потерявшую ценности и сейчас, а затем возвращался к ней в разных аспектах, в том числе и в прикладном: вопрос о слитном и раздельном написании (1: 538–553). В статье 1956 г. совсем молодой языковед удачно спорил с основными авторитетами того времени, в том числе с уже покойным А.И. Смирницким, отстаивая идею о том, что «идиоматичность слова – закон, а неидиоматичность – отступление» (1: 73). Но, пожалуй, самое интересное в статье – констатация общей ситуации, при которой все разнообразные определения «улавливают отдельные, обычно не самые существенные признаки слова», тогда как «у всех у нас есть уже сложившееся практически представление о слове и все наши теории приходится сверять с этим общепринятым и устойчивым представлением» (1: 52). То есть слово – не есть собственно единица языка, это «наше устойчивое представление», по сути элемент психики (хотя прямо апеллировать к ней борющаяся с психологизмом Московская школа избегала).

С проблемой слова тесно связана проблема частей речи, также привлекавшая ученого. Он стремился выделить строгие критерии для их разграничения, на основе которых обнаружил особую, ранее не выделявшуюся часть речи русского языка – аналитическое прилагательное, куда им были отнесены неизменяемые

слова, способные быть только определениями (то есть одновременно действуют морфологические и синтаксические критерии). Аналитическим прилагательным посвящена специальная статья (1: 137–150), но о них он писал и в ряде других работ. Вопрос об аналитических прилагательных, количество которых в русском языке растет, интересовал Панова и в теоретическом плане: как одно из отражений тенденции к росту аналитизма в этом языке. Об этом росте у него собрано немало свидетельств вплоть до такого достаточно неожиданного. В не переиздававшейся с 20-х гг. работе В.И. Ленина 1922 г. Панов нашел фразу: «Русский язык прогрессирует в сторону английского: -нэпо, -ком, -проф, -сов, -рабкооп» (1: 162).

Изучение тенденций в развитии русского языка последних столетий привело ученого к теоретической проблеме причин изменений в языке. Эта проблема, игнорировавшаяся позитивистской лингвистикой второй половины XIX в., была поставлена И.А. Бодуэном де Куртэнэ, а затем изучалась его учеником Е.Д. Поливановым. Отметим большой интерес Панова к трудам Поливанова, которые он активно использовал еще в 1956 г., то есть до реабилитации их автора (1: 59–60); позже он напишет: «Поливанов – русист еще ждет своего открывателя» (2: 677). Изучали этот вопрос и на Западе (Ш. Балли, позже А. Мартине). Но во второй половине XX в. везде стал заметен спад интереса к этой проблематике, а Московская школа всегда занималась ей меньше, чем школа Бодуэна. И в течение нескольких десятилетий Михаил Викторович, по крайней мере, у нас, разрабатывал ее более всех.

Панов скептически отнесся к выделявшемуся его предшественниками принципу экономии как ведущей силе языковых изменений, указывая на его неясность (1: 440–443). Он вместо этого, отталкиваясь от известного закона диалектики, писал: «В языке существует качественно своеобразная борьба противоположностей, которая и определяет его саморазвитие. Эти противоположности можно назвать языковыми антиномиями, так как каждое конкретное разрешение любой из этих противоположностей порождает новые столкновения, новые противоречия в языке... и, следовательно, их окончательное разрешение невозможно: они – постоянный стимул внутреннего развития языка» (2: 17). Им выделены антиномии говорящего и слушающего, узуса и возможностей языковой системы, кода и текста, информационной и экспрессивной функций языка (2: 17–22). На основе этих теоретических принципов коллектив, возглавлявшийся Пановым, в

60-е гг. провел масштабное исследование русского литературного языка того времени.

Исходя из приоритета внутренних причин языковых изменений, Михаил Викторович учитывал и внешние причины, роль которых возрастает в периоды перемен, как это было с русским языком в 20–30-е гг. XX века. Например, на русское литературное произношение в те или иные эпохи влияло множество социальных факторов. Это воздействие диалектов в связи с массовым перемещением населения из деревни в город, влияние городского просторечия, произносительные различия между Москвой и Петербургом (Ленинградом), воздействие других языков России и европейских языков, семейные традиции, школа, театр, радио, а затем телевидение, письменность, работа лингвистов, уровень культуры населения, престиж тех или иных социальных групп (1: 458–459). Роль этих факторов может меняться: так, в распространении русского литературного языка после Октября понизилось значение семейных традиций, но возросла роль книги (2: 46). Отметим, что Панов постоянно предостерегал против распространенного смещения литературного языка с языком художественной литературы, указывая, что это – язык культуры в самых различных проявлениях (1: 88–89).

Вопрос о развитии литературного языка тесно связан с вопросом о норме, который разрабатывался Пановым и в теоретическом, и в практическом плане. Он разграничивал норму – запрет, преобладавшую для русского языка в 30–60-е гг., и норму – выбор, которая «советует взять из языка наиболее пригодное в данном контексте»; именно в этом направлении изменяется, по мнению ученого, с 70-х гг. русская норма (2: 84).

М.В. Панов не только писал о норме, но и принимал участие в ее совершенствовании. Он стал ведущим участником разработки новой орфографии, проект которой был опубликован в 1964 г. и публично обсуждался, но так и не реализовался; публикации, связанные с проектом, также включены в издание (1: 522–562). Из них хорошо видно, что предложения Панова и его соратников были хорошо продуманы и аргументированы лингвистически, но недостаточно учитывали консерватизм людей, уже овладевших орфографией и не желающих переучиваться. Наряду с орфографией, Михаил Викторович много занимался вопросами орфоэпии, отмечая, что, к сожалению, в школе для серьезных занятий орфоэпией не хватает времени (2: 325).

Вопрос о норме связан и с вопросом о стилях и речевых жанрах, который также был важен для Панова. Отметим, в частности, его

требование разграничивать два разных противопоставления, которые традиционно смешиваются, когда «разговорное отождествляют с устным» (2: 151). Он писал в 1962 г.: «Разговорный стиль чаще всего воплощается в устной речи (хотя не только в ней), а книжный – в письменной речи (однако не всегда именно в ней)» (2: 151). А под пером многих авторов «чаще всего» превращается в «всегда». Это несовпадение менее было заметно в русском языке тех лет (хотя, например, инициалы – типичная особенность письменной речи, нейтральная к противопоставлению «разговорный – книжный»), но гораздо существеннее, например, в языках с иероглифической письменностью. В последнее же время несовпадение стало гораздо ощутимее и в русском языке: распространение Интернета, SMS-сообщений и пр. привело к бурному развитию разговорной, но письменной речи.

Панов рассматривал и развитие функциональных стилей русского литературного языка XX в. Он показывал, как выходящее за разумные рамки стилевое многообразие и «языковая смута» 20-х гг. (2: 45) сменились в 30-е гг. «укреплением среднего стиля» (2: 45). В этом имелась положительная сторона: была выиграна борьба за «строгую нормативность» (2: 44). Однако этот же процесс привел к «стилистической диете» (2: 63) и распространению болезни, которую Панов вслед за К. Чуковским называл «канцеляритом». Но отмечено и то, что с 50-х гг. стилистическое разнообразие вновь стало увеличиваться (2: 46), а, в частности, в языке прессы уже к концу 70-х гг. увеличилась «многокрасочность», а канцелярит стал отступать (2: 63). Эта точка зрения отличается от привычных для нас в последнее время однозначных оценок и упрощенного рассмотрения всей «эпохи тоталитаризма» как единого целого, в том числе и в языковой области.

Последняя проблематика двухтомника, на которой хочется остановиться, – история русского языкознания, публикации в этой области выделены в обширный раздел (2: 587–822). Панов, занимавшийся лишь одним языком, и здесь сосредоточен почти исключительно на отечественной науке (хотя в его историческом очерке изучения русской фонетики учтены и работы западных русистов). Но анализ русской и советской науки очень детален и содержателен. В его наследии есть и проблемные историографические очерки, и персоналии отдельных лингвистов. Наряду с широко известными авторами в поле его зрения попадали и забытые, часто незаслуженно, ученые. Отметим, например, статью о А.А. Барсове (2: 587–600), чью неизданную грамматику он оценивал как одну из трех вершин (наряду с трудами

В.К. Третьяковского и М.В. Ломоносова) русской филологии XVIII в., или оценку совсем уж забытой книги С.П. Барана (1844) как «первой систематической фонетики русского языка, полной верных и глубоких наблюдений» (2: 657).

Но более всего ученого интересовали не отдельные люди, а проблемы. Его историографические работы менее всего похожи на многие сочинения такого жанра, где перечисляются авторы и темы их публикаций, всем дается равно высокая оценка и все оказываются на одно лицо. Панов не скрывает своих пристрастий, поверяя взгляды каждого из своих «героев» взглядами Московской школы. Он не боится резких высказываний о признанных классиках науки, например, о Н.В. Крушевском (о чем сказано выше), А.А. Шахматове (как лингвист был уже архаичен на фоне передовой науки своего времени) или Л.В. Щербе (ушел от фонологии к традиционной фонетике). Любопытна такая его оценка Щербы: «одновременно отстаивал определенную фонологическую схему и сам постоянно против нее бунтовал» (2: 676). И в то же время он отдаст должное каждому из них. А если у какого-то ученого можно увидеть предвосхищение идей Московской школы, то Панов будет это подчеркивать. В частности, он пересмотрел традиционно невысокие оценки В.К. Третьяковского, которого не только как поэта, но и как лингвиста принято ставить ниже М.В. Ломоносова. Панов показал, как этот самородок во многих отношениях не только превосходил своего гениального младшего современника, но и далеко опередил свое время. По его мнению, «первый шаг в сторону фонологии сделал замечательный В.К. Третьяковский», после чего ничего нового здесь не появлялось вплоть до И.А. Бодуэна де Куртене (2: 725).

Панову принадлежат и статьи (часть из них – в соавторстве) о деятельности крупных отечественных ученых XX в., в основном принадлежавших к Московской школе: Д.Н. Ушакове, Н.Н. Дурново, Н.Ф. Яковлеве, А.А. Реформатском, Р.И. Аванесове и др. В основном это проблемные статьи, где говорится, прежде всего, об их научном вкладе. Особо надо отметить теплые и добрые воспоминания об одном из учителей Панова – Алексее Михайловиче Сухотине (2: 776–788). Он мало опубликовал (если не считать замечательных переводов

лингвистической литературы), но сыграл значительную роль в формировании взглядов Московской школы и оставил по себе хорошую память в сердцах учеников, увековеченную Михаилом Викторовичем. Жаль, что такой жанр представлен в двухтомнике единственной статьей, хотя можно было бы включить в него столь же интересные воспоминания о другом учителе – В.Н. Сидорове, недавно опубликованные [Панов 2004].

В двухтомник включен список трудов М.В. Панова (2: 823–836). Издание хорошо подготовлено, хотя не исправлены, а иногда добавлены некоторые досадные опечатки и мелкие неточности, например, в инициалах и датах. А.В. Чичерин вместо Г.В. Чичерина (2: 45), А.И. Селищев вместо А.М. Селищева (2: 167), неточна дата смерти В.В. Виноградова (2: 739), а дата рождения Н.Ф. Яковлева, правильно указанная в самой статье о нем, почему-то искажена в оглавлении (2: 6). Можно пожалеть и об отсутствии в издании указателей, хотя бы именного.

Подводя итоги, можно сказать, что впервые наследие крупнейшего ученого представлено достаточно полно. Многие лингвисты, и не только русисты будут обращаться к двухтомнику по самым разным поводам. Недавно одна из центральных газет написала о «великом лингвисте Михаиле Викторовиче Платонове» [НГ 2007]; речь, разумеется, идет о Панове. Уровень культуры современной российской прессы не требует комментариев, но оценка знаменательна. Панов, безусловно, принадлежал к числу крупнейших отечественных языковедов XX в., его трудам суждена долгая жизнь, а рецензированное издание исключительно важно для знакомства с ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Панов 2004 – М.В. Панов. Воспоминания о В.Н. Сидорове // Отцы и дети Московской лингвистической школы. Памяти Владимира Николаевича Сидорова. М., 2004.
НГ 2007 – Независимая газета, 19 июля 2007 (интервью с Ольгой Новиковой).

В.М. Алпатов

P. Garde. Le mot, l'accent, la phrase: Études de linguistique slave et générale. Paris: Institut d'études slaves, 2006. 493 p.

Сборник избранных работ одного из крупнейших современных французских лингвистов Поля Гарда, изданный стараниями его младше-

го коллеги Реми Камю, включает в себя 36 статей по общему и славянскому языкознанию, написанных с 1965 по 2006 год (в дальней-

шем ссылки на это издание даются непосредственно в тексте).

Поль Гард (р. в 1926 г.) – фигура для современной лингвистики необычная. Один только взгляд на занимающую почти 20 страниц библиографию к сборнику (помимо нее, книга включает также превосходный список публикаций – отнюдь не только лингвистических! – П. Гарда и именной указатель), изобилующую редкими и порой труднодоступными работами на самых разных языках, позволяет заключить, что П. Гард по-настоящему любит читать работы своих коллег – качество, весьма редкое у современных лингвистов. При этом П. Гарда нельзя назвать ни главой, ни адептом какой-либо определенной научной школы. К грамматике Хомского он относится без враждебности, но явно скептически; синтаксической типологией интересуется, но, как будет ясно из дальнейшего, под очень своеобразным углом зрения. Насколько можно судить, высшими научными авторитетами для Гарда были и остаются три его совсем непохожих друг на друга соотечественника (двое из которых внесли очень заметный вклад и во французскую славистику) – Л. Теньер, А. Мартине и Ж. Вейренк. В основе лингвистической деятельности П. Гарда лежит глубокое убеждение в том, что язык устроен просто, а потому методы его описания – за некоторыми исключениями – также должны быть простыми: подход, с одной стороны, весьма соблазнительный, а с другой – таящий в себе некоторые опасности. Отсюда недоверие П. Гарда к трансформационным правилам, глубинным падежам, гиперролям (см. с. 310 (сн. 17), 323, 370) и другим подобным конструктам, без которых не обходится ныне практически ни один лингвист, занимающийся теорией языка, – недоверие, всецело разделяемое автором этих строк, но никак не способствовавшее популярности работ Гарда в лингвистическом сообществе в целом.

Разумеется, в рамках небольшой по объему рецензии невозможно одинаково подробно охарактеризовать все 36 работ, вошедших в книгу. Кратко упомянем сначала те из них, от детального анализа которых нам пришлось отказаться.

Основная идея давней (1965 г.) статьи «Границы морфем и границы фонем (на материале русского языка) (Limite de morphèmes et limite de phonèmes (avec application au russe))» может быть проиллюстрирована знаменитой, многократно воспроизводившейся (см., например [Булыгина 1977: 145]) диаграммой (с. 17; пунктирные линии означают границы фонем, сплошные – границы морфем):

k	г	a	s	палатализация	e	t'
				N		

К сожалению, эта изящная схема не только неоперациональна, но и не учитывает многих фактов: неясно, как могут быть описаны с ее помощью, скажем, переход *o* в *a*, вызываемый суффиксом *-ыва-*, иногда отстоящим от морфемы, содержащей *o*, довольно далеко (ср. *заподозрить* – *заподозривать*), а тем более уйгурские словоформы, в которых наблюдается **одновременно** влияние вокализма корня на вокализм суффиксов (сингармонизм) и вокализма суффиксов на вокализм корня (умлаут).

Рассматриваемая статья вообще отмечена печатью радикализма, в целом П. Гарду совершенно не свойственного; так, если в ее конце автор в духе Мартине говорит о «ложном понятии “морфонологии”» (с. 37), то в последующих работах слово «морфонология» употребляется без всяких отрицательных коннотаций.

В статье «О трех сосуществующих морфологических системах русского языка (Les trois systèmes morphologiques du russe)» (1981 г.) П. Гард анализирует структуру морфем различных грамматических классов. Тезис о «трех морфологических системах» основан на том, что подавляющее большинство русских корневых морфем обязательно оканчиваются на VC(C) (ср. *ус, мост, яр-ый, пис-а-ть, ин-ой*), только глагольные корни могут иметь структуру CV (ср. *ду-ть*), только местоименные – структуру C (ср. *к-то, к-ого*); соответственно различается и структура окончаний. В целом эта проблематика разработана в русистике очень тщательно – ср. в первую очередь [Troubetzkoу 1934] и [Чурганова 1973], – и нельзя сказать, чтобы выводы автора отличались особой новизной.

Отметим, что в числе несомненных достоинств как этой, так и других работ П. Гарда по русской морфо(но)логии должна быть названа его последовательная и достаточно аргументированная борьба с концепцией структуры русского глагола, выдвинутой в классической статье Р. Якобсона «Russian conjugation» [Jakobson 1948] и принятой едва ли не большинством славистов (см. с. 40–41, 81–82). Подробнее об уязвимых сторонах концепции Якобсона см. [Иткин 2007: 126–128].

В статье «Акцентный контраст и интонационный контраст (Contraste accentuel et contraste intonational)» (1967 г.) рассматриваются интересные примеры несовпадения словесного и фразового акцента в таких языках, как венгерский, чешский, сербохорватский и французский, ср. франц. *Je n'étais pas au "cinéma, j'étais au "ciné-club* «Я был не в кинотеатре, а в киноклу-

бе», где логическое ударение падает на первый слог слов *cinéma* и *ciné-club*, а словесное – естественно, на последний.

Статья «Сравнительно-исторический метод в акцентологии (La méthode historico-comparative en accentologie)» (1990 г.) посвящена в первую очередь истории лингвистики и, как и ряд других работ Гарда, носит отчасти просветительский характер. В статье приводится подробная формулировка закона Сосюра, описывающего передвижение ударения в литовских словоформах, и говорится о влиянии этого открытия на становление школы балто-славянской исторической акцентологии, уделяющей первостепенное внимание влиянию на ударение морфологических факторов. Эта школа, началом деятельности которой можно считать выход книги Хр. Станга «Slavonic accentuation» [Stang 1957], связана с именами В.М. Иллич-Свитыча, В.А. Дыбо, А.А. Зализняка, П. и В. Кипарских, М. Халле и, конечно, самого П. Гарда – см. особенно [Garde 1976].

В статье «Функции тональных оппозиций в южнославянских языках (Fonctions des oppositions tonales dans les langues slaves du Sud)» (1966 г.) анализируется природа словесного акцента в трех южнославянских языках – чакавском, штокавском (на примере иекавского варианта литературного сербохорватского) и словенском. Как показывает П. Гард, чакавский является моросчитающим языком с музыкальным ударением, типологически близким древнегреческому, но без ограничений на место ударного слога в словоформе. Штокавский близок чакавскому, но различает тоны как на долгих, так и на кратких гласных и, следовательно, относится к числу не моросчитающих, а слогосчитающих языков типа русского. Наконец, в литературном словенском, единственном из всех славянских языков, тональные различия выступают не как реализация словесного акцента, а как имманентные, хотя и нейтрализуемые в определенных позициях, характеристики морфем.

Статья «Ударение в русских словоформах с беглой гласной (L'accent dans les formes russes à voyelle mobile)» (1968 г.) посвящена проблеме выбора места ударения в формах с беглой гласной. Как известно, ударение в таких формах может падать либо на слог с беглой гласной (*ослы* – *осел*, *сестра* – *сестер*, *умны* – *умен*), либо на предшествующий слог (*узлы* – *узел*, *сосна* – *сосен*, *верны* – *верен*). Общий вывод П. Гарда, согласно которому в русском языке наблюдается постепенный переход от второго типа к первому, не кажется убедительным: достаточно вспомнить, что такие формы, как *чѣрен* и *равѣнство*, в XIX в. могли произноситься как *черѣн* и *равѣнство*.

В статье «Эволюция русского ударения: некоторые тенденции (L'évolution de l'accent russe: quelques tendances)» (1974 г.) П. Гард проследивает следующие системные изменения, наблюдаемые в русской акцентной системе в последние несколько веков:

– устранение старой акцентной подвижности, унаследованной от древних энклиноменов, при которой ударение обязательно падало либо на первый, либо на последний слог фонетического слова (маргинально-подвижного типа ударения, см. [Зализняк 1985: 17]), ср. *голова́* – *го́лову* – *на́ голову*, но совр. также *на го́лову*;

– развитие предфлексивного и предсуффиксального ударения, ведущее, во-первых, к экспансии такого типа подвижности ударения, при котором оно находится либо на окончании, либо на последнем слоге основы (смежно-подвижного типа, см. [Там же]), ср. *сиротá* – *сироты́* и устар. *сироты*, а во-вторых, к сдвигу ударения влево в ряде грамматических форм, например, в причастии прошедшего времени, ср. *позолóченный* и устар. *позолочѣнный*, *затвѣрженный* и устар. *затвержѣнный*.

В статье «Миф о “заместительном удлинении” в украинском языке (Le mythe de l'allongement compensatoire en ukrainien)» (1986 г.) П. Гард подвергает сокрушительной критике широко распространенное объяснение перехода восточнославянских *e* и *o* в украинское *i* в новозакрытом слоге как «заместительного удлинения». Как остроумно и убедительно показывает автор (с. 203), такая интерпретация «четырежды неправдоподобна» – филологически, географически, хронологически и типологически. По мнению самого П. Гарда, после падения редуцированных *e* и *o* стали произноситься более закрыто, что и обусловило в дальнейшем их переход в *i*.

В статье «Изоморфизм между единицами языка и метра (Isomorphisme linguistique et linguistico-métrique)» (1991 г.) ставится проблема соотношения между текстовыми и метрическими единицами на трех уровнях – сложное предложение и строфа, простое предложение и строка, слово и стопа. П. Гард приходит к выводу о наличии между двумя этими рядами единиц глубинного изоморфизма. В статье рассматривается вопрос о том, каково возможное соотношение количества слов и стоп, а также границ между ними в четырех основных системах стихосложения – квантитативной, силлабо-тонической, силлабической и тонической.

Теме статьи «Части речи, преимущественно в русском языке (Des parties du discours, notamment en russe)» (1981 г.) посвящена литература столь необозримая, что сказать на этот счет что-либо принципиально новое, по-видимому, просто невозможно. Классификация, предла-

гаемая для русского языка П. Гардом, выглядит так (с. 244):

– изолированные слова (междометия, а также слова *да* и *нет*);

– соединительные (пустые) слова: сочинительные союзы, подчинительные союзы, предлоги, частицы;

– полнозначные слова: глаголы, наречия, предикативы, прилагательные, обстоятельственные слова, существительные.

Особо выделяются количественные числительные, а также – на основании семантических, а не синтаксических критериев – местоимения.

Явно надуманным представляется отстаиваемое П. Гардом разграничение наречий (= обстоятельств образа действия) и обстоятельственных слов (= обстоятельств места, времени и даже причины), вследствие которого, например, слова *слегка* и *сгоряча* оказываются принадлежащими к **разным частям речи** (см. с. 238–239).

В статье «Местоимения: грамматика или лексика? (Le pronom: grammaire ou lexique?)» (1984 г.) затрагивается вопрос о внутреннем устройстве класса местоимений. Заслуживает внимания предлагаемая автором типология способов выражения местоименных значений в языках мира, которые П. Гард называет **техникой грамматической систематизации** (образование более или менее регулярных морфологических рядов типа русск. *к-уда – т-уда – с-юда, к-огда – т-огда*), **техникой лексической систематизации** (сочетание местоименной основы с полнозначной, ср. англ. *somebody* «некто (букв. “некое тело”)», франц. *nulle part* «нигде (букв. “ни в какой части”)) и **техникой амальгамирования** (использование единой нечленимой лексемы, ср. русск. *теперь*, франц. *ailleurs* «в другом месте»).

Статья «О двойственной природе синтаксических отношений: зависимость и референция (Dualité de la relation syntaxique: Relation dépendantelle et relation référentielle)» (1985 г.) посвящена проблеме иерархических отношений в паре «субъект – предикат». Как известно, один крупный французский лингвист – Ш. Балли – считал главным членом предложения подлежащее, а другой – Л. Теньер – сказуемое. Согласно П. Гарду, оба эти подхода правомерны, но опираются на различные основания. Первый из них связан с экстралингвистической идеей **референции** (существительное функционирует как субстанция, глагол – как акциденция), второй – с собственно-лингвистической идеей **зависимости**. Соответственно, первый тип связи между словами проявляется в форме согласования (направленного от существительного к предикату), второй – в форме

управления (направленного от предиката к существительному).

В небольшой заметке «Взгляды Теньера на синтаксис и семантику (Syntaxe et sémantique chez Tesnière)» (1994 г.) анализируется теоретическая концепция Л. Теньера и ее отражение в его *magnum opus* – «Основах структурного синтаксиса». Несмотря на свою исключительно высокую оценку этого труда, П. Гард проницательно замечает, что между двумя главными идеями Теньера – понятием зависимости и теорией актантов и сирконстантов – нет обязательной логической связи, и намечает пути преодоления этой лакуны.

Статья «О так называемых симпатетических падежах в современном русском языке (Des cas dits «sympathétiques» en russe contemporain)» (1986 г.) посвящена правилам употребления трех падежных конструкций, которые П. Гард относит к числу «симпатетических» – с дательным беспредложным (*Он пожал другу руку*), дательным с предлогом *к* (*Он вошел к Соне в комнату*) и родительным с предлогом *у* (*У Ивана ноги замерзли*). Основное возражение, возникающее при чтении статьи, заключается в следующем: П. Гард рассматривает все такие примеры как результат своего рода трансформации обычной посессивной конструкции (*Он пожал другу руку < Он пожал руку друга*), однако в целом ряде случаев гипотетическая «исходная» конструкция оказывается невозможной, ср. *Она бросилась ему на шею* – **Она бросилась на его шею*, *Иван дал Петру по морде* – **Иван дал по морде Петра*.

Статья «Выражение значения временной протяженности во французском и в славянских языках (La durée en français et dans les langues slaves)» (2006 г.) преследует прежде всего прикладную цель: помочь предотвратить многочисленные ошибки, которые носители славянских языков, изучающие французский, и французы, изучающие славянские языки, делают в употреблении таких конструкций, как *Прошло уже три дня*. Работа содержит подробный и тонкий анализ французских временных конструкций с предлогами *depuis* и *pendant*, а также без предлога – типа *Il a habité ici un an* «Он прожил здесь год».

В статье «Комитативные конструкции в русском языке (Les tournures comitatives en russe)» (1995 г.) рассматриваются особенности русских оборотов со значением совместности. При этом к числу комитативных конструкций П. Гард несколько неожиданно относит также сложные прилагательные (ср. *она таинственно-красива*) и самые обычные предложения с деепричастием настоящего времени (ср. *он отвечает улыбаясь*).

Большой интерес представляет статья «Русские предложения с междометным сказуемым как синтаксическая категория (La phrase à prédicat interjectif comme catégorie syntaxique du russe)» (1986 г.). К числу предложений с междометным сказуемым П. Гард относит не только фразы типа *Они бух в воду*, но и такие примеры, как *Стала она тащить, рама и упади; А царица хохотать; Он об этом молчок; Препржих всех в шею; Колокольчик дин-дин-дин* и некоторые другие. Основным аргументом в пользу объединения всех этих классов случаев в единую категорию служит, согласно П. Гарду, наличие у них ряда общих свойств: неизменяемости по времени, обозначения быстрого и неожиданного действия, экспрессивности. Нельзя не отметить, впрочем, что примерам типа *Колокольчик дин-дин-дин* не только второе, но и третье из этих свойств не присуще.

Статья «Структура придаточного обстоятельственного в русском языке (Structure de la subordonnée circonstancielle en russe)» (1988 г.) посвящена анализу структуры сложных предложений с придаточными времени, условия, уступки, причины и цели, а также их бессоюзных аналогов. По наблюдениям П. Гарда, предложения с придаточными первых трех типов, тяготеющими к препозиции, сохраняют свою структуру и отношения между частями и в отсутствие подчинительного союза, ср. (*Когда / Если*) *встанет – почувствует боль*. Напротив, бессоюзные корреляты предложений с постпозитивными придаточными – причины и цели – нельзя рассматривать как сложноподчиненные предложения: в случаях типа *Он почувствовал боль: он проснулся*, в отличие от *Он почувствовал боль, потому что он проснулся*, причинно-следственная связь между двумя событиями если и может быть установлена, то на основе прагматических, а не собственно-языковых факторов.

В статье «Сложное предложение в русском языке: придаточное диалогическое и придаточное цитативное (La phrase complexe russe: subordonnée de dialogue et subordonnée de citation)» (1990 г.) на примере русских пословиц рассматриваются два типа сложноподчиненных предложений. В конце статьи предпринимается попытка применить полученные результаты ко всему материалу русского языка. На наш взгляд, анализ оказывается существенно запутан избранной П. Гардом терминологией. К числу «придаточных диалогических» он относит фразы типа *Кто нужды не видал, тот и счастья не знает, Проймет голод – поживится и голос*, рассматривая их первые части как вопрос, а вторые – как ответ, хотя единственно мыслимым кажется обратное соотношение (*Кто счастья не знает? – (Тот,) кто нужды не видал.*). Аналогичным образом, на-

личие «цитаты» можно усматривать в примерах типа *Богатый бедному дивится, чем он живится*, но никак не в примерах типа *Дожили до того, что не осталось ничего*.

В статье «О псевдопараллелизме между обстоятельством и придаточным обстоятельственным (Le faux parallélisme du complément circonstanciel et de la proposition circonstancielle)» (1993 г.) констатируется отсутствие обязательной корреляции между различными типами обстоятельств и вроде бы соответствующими им обстоятельственными придаточными предложениями. Так, в русском языке нет придаточных предложений места и, наоборот, условные придаточные не имеют аналогов в рамках простого предложения.

Статья «Грамматические категории у Миклошича (Les catégories grammaticales chez Miklošič)» (1992 г.) посвящена синтаксическим воззрениям великого словенского лингвиста Ф. Миклошича (1813–1891), изложенным в IV томе его «Сравнительной грамматики славянских языков».

Наконец, еще три работы, вошедшие в сборник, – «К истории восточнославянских гласных среднего подъема (Contribution à l'histoire des voyelles d'aperture moyenne dans les langues slaves orientales)», «Русское *каковó* (Russe *kakovó*)» и «Структура русского местоимения (De la structure du pronom russe)» – легко доступны российскому читателю (см. [Гард 1974; 1985а, б]), так что мы позволим себе отказаться от их рассмотрения.

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению некоторых направлений исследовательской деятельности П. Гарда, необходимо высказать одно соображение общего характера.

П. Гард прекрасно знает и любит не только русский язык, но и русскую культуру; во Франции он известен в том числе и как популяризатор, комментатор и переводчик поэзии Тютчева. Его статьи изобилуют примерами из русской литературы – от Пушкина до Зои Богуславской, собранными, напомним, в то время, когда ни об Интернете, ни о модной ныне корпусной лингвистике не было и речи. Кроме того, П. Гард всегда охотно прибегал к помощи информантов. И, несмотря на все это, как сам русский материал, так и его интерпретация в книге содержат немало неточностей и даже ошибок.

Иногда эти ошибки незначительны, почти курьезны:

– на с. 69 говорится, что в незаимствованных корнях не бывает более одного сочетания согласных в начальной позиции. Это не слишком содержательное обобщение еще и неверно – ср., например, *горноста́й*;

– на с. 229 утверждается, что слово *спасибо* в неизолированных употреблениях типа *спасибо за письмо* ведет себя, как глагол. Чтобы проверить справедливость этого утверждения, достаточно сделать приведенный П. Гардом пример чуть более распространенным – ср. *большое спасибо за письмо*;

– на с. 310 процитированная в поэме «Двенадцать» первая строка знаменитого «Узника» Ф. Глинки («Не слышно шуму городского...») приписана непосредственно Блоку.

Иногда – более серьезные:

– на с. 174 важное для акцентологических построений Гарда слово *городничиха* приводится с ударением на предпоследнем слоге, тогда как для современного узуса нормально только *городничиха*;

– на с. 221 упомянут переход русской поэзии от тонической системы стихосложения к силлабо-тонической. Однако русская силлабо-тоническая поэзия восходит не к народному тоническому стиху, а к предшествующей силлабике, в свою очередь, возникшей на основе западноевропейских образцов: ср., например [Гаспаров 2000];

– на с. 410 утверждается, что подчинительный союз *за то что* почти обязательно требует постпозиции придаточного, тогда как союз *так как* вполне допускает его препозицию. Несколько огрубляя картину, можно сказать, что дело обстоит как раз наоборот.

В статье «Русские падежи: номинотонический подход (Les cas russes: approche nominotonique)» (1983 г.) предпринята попытка установить системный параллелизм между номинативом и инессивом (предложной группой со значением местонахождения), аккузативом и иллативом (предложной группой со значением конечной точки), партитивом и аблативом (предложной группой со значением удаления). Эта соблазнительная, но совершенно иллюзорная картина приводит автора к целому ряду неверных утверждений. Вот лишь некоторые из них. В качестве «партитива» П. Гард рассматривает все употребления русского родительного падежа, кроме примеров типа *У Юли есть слон*. При этом считается, что партитив во всех своих употреблениях связан с отрицанием. Чтобы совместить с этим тезисом примеры типа *Я достиг результата*, П. Гард вынужден прибегать буквально к следующей аргументации: «Если бы не достиг, результата бы не было» (с. 311). Остается только удивляться, почему же в примерах типа *Я получил результат* или *Он выхлопотал пенсию* дополнение все-таки стоит в винительном падеже. В ходе анализа употреблений иллатива делается вывод, что в предложениях с глаголами восприятия иллатив всегда относится к дополне-

нию (*Я вижу птичку на ветке*). Конечно же, это не так, ср. *В Париже я слушал Брассанса*.

Совсем странное впечатление производит статья «Дистрибуция хиатуса и статус фонемы /й/ в русских словоформах (La distribution de l'hiatus et le statut du phonème /j/ dans le mot russe)»¹ (1972 г.), согласно которой хиатус в русских словах (как исконных, так и заимствованных) возможен внутри корня (*каурый*, *поэт*), на границе приставки и корня (*наука*), на границе соединительной гласной и второй основы (*слабоумный*), но невозможен на правой границе корня, в суффиксах и окончаниях, на границе первой основы и соединительной гласной (с. 38). Это наблюдение не просто ошибочно – оно абсурдно. Иноязычные основы с исходом на гласную, присоединяющие /й/ перед падежными окончаниями, не присоединяют его перед многими иноязычными суффиксами (причем сами суффиксальные дериваты могут быть образованы уже непосредственно в русском языке), а порой – и перед соединительным *-о-*: *гений – гениальный*, *линия – линейный*, *станция – станционный*, *Венеция – венецианка*, *Азия – азиат*, *религия – религиозный*, *религиовед*; ср. также примеры несколько иного типа – *узуальный*, *марсианин*, *радиола* и т.д., исчисляющиеся буквально сотнями.

Этот перечень легко было бы продолжить. Тем не менее его никоим образом не следует рассматривать как упрек лично П. Гарду. Показательно, что в обсуждении его доклада о дистрибуции хиатуса приняли участие сразу несколько крупнейших славистов (см. с. 44–47), – и никто из них не обратил внимания на только что процитированные примеры. По-видимому, при работе даже с хорошо знакомым, но все же не родным языком такие ошибки неизбежны². Это заставляет еще раз задуматься о степени

¹ По каким-то неясным причинам как в оглавлении, так и непосредственно в тексте в названии этой статьи вместо *phonème* напечатано *morphème*, хотя речь идет именно о фонеме /й/, что подтверждается и перечнем публикаций (см. с. 457).

Вообще следует сказать, что, хотя в целом сборник издан скорее тщательно, чем небрежно, опечаток, иногда способных по-настоящему сбить читателя с толку, в нем все-таки много.

² Можно думать, что подобного рода ошибки могут быть выявлены и на материале других языков, упоминаемых в книге П. Гарда. Так, немалое удивление вызывает «+», бестрепетно поставленный напротив латыни в перечне языков, для которых характерен порядок слов «прилагательное – существительное» (с. 60). Мы, однако, не решаемся выносить какие-либо суждения на этот счет.

лингвистической достоверности многих работ по типологии, нередко построенных на материале десятков и даже сотен языков, ни с одним из которых автор не знаком по-настоящему...

Так или иначе, наличие в сборнике ряда неудачных статей никоим образом не должно помешать читателю увидеть в нем немало статей весьма ценных. В первую очередь это относится к, пожалуй, основной области научных интересов П. Гарда – акцентологии. В опубликованной еще в 1965 г. (!) статье «Акцентуация и морфология (Accentuation et morphologie)» он одним из первых выдвинул и применил на практике идею описания свободного ударения путем установления акцентных характеристик морфем и правил их взаимодействия в рамках словоформы.

Вот как выглядят предложенные в этой работе правила выбора места ударения в итальянском языке (с. 91):

– всякий корень может нести на себе ударение;

– среди суффиксов и окончаний некоторые могут, а некоторые – не могут нести на себе ударение;

– если в словоформе представлено несколько морфем, способных нести на себе ударение, ударение падает на последнюю из них.

О своем приоритете в открытии этого замечательного правила П. Гард говорит без уверенности – это и понятно, учитывая его исключительную простоту. Во всяком случае, нельзя не согласиться с тем, что к моменту выхода этой статьи предложенный подход к описанию итальянского ударения отнюдь не был общеприятным, – и в очередной раз поразиться склонности лингвистов заниматься чем угодно, только не тем, чем нужно.

Две работы, тематически примыкающие к статье «Акцентуация и морфология», – «Акцентные характеристики морфем в сербохорватском (Les propriétés accentuelles des morphèmes serbo-croates)» (1966 г.) и «Модель описания русского ударения (Modèle de description de l'accent russe)» (1978 г.) – в силу своей краткости имеют скорее иллюстративный характер. Вторая из них к тому же в значительной степени «перекрыта» более поздней по времени книгой А.А. Зализняка [Зализняк 1985], что, впрочем, несколько не умаляет заслуг французского ученого.

В работе «Заметка об энклизе и проклизе в македонском языке (Note sur l'enclise et la proclise en macédonien)» (1968 г.) анализируются следующие загадочные на первый взгляд особенности македонских тактовых групп:

– ударение в македонском языке падает на третий слог от конца: *sinóvi* «сыновья»;

– при этом наличие энклитик существенно для выбора места ударения: *sinóvi mi* «мои сыновья», *dajté mi go* «дайте мне его», – а наличие проклитик – нет: *sme tu go zéle* «мы его ему взяли» (*sme* – вспомогательный глагол);

– однако при сочетании глагола с вопросительным местоимением или частицей *ne* образуется единый акцентный комплекс, в составе которого ударение падает на третий слог от конца даже в том случае, если этот слог принадлежит проклитике: *štó čekáš?* «Чего (ты) ждешь?», *né znam* «не знаю», *ne sme tu gó zele* «мы его ему не взяли».

П. Гард предлагает блистательную разгадку этого парадокса: в сочетании с вопросительным словом или отрицанием глагольная словоформа теряет ударение. Таким образом, не только она сама, но и предшествующие ей проклитики оказываются безударными словами, стоящими в **постпозиции** к полноударному слову, т.е. энклитиками, а потому, по общему для македонской просодии правилу, способны нести на себе ударение.

В статье «Нейтрализация тонов в общеславянском языке (La neutralisation du ton en slave commun)» (1976 г.) предпринимается попытка решения сложной проблемы исчезновения интонационных различий в славянских словах с подвижным ударением на фоне их сохранения в балтийском. Основываясь на трех типах отражения праславянских долгих гласных в сербохорватском и словацком (серб.-хорв. краткий – словац. краткий, серб.-хорв. долгий – словац. долгий, серб.-хорв. долгий – словац. краткий) и рассматривая особенности рсфлексии этих гласных в различных морфологических позициях, П. Гард выступает против выдвигавшегося рядом авторов тезиса о чисто аналогическом характере славянской нейтрализации. Согласно формулируемому им закону, **различие между акутом и циркумфлексом в праславянском сохранялось в ударных и заударных слогах, но утрачивалось в предупредных слогах, а также в словах, не имевших на себе ударения (энклиноменах)**. Насколько нам известно, это решение не было безоговорочно принято другими специалистами по балто-славянской акцентологии; краткая работа П. Гарда, содержащая также ряд других интересных наблюдений, требует проверки на более обширном материале.

Помимо акцентологии, значительное место в исследованиях П. Гарда занимает синтаксис. Не случайно в одной из самых известных его работ – «По поводу бисинхронического метода (Pour une méthode bisynchrone)» (1988 г.) – ис-

точником иллюстративного материала служит не только акцентуация русских имен и глаголов, но и синтаксис количественных числительных. Идея бисинхронического подхода состоит в том, что системная вариативность, наблюдаемая в той или иной сфере языка (ср., например, ударение глаголов на *-ить*: *кру́жит – кру́жит, вклю́чит – вклю́чит...* – или падеж прилагательного в сочетаниях типа *три гордые / гордых пальмы*), описывается как результат взаимодействия двух различных групп правил, одна из которых чаще всего отражает прежнее состояние языка, а вторая – более новое. Одним из образцовых примеров практического применения бисинхронического метода можно назвать статью «Глагольное ударение в сербохорватском: опыт бисинхронического анализа (L'accent du verbe serbo-croate: essai d'analyse bisynchrone)» (1981 г.), в которой предложены два набора акцентных маркировок морфем и две системы правил, регламентирующих выбор места ударения в сербохорватских глагольных парадигмах. Сравнивая две эти системы, П. Гард убедительно демонстрирует, что сербохорватский язык находится на стадии перехода от парадигматического акцента к категориальному.

Если работы П. Гарда в области акцентологии, в общем, всегда привлекали к себе внимание, то с его синтаксическими исследованиями дело обстоит значительно хуже. Очень показательна в этом плане судьба статьи «Анализ русских оборотов типа *мне нечего делать* (Analyse de la tournure russe *mne nečego delat'*)» (1976 г.). Рассматривая конструкции с так называемыми «отрицательными местоимениями» типа *некуда, нечего* и т. д., П. Гард приходит к заключению, что частица *не* и примыкающая к ней местоименная форма являются двумя разными словами, между которыми вдобавок не обнаруживается непосредственной синтаксической связи (с. 250). Излишне напоминать, что в точности таким же выводом («...некого, нечего, негде, некуда, неоткуда, незачем внешне маскируются под слова, а на деле не являются даже словосочетаниями с внутренне замкнутой синтаксической структурой») завершается знаменитая статья [Апресян, Иомдин 1989], посвященная той же проблеме. В работе Ю.Д. Апресяна и Л.Л. Иомдина статья Гарда упоминается вскользь – в основном в связи с различным пониманием вопроса о синтаксической структуре обсуждаемых конструкций. Между тем, как мы видим, куда более важный, на наш взгляд, вопрос о структуре единиц типа *некуда* в обеих работах решен одинаково, и научный приоритет здесь несомненно принадлежит П. Гарду.

Статья «Линейный порядок и синтаксическая зависимость: опыт типологии (Ordre linéaire et dépendance syntaxique: contribution à une typologie)», как кажется, и вовсе прошла практически незамеченной. В этой работе П. Гард сравнивает типологические наблюдения, касающиеся порядка значимых элементов, представленные в работах Л. Теньера и Дж. Гринберга. Написанная в 1977 г., к тому же ученым, по большому счету все-таки далеким от соответствующей проблематики, эта статья сейчас выглядит во многом устаревшей. В частности, П. Гард нигде не говорит напрямую о языках правого и левого ветвления и рассматривает взаимное расположение прилагательного и существительного в том же ряду, что и, например, взаимное расположение глагола и дополнения; ныне, после работ М. Драйера (см. [Dryer 1988]), неправомочность такого подхода можно считать доказанной.

Однако работа обладает и рядом несомненных достоинств.

Во-первых, П. Гард не только сопоставляет взгляды Теньера и Гринберга, но и возвращает в научный оборот давнюю работу непосредственного предшественника Гринберга В. Шмидта [Schmidt 1932]. Излишне говорить, что если Теньер в своей книге ссылается на Шмидта, то Гринберг не ссылается ни на Шмидта, ни на Теньера...

Во-вторых, П. Гард считает необходимым обращать особое внимание как собственно на исключения из общих закономерностей, так и на случаи сложных условий выбора между конкурирующими порядками, формулируя особые правила на этот счет (с. 60–61). Конечно, такой подход нельзя не признать несколько наивным – скажем, в русском языке соответствующие правила исчисляются как минимум многими десятками. Тем не менее он вызывает куда большее уважение, чем подход Дж. Гринберга, попросту игнорирующего многочисленные различия между языками.

В-третьих, П. Гард распространяет понятие зависимости на отношения между морфемами внутри словоформы, рассматривая окончания и суффиксы как вершины, а корни – как зависимые. Напомним, что в отечественной лингвистике в те же годы проблемой синтаксиса словоформы занимался А.Н. Барулин, пришедший к сходным выводам [Барулин 1980]. Однако, например, в превосходном учебнике Я.Г. Тестельца о трактовке суффиксов как вершин говорится лишь применительно к генеративной грамматике [Тестелец 2001: 488]. Ни одна работа П. Гарда в книге Я.Г. Тестельца не упоминается вообще.

В завершение коснемся еще одной статьи П. Гарда, посвященной синтаксису, – «Глаголь-

ный эллипсис, нулевой глагол и безглагольное предложение в русском и французском языках (*Ellipse du verbe, verbe zéro et phrase non verbale en russe et en français*)» (в сборнике она опубликована впервые). В начале работы автор с едкой иронией говорит о стремлении приверженцев трансформационного подхода приписывать предложениям, не укладывающимся в априори заданные схемы, ту или иную глубинную структуру, вид которой определяется в первую очередь... родным языком исследователя (с. 370). Анализируя русские предложения *Татьяна в лес, медведь за нею, Зачем вы ко мне?, Домой бы вам, Он об этом ни гугу* и др., П. Гард показывает, что они являются в точном смысле слова безглагольными, т.е. не могут рассматриваться ни как эллиптические, ни как содержащие нулевую связку. Первое решение невозможно потому, что нарушается основное требование к эллиптической фразе – однозначная выводимость из контекста (ср. *Татьяна идет (?) / бежит (?) / вбежала (?) / бросилась (?) / ... в лес*). Второе – потому, что нулевая связка неизменно входит в состав единой парадигмы с другими формами глагола *быть*, ср. *Татьяна (была, будет) в лесу, но Татьяна (*была, *будет) в лес*. Мы вполне допускаем, что этот, на наш взгляд, абсолютно неоспоримый вывод противоречит каким-то из господствующих ныне синтаксических концепций. Тем хуже для этих концепций.

Яркая, противоречивая и талантливая книга Поля Гарда будет интересна всем тем, кого многоступенчатые теоретические построения современной лингвистики еще не отучили видеть красоту языковых фактов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян, Иомдин 1989 – Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин. Конструкция типа *негде спать*: Синтаксис, семантика, лексикография // Семиотика и информатика. Вып. 29. М., 1989.
- Барулин 1980 – А.Н. Барулин. О синтаксисе словоформы (на материале турецкого языка) // Тезисы рабочего совещания по морфеме (ноябрь 1980 г.). М., 1980.
- Булыгина 1977 – Т.В. Булыгина. Проблемы теории морфологических моделей. М., 1977.
- Гард 1974 – П. Гард. К истории восточнославянских гласных среднего подъема // ВЯ. 1974. № 3.
- Гард 1985а – П. Гард. Русское *каково* // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15 (современная зарубежная русистика). М., 1985.
- Гард 1985б – П. Гард. Структура русского местоимения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15 (современная зарубежная русистика). М., 1985.
- Гаспаров 2000 – М.Л. Гаспаров. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. 2-е изд. М., 2000.
- Зализняк 1985 – А.А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Иткин 2007 – И.Б. Иткин. Русская морфология. М., 2007.
- Тестелец 2001 – Я.Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Чурганова 1973 – В.Г. Чурганова. Очерк русской морфологии. М., 1973.
- Dryer 1988 – M.S. Dryer. Object-verb order and adjective-noun order: dispelling a myth // *Lingua*. V. 74. 1988. № 1.
- Garde 1976 – P. Garde. Histoire de l'accentuation slave. T. 1. Paris, 1976.
- Jakobson 1948 – R. Jakobson. Russian conjugation // *Word*. V. IV. 1948. № 3.
- Schmidt 1932 – W. Schmidt. Die Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde. Heidelberg, 1932.
- Stang 1957 – Chr.S. Stang. Slavonic accentuation. Oslo, 1957.
- Troubetzkoy 1934 – N.S. Troubetzkoy. Das morphonologische System der russischen Sprache // *TCLP*. T. 5. 1934. № 2.

И.Б. Иткин

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Международная научная конференция
«А.И. Соболевский и русское историческое языкознание
(к 150-летию со дня рождения ученого)»

С 8 по 11 июня 2007 г. в Москве, в Институте русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук, состоялась международная научная конференция «А.И. Соболевский и русское историческое языкознание (к 150-летию со дня рождения ученого)». В конференции приняли участие 77 докладчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Перми, Петрозаводска, а также из Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Латвии, Польши, Сербии, США, Украины, Чехии, Швейцарии, Швеции; кроме того, в качестве слушателей на конференции присутствовали представители Испании, Македонии и Словении.

Конференция открылась пленарным заседанием, на котором, после вступительного слова председателя Организационного комитета конференции директора ИРЯ РАН чл.-корр. РАН А.М. Молдована, осветившего основные достижения современной исторической русистики, и прежде всего Института русского языка, в развитии идей и методов Алексея Ивановича Соболевского, выступили В.Б. Крысько (Москва), который в докладе «К путям Соболевского» проследил основные направления развития русского исторического языкознания после Соболевского и сделал вывод о неизменной актуальности большинства работ ученого для русской и славянской филологии, Й. Райнхарт (Вена, Австрия), который рассмотрел на современном материале и с привлечением новейших открытий глубоко интересовавший А.И. Соболевского вопрос о древнейшем славянском переводе Римского

Патерика, А.А. Турилов (Москва), проанализировавший в своем докладе как актуальные, так и устаревшие положения, связанные с вкладом А.И. Соболевского в палеографию, и акад. А.А. Зализняк (Москва), обсуждавший историю древнерусских энклитических и полноударных местоимений. Заседание привлекло внимание более чем ста участников – на нем присутствовали также студенты и преподаватели московских вузов.

Далее работа конференции проходила по четырем секциям, отражавшим основные историко-лингвистические интересы А.И. Соболевского.

8 июня состоялись заседания следующих секций: «Историческая грамматика», «Источниковедение», «Лексикология и лексикография». На заседании историко-грамматической секции, проходившей под председательством С.И. Иорданиди (Москва) и С. Менгель (Галле, Германия), был вначале заслушан блок историко-фонетических докладов: Р. Маросвич (Белград, Сербия) высказал оригинальную гипотезу о развитии групп **kti*, **gti*, **xti* в праславянском, М. Б. Попов (Санкт-Петербург) выступил с гипотезой о происхождении цоканья в севернорусских говорах, Л.Л. Касаткин (Москва) посвятил свой доклад истории фонем /o/ – /ω/. Следующие доклады были посвящены языку древнерусских памятников: В.М. Живов (Москва) анализировал употребление дательного самостоятельного в Повести временных лет и Житии Фсодосия в связи с проблемами референтной структуры и порядка слов, в двух докладах – М.Н. Шевлёвой (Москва) и П.В. Пеструхина (Москва) – рассматривалось функционирование так называемого «русского» плюсквамперфекта, а О.П. Шевчук (Москва) выступила с наблюдениями о

языке Софийского (середины XIII в.) и Лобковского (1262 г. или 1282 г.) прологов.

Работа секции «Источниковедение», проходившей под председательством Е.М. Верещагина (Москва) и Ф. Томсона (Антверпен, Бельгия), открылась вызвавшим оживленный интерес докладом Х. Микласа (Вена, Австрия) о формальной структуре Константиновой глаголицы. Доклад А.С. Герда (Санкт-Петербург) был посвящен лингвистической типологии славянских рукописей, в докладе М. Гардзанини (Флоренция, Италия) рассматривалось взаимодействие текстологии и языкознания в изучении рукописной традиции славянского Евангелия. Т. Георгиева (Силистра, Болгария) рассказала о своем издании древнерусской рукописи XII века – Златоструя, осуществленном в развитие трудов двух русских ученых – В.И. Малинина и А.И. Соболевского. В. Желязкова (София, Болгария) посвятила свой доклад характеристике Пролога в составе рукописи № 73 из научного архива Болгарской академии наук, а Л.В. Прокопенко (Москва) поделилась наблюдениями над составом и редакциями Пролога за сентябрьское полугодие. А. Рабус (Фрейбург, Германия) рассказывал о вкладе А.И. Соболевского в изучение культуры Юго-Западной Руси, а И. Майер (Упсала, Швеция) – о вновь найденных оригиналах к Вестям-Курантам XVII в.

Заседание секции «Лексикология и лексикография», работавшей под председательством В.Н. Калиновской (Санкт-Петербург) и И.С. Улуханова (Москва), открылось докладом Я. Милтенова (София, Болгария) «Лексические маркеры как средство атрибуции преславских текстов». Далес Г. Йованович (Белград, Сербия) осветила некоторые сопоставительные моменты, касающиеся лексики сербских и русских евангелий. Л.И. Щёголева (Москва) анализировала философско-богословские категории бытия и возникновения в славяно-русском переводе Хроники Георгия Амартола, а М.И. Чернышева (Москва) посвятила доклад символике названия византино-славянского сборника «Маргарит». В докладе чл.-корр. РАН А.М. Молдована (Москва) рассматривалась семантическая история слова *обида* в русском языке, а в докладе М.А. Бобрин (Берлин, Германия) – история синонимии слов *страстотерпец* и *мученик*. Два заключительных доклада были посвящены формированию русской лингвистической терминологии: В. Томеллер (Мачерата, Италия) рассматривал первые опыты создания синтаксической терминологии на Руси в переводной грамматике XV–XVI вв. «Правила граматичные мень-

шие», а И.А. Малышева (Санкт-Петербург) исследовала использование слов *лексикон* и *словарь* в научной традиции XVIII века.

9 июня на секции «Историческая грамматика» (председательствующие: М.Б. Попов и А. Фаловски) был заслушан ряд докладов по истории глагола: С. Менгель (Галле) посвятила свой доклад отражению прошедшего действия в языке восточных славян, Я. Какридис (Берн, Швейцария) исследовал функционирование «цепочек имперфектов» в Супрасльской рукописи, М.О. Новак (Казань) рассматривала соотношение глагольных форм в греческом оригинале и славянском переводе Парнесиса Ефрема Сирина, Т.В. Пентковская (Москва) анализировала инфинитивные конструкции в Чудовской и афонской редакциях Нового Завета. В докладе О.Н. Кияновой (Москва) было освещено состояние грамматической нормы языка поздних летописных текстов, а А.А. Плетнева (Москва) обратилась к структуре текста и порядку слов в онежских былинах. На вечернем заседании, проходившем под председательством Я. Какридиса, прозвучали три доклада по исторической диалектологии: Р.Ф. Касаткиной (Москва) – о функционировании изменяемой постпозитивной частицы в севернорусских говорах, А. Фаловского (Краков, Польша) – о значении работ А.И. Соболевского для изучения древнего псковского говора – и А.В. Тер-Аванесовой (Москва) «Исторический комментарий к фонетике говоров русско-белорусского пограничья», а также историко-морфологические доклады С.И. Иорданиди (Москва) о рецензиях А.И. Соболевского, прежде всего посвященных морфологии имени, и Е. Братищенко (Калгари, Канада) об истории окончания родительного падежа единственного числа мужского рода местоименного прилагательного в русском языке.

Работа секции «Источниковедение» 9 июня открылась, под председательством А.А. Алексеева (Санкт-Петербург) и И. Майер, докладом Д.С. Ищенко (Одесса, Украина), посвященном «списку А.И. Соболевского» (т.е. перечню древних восточнославянских переводов с греческого) и переводческой деятельности в Киевской Руси. В докладе В. Федера (Дирфилд, США) «Выражение оригинала или выражение списка?» затрагивались вопросы текстологии древнейших славянских переводов, О.С. Сапожникова (Санкт-Петербург) посвятила свой доклад сопоставлению высказываний А.И. Соболевского о переводчиках Патерика Римского с неизвестным переводом Иоанна экзарха Болгарского. Ф. Томсон рассказал о нескольких до-

сих пор не установленных оригиналах переводных текстов, описанных Соболевским. Далее были оглашены три доклада, посвященные роли А.И. Соболевского в изучении лексики церковнославянских переводов с латыни и значению этих исследований на современном этапе развития науки: В. Чермак (Прага, Чехия) и К.А. Максимова (Москва) высказали общую оценку трудов А.И. Соболевского для изучения древнейших западнославянских переводов с латыни, а Ф. Чайка (Прага, Чехия) рассказал о Житии св. Анастасии в церковнославянском переводе по изданию А.И. Соболевского. Вечернее заседание секции, проходившее под председательством В.М. Живова и М. Мак-Роберт (Оксфорд, Великобритания), началось с двух докладов о древнерусской эпиграфике: А.А. Гиппиус (Москва) рассказал о надписи на пряслице XI в., недавно обнаруженном в Вышгороде, а Т.В. Рождественская (Санкт-Петербург) вновь вернулась к трактовке одной из надписей на стенах церкви св. Пантелеймона в Галиче Южном. Далее последовали два доклада о древнерусских грамотах: А.М. Кузнецов (Даугавпилс, Латвия) поделился своими соображениями относительно палеографии и орфографии списков Договора 1229 г. между Смоленском, Ригой и Готским берегом, а В.А. Кучкин (Москва) рассказал о трудностях дешифровки плохо сохранившегося договора Симеона Гордого с братьями. Завершилось заседание тремя докладами, связанными с гимнографической проблематикой: А.М. Пентковский (Абрамцево) посвятил свой доклад двум охридским редакциям богослужебных текстов, А.А. Пичхадзе (Москва) сопоставила язык гимнографических памятников с древнейшим переводом Хроники Георгия Амартола и родственных памятников, В.Б. Крысько на материале новонайденных греческих источников канона Кириллу Философу обратился к занимавшей А.И. Соболевского проблеме реконструкции церковнославянских стихотворений IX–X веков.

Секция «Лексикология и лексикография» провела 9 июня одно заседание – утреннее (председательствующие – Г. Иванович и И.А. Малышева). На заседании были заслушаны доклады И.С. Улуканова «О некоторых перспективах изучения исторической лексикологии и исторического словообразования [по материалам Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)]», А.В. Ефимовой (Пермь) об истории слов с корнем *костр-/костер-* ‘крепость, сооружение, укрепление’ в русском языке XI–XX веков, И.Б. Дягилевой, В.Н. Калиновской, О.А. Старовой-

т о в о й (Санкт-Петербург) «От теории к практике: пробный выпуск “Словаря русского языка XIX века”». В.А. Матвеев (Москва) посвятила свой доклад тому, как подготовка критического издания Временника Георгия Монаха позволяет вносить существенные коррективы в Словарь древнерусского языка. В.Л. Васильев (Великий Новгород) на материале топонимии и диалектной лексики исследовал лексикализацию изменения [дн] > [ни] > [н] в истории русского языка. И.Г. Добродомов (Москва) рассказал о малоизвестном литографированном курсе А.И. Соболевского «Русские заимствованные слова» и его значении для русского исторического языкознания.

На вечернем заседании 9 июня проходила работа секции «История литературного языка» (председательствующие – Д.С. Ищенко и С. Николова из Софии). Большинство докладов секции было посвящено древнерусским переводам с греческого: так, И.И. Макеева (Москва) посвятила свой доклад переводу Чудес Николая Мирликийского, Г.С. Баранкова (Москва) – «Вопрошанию неведомых словес Георгия митрополита киевского», Б.М. Пудалов (Нижний Новгород) – переводам «Притчи о дворе и змии», Т.И. Афанасьева (Санкт-Петербург) – так называемой «Толковой службе», русской компиляции толкований на литургию; Н.И. Зубов (Одесса, Украина) рассказал о новонайденном списке переводных комментариев к Словам Григория Богослова, Л.В. Мошкова (Москва) – об анонимном толковании 71-го правила Карфагенского собора. Противоположному феномену – переводам с русского языка – был посвящен доклад У. Биргегорд (Упсала, Швеция) «Переводчики с русского языка в Швеции XVII века. О чем говорят их тексты?».

Работа 9 июня завершилась презентацией издания, недавно осуществленного одним из участников конференции: Christian Hannick. *Das altslavische Hirtologion*. Freiburg i. Br., 2006. На презентации, вызвавшей большой интерес, выступили А.М. Молдован, М. Гардзанини и сам К. Ханник.

10 июня началось с возложения цветов на могилу А.И. Соболевского на Ваганьковском кладбище, в котором приняли участие представители нашей страны, а также Германии, Италии и Польши.

Затем состоялись заседания двух секций. На секции «Источниковедение» под председательством В. Федерера (США) выступили с докладами Е.М. Верещагин, который проанализировал описки в Остромировом евангелии, 950-летию которого отмечалось в эти дни, Р. Штихель (Мюнстер, Германия),

исследовавший Симоновскую псалтирь 1270 г. с точки зрения ее значения в истории текста и иллюстрации псалмов, М. Мак-Роберт, описавшая, в дополнение к исследованию А.И. Соболевского о галицко-волынском наречии, язык и текстологические особенности Луцкой псалтыри 1384 г., и Р.Н. Кривко (Москва), изучавший в контексте древнерусских изоглосс еще один памятник, который Соболевский рассматривал в числе галицко-волынских, – так называемый кодекс Ганкенштейна.

Заседание секции «Лексикология и лексикография» (председательствующие – И.Г. Добродомов и М.И. Чернышева) было в этот день дополнено темой «Personalia»: доклад С.В. Кезиной (Пенза), был посвящен говорам славянских языков как источнику для семасиологических исследований, в докладе З.К. Тарланова (Петрозаводск) освещалась роль А.И. Соболевского в исследовании русских былинных имен, Л.Ю. Астахина (Москва) на архивных материалах рассказывала о значении деятельности А.И. Соболевского для русской исторической лексикографии, С. Николова сопоставила жизненные и творческие пути двух крупнейших ученых – А.И. Соболевского и Г.А. Ильинского, а О.В. Селиванова (Санкт-Петербург) рассмотрела, также по архивным материалам, научные и личные взаимоотношения А.И. Соболевского и его ученика Н.М. Каринского.

На заключительном пленарном заседании 10 июня прозвучали три доклада: Ж.Ж. Варбот (Москва) посвятила свое выступление соотношению этимологии и диалектной фонетики (на примере дифтонгизации $y > ou$), К. Ханник (Вюрцбург, Германия) рассуждал о месте происхождения двух переводов Тактикона Никона Черногорца, А.А. Алексеев дал общую характеристику древнерусской переводной письменности в типологическом аспекте.

В тот же день состоялось совместное расширенное заседание редакционных коллегий Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.) и Словаря русского языка XI–XVII вв., на котором обсуждались дополнения и исправления к обоим словарям.

Последний день конференции, 11 июня, был посвящен культурной программе: для участников конференции были организованы экскурсии в Троице-Сергиеву лавру и в музей-заповедник Абрамцево.

По завершении конференции, 12 июня, в ИРЯ РАН состоялось заседание Комиссии по

церковнославянским словарям при Международном комитете славистов.

В целом конференция показала, что вклад, внесенный А.И. Соболевским в различные сферы русского и славянского языкознания, настолько значителен, что и теперь большинство открытий и теоретических положений ученого сохраняют актуальность. Более того – в условиях кризиса гуманитарных наук, связанного с влиянием так называемого «нового учения о языке» (1920–40-е гг.), многие из достижений, связанных с деятельностью Соболевского, были преданы забвению, поскольку противоречили идеологическим догмам того времени, и утрата традиций привела к тому, что лишь в последние годы наука начинает заново открывать то, что уже было известно Соболевскому, и осваивать его достижения на современном уровне, с использованием того, что было выработано лингвистикой в XX веке. Особое значение труды Соболевского имеют в сфере изучения древней письменности; его знания в этой области до сих остаются непревзойденным, а его описания и исследования древнерусских письменных памятников, заложившие основы таких дисциплин, как историческая грамматика, историческая диалектология и история русского литературного языка, представляют собой образец и для современных исследователей. Характерный для научного творчества Соболевского акцент на строгом, фактологически выверенном описании явлений языка с опорой на материал письменных памятников весьма актуален на современном этапе, когда все большее распространение получают ненаучные методы описания истории и исторических источников, искажающие, в частности, и историю России («новая хронология» и т.п.). Издание в 2004–2006 гг. «Трудов по истории русского языка» Соболевского показало, что основательное изучение и развитие его идей несомненно принесет значительную пользу русской и мировой славистике. В настоящее время те перспективные направления, которые были открыты трудами Соболевского, интенсивно развиваются в России, и особенно в Москве; однако обращает на себя внимание все более активное развитие русского исторического языкознания в Санкт-Петербурге, Казани, других городах Российской Федерации, а также за рубежом, прежде всего в Германии, Швеции, Италии. Дальнейшее развитие идей и методов Соболевского – приоритетное направление современной науки.

В.Б. Крысько (Москва)

7–10 ноября 2007 г. на базе пансионата РАН «Звенигородский» в Подмосковье прошла Международная конференция «Фонетика сегодня». Конференция проводилась уже в пятый раз и позволила продолжить традицию, начатую более 25 лет назад. Конференция дала возможность научного общения фонетистам разных научных школ из многих регионов России и из-за рубежа. Тематика позволила объединить усилия академической и университетской науки, а также привлечь к ее работе молодое поколение фонетистов – аспирантов и студентов.

Всего в работе конференции принимали участие 96 человек, было прочитано 83 научных доклада на русском и английском языках; 13 на пленарных заседаниях, а 70 – на сессионных. Участники представляли 14 стран (Белоруссия, Великобритания, Германия, Испания, Казахстан, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, США, Турция, Франция, Япония). Программа конференции позволила сгруппировать доклады по общей для них проблематике: сегментная фонетика, фонология, просодия, сопоставительная фонетика, орфоэпия.

В очередной раз ведущие фонетисты России собрались на конференции, организованной ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН, чтобы рассказать о последних достижениях в науке, поделиться опытом и обсудить перспективы развития фонетики.

Конференция была приурочена к столетию со дня рождения С.С. Высотского. Жизни и творческой биографии этого выдающегося фонетиста было посвящено вступительное слово председателя оргкомитета, зав. отделом фонетики ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН Р.Ф. Касаткиной (Москва). Вклад С.С. Высотского в развитие фонетики и диалектологии трудно переоценить: организация Лаборатории экспериментальной фонетики при ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН, создание фонотеки, ставшей со временем национальным достоянием, создание «Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» – эти и многие другие стороны деятельности ученого в своем сообщении осветила Р.Ф. Касаткина. Многие исследователи, чьи доклады были представлены на конференции, развивали в своих работах идеи и научные принципы С.С. Высотского.

На пленарном заседании, открывшем конференцию, первым был прослушан доклад Л.Э. Калнынь (Москва) «О концепции изучения русской диалектной фонетики в

трудах С.С. Высотского», в котором говорилось о новом подходе к описанию диалектной фонетики, предложенном С.С. Высотским. Ученый считал необходимым при изучении звукового строя диалектов ориентироваться на фиксацию особенностей реальной материи языка аудитивным и экспериментальным способами.

М.Л. Каленчук (Москва) в докладе «О позиционном подходе к описанию произносительных явлений» на примере вариативного произношения [p] – [p'] перед [t'] показала, что реализация фонемы при действии орфоэпической закономерности предопределяется целым рядом факторов разного характера, которые автор называет орфоэпическими позициями. Все произносительные закономерности автор предлагает делить не на фонетические и орфоэпические, а на позиционные и непозиционные.

Целью доклада Л.В. Златоустовой (Москва) «“Наступление” диалектной фонетики на орфоэпическую норму русской речи» было выявление черт местных говоров в произносительных нормах москвичей и петербуржцев. Такие диалектные черты, как появление глухих гласных между глухими согласными, встроенных гласных, отсутствие редукции ударных слогов, употребление губно-губного [w] Л.В. Златоустова связывает с привлечением в крупные города значительного количества населения из сельских местностей.

С. Гжибовский (Польша) в докладе «Спорные вопросы польской фонологии» изложил принятое большинством ученых решение вопросов о корреляции по палатальности, аллофонизации гласных [i]–[y] и фонематическом статусе носовых гласных в польском языке. На современном этапе развития, как отмечает исследователь, согласные не имеют корреляции по палатальности, а фонетическая мягкость непалатальных объясняется позицией перед /j/ или перед гласным /i/. Носовые гласные интерпретируются как сочетания гласных с носовыми глайдами.

Богатый языковой материал был проанализирован Н.В. Богдановой (Санкт-Петербург) в докладе «Аллегровые формы русской речи как источник пополнения современного лексикона». Автор рассматривает слова, которые устойчиво подвергаются в речи сильной редукции в соответствии с законом экономии речевых усилий, проясняет их слова-источники и предпринимает попытку классифицировать аллегровые формы.

В докладе «Наша орфография: фонематическая или морфематическая?» С.К. Пожа-

рицкая (Москва), рассмотрев основные правила русской орфографии, приходит к выводу о неправомерности отрицания морфологического принципа орфографии в пользу преимуществ фонематического. По мнению докладчика, замена понятия морфемы понятием морфа как минимальной единицы языка, в пределах которой реализуется смысловозначительная функция фонемы, позволило бы адекватно интерпретировать многие написания.

Секция «Просодия» была представлена в этом году наибольшим числом докладов. Е.В. Ягунова (Санкт-Петербург), выдвинув в качестве отправной точки исследования мысль о том, что роль просодических структур существенным образом зависит от функционального стиля текста, проиллюстрировала этот тезис на материале двух текстов делового и художественного стилей при восприятии в условиях зашумления, а также при восприятии псевдотекстов, полученных на основании различных модификаций исходных текстов. М. Пост (Норвегия), рассматривая в своем докладе проблему описания интонации общего вопроса в говоре д. Вазуги (Герский р-н Мурман. обл.), пришла к заключению, что выбор между двумя интонационными конструкциями, характеризующими общий вопрос в изучаемом говоре, зависит от таких факторов контекста, как информационная структура вопросов и ожидания говорящего насчет ответа. Обратившись в докладе «Фонетическое слово в аспекте семиотики» к одной из малоизученных проблем, С.А. Крылов (Москва) обосновывает точку зрения, согласно которой фонетическое слово следует считать двусторонней единицей, обладающей относительной целостностью не только в фонетическом, но и в содержательном аспекте. С. Оде (Нидерланды) представила новую систему транскрипции русской интонации ToRI (Transcription of Russian intonation), которая построена таким образом, что ее можно использовать и как учебный инструмент для лингвистов и студентов на продвинутом этапе, и как исследовательский инструмент, например, для описания интонации в русских диалектах. Х. Уста (Турция) в исследовании на тему «Действует ли в синкопе закон последовательности?» рассмотрел на материале турецкого языка процесс выпадения согласных и указал факторы, влияющие на его протекание. В докладе А.Б. Лукашанец (Беларусь) речь идет о просодическом воплощении модальности высказывания. По мнению автора, интонация сама по себе не может выражать модально-эмоциональных значений, она характеризует лишь степень эмоциональной вовлеченности говорящего, не указывая при

этом на ее положительную или отрицательную окраску. Л.М. Захаров и О.А. Казакович (Москва) рассказали в своем докладе о предварительных результатах инструментального анализа фразовой интонации аудиозаписей кетской, селькупской и эвенкийской речи. Как указывают авторы, несмотря на то, что исследуемые языки не состоят в родстве, фразовая просодия в них имеет много общих черт. Тенденции изменения места ударения, факторы, определяющие вариативность его постановки, обсуждались в докладах Е.В. Кузнецовой (Москва), Е.М. Алтайской (Москва), М.Р. Ильиной (Москва) и Г.М. Вишневецкой (Иваново). Е.Л. Фрейдина (Москва) проанализировала просодические средства, передающие индивидуальный стиль оратора в британской академической публичной речи. О.А. Первезицева (Москва) рассмотрела явления просодической интерференции и интонационного акцента с точек зрения говорящего и слушающего. Предметом исследования Р.Д. Пичуговой (Москва) стал процесс межслоговой ассимиляции гласных. Т.М. Надеина (Москва) в своем докладе рассказала, как просодическая организация сообщения способна влиять на индивидуальное сознание слушателя. Д.А. Карагойшиева (Казахстан) продемонстрировала первые попытки экспериментально-фонетического анализа тональных акцентов в казахском языке.

На заседании секции «Орфоэпия» были представлены доклады, посвященные современному русскому литературному произношению (например, доклады А.Д. Андреевой, С.В. Зотовой (Москва)) и его различным подсистемам. Так, С.Ф. Барышева (Москва) исследовала сценическую речь, Ю.М. Ильинов (Волгоград) – вокальную речь, В.Н. Замыслова (Красноярск) – речь жителей Красноярского края; В.А. Соколянская (Магадан) обратилась к подсистеме заимствованных слов. Ж.В. Ганиев (Москва) в докладе о границах старомосковского произношения развивает концепцию С.С. Высотского. Автор, ссылаясь на труды Ф.Е. Корша, В.И. Чернышева, Р. Кошутича и других ученых первой половины XX в., показывает существование старших и младших вариантов в пределах старомосковского произношения. Вопросу о границах, в пределах которых присутствие разговорных форм считается «вполне литературным», был посвящен доклад И.А. Вещиковой (Москва) «Устная публичная речь 30–70-х гг. XX в. и место в ней фактов разговорной фонетики». О.А. Прохвятилова (Волгоград) сравнила каноническое молитвенное чтение,

воспроизводящее в той или иной мере традиционное произношение церковнославянских сакральных текстов, с неканоническим, в большей степени подверженным влиянию фонетической системы современного русского литературного языка. Е.С. Скачедубова (Москва) в своем выступлении, разграничив побочное ударение и акцентное выделение как два типа просодической выделенности, показала их влияние на особенности звукового оформления сложных и сложносокращенных слов. Описанию поведения инициального йота перед [и] в формах местоимений их, им, ими был посвящен доклад О.В. Антоновой (Москва). Анализ работ Востокова, Грота, Чернышева, Кошутича при сопоставлении с наблюдениями над речью современных молодых москвичей говорит о постепенном увеличении числа позиций, в которых выпадение йота становится все более вероятно. Результаты экспериментального исследования по восприятию звуков на месте фонемы /j/ носителями русского литературного языка в позиции после гласного в конце слова были представлены в докладе Е.Л. Арзиани (Москва). Данные эксперимента показали, что большое влияние на восприятие аудиторами произнесенных диктором слов оказывала слабая фразовая позиция. С.М. Кузьмина (Москва) выступила с докладом о взаимодействии нормы и узуса в русской фонетике постсоветского времени. Сообщение Д.А. Ивановой (Москва) было посвящено проблеме статуса аналитических прилагательных и динамике их функционирования в русском языке. Живой интерес участников вызвало выступление О.А. Кузнецова (Москва), продемонстрировавшего на большом количестве примеров варианты реализации вокалических сочетаний в русской речи.

На заседании секции «Сегментная фонетика» И.М. Логинова (Москва) в своем докладе предприняла попытку уточнить понятие «артикуляционного уклада», обратив внимание слушателей на то, что дифференциация укладов в системе артикуляционной базы полезна как в сравнительно-типологических исследованиях, так и в прикладных областях, прежде всего, в логопедии и преподавании иностранных языков. М.А. Штудинер (Москва) наряду с аффрикатами с долгим затвором предлагает выделять аффрикаты с продленным фрикативным элементом. Как указывает докладчик, второй тип аффрикат возник из сочетаний зубного смычного согласного с последующим зубным или переднеязычным фрикативным; произносятся аффрикаты этого типа на стыке морфем в интервокальной позиции. В докладе

С.В. Кодзасова и Е.В. Шигель (Москва) были продемонстрированы результаты исследования акустической динамики различных консонантных признаков, а также характеристик прилегающих вокалических участков. Полученные данные показали, что обычные представления об интервокальных согласных нуждаются в уточнении на основе выявления дополнительных факторов, которые до сих пор не попадали в поле зрения исследователей. Выступление П. Скайера и Сосси Анииа (Япония) было посвящено анализу так называемых *alveolar tap allophones* (т.е. ослабленных позиционных вариантов альвеолярных согласных, при произнесении которых язык быстро проскальзывает по альвеолам). Предметом рассмотрения К. Ульбих (Великобритания) стали тональные акценты в английском и немецком языках. И.И. Исаев (Москва) в докладе «Особенности артикуляционной базы некоторых среднерусских говоров» рассказал о результатах ряда экспедиций в села Владимирской и Рязанской областей. Некоторые диалектные черты (например, какуминальная артикуляция переднеязычных) были обнаружены впервые, некоторые получили уточненную лингвогеографическую характеристику. Д.М. Савинов (Москва) в своем докладе рассмотрел развитие Новоселковского ассимилятивно-диссимилятивного яканья в южнорусских говорах. Исследование А.В. Циммерлинга (Москва) было посвящено проблеме тайминга в древнегерманском ударении.

На заседании секции «Фонология» Л.Л. Касаткин (Москва), рассматривая понятие фонемы с точки зрения синтеза взглядов МФШ и ПФШ, высказал гипотезу, что фонемы можно трактовать как двусторонние языковые знаки, включающие означающее (ряд позиционно чередующихся звуков) и означаемое, представленное составом дифференциальных признаков фонемы. Д.И. Эдельман (Москва) в своем выступлении рассказала об отражениях древнеиранских *t, *d в виде r, l в различных иранских языках. По мнению автора, возникновение вторичных r, l из переднеязычных смычных связано с общностью артикуляционных тенденций. В докладе «Звук речи и звук языка» А.А. Соколянский (Магадан) развивает идеи П.С. Кузнецова и М.В. Панова, обосновывает понятие звука языка и противопоставляет звук речи первого рода (любой конкретный звук, произнесенный определенным человеком в определенный момент) и звук речи второго рода (типичный для каждого конкретного говорящего способ произнесения тех или иных звуков). На основе этого разграничения

исследователь уточняет формулы соотношения фонемы, звука языка и звука речи, предложенные М.В. Пановым. Ю.А. Клейнер (Санкт-Петербург) в докладе «О реальности границ и границах супплетивизма» проанализировал научные положения изданной в 2000 г. под редакцией В. Фромкин книги «Linguistics», в которой рассматриваются «полные супплетивизмы» и «частично супплетивные» формы, и пришел к заключению, что в ряде направлений современной лингвистики наблюдается отказ от процедур выделения дискретных фонологических единиц и, как следствие, отказ от самих единиц. В совместном докладе Е.М. Болычевой и Е.И. Литневской (Москва) показано, как фонетическая сторона языковой картины мира может влиять не только на наивные, но и на профессиональные лингвистические научные построения. Так, и профессиональный лингвист, и рядовой носитель языка выстраивают ряды чередующихся звуков в некоторой «правильной» последовательности, например с /c'ʌ/ и никак иначе. По мнению докладчиков, эта «правильная» последовательность заложена в подсознание с помощью школьных учебников. В другом докладе Е.М. Болычева обосновала мнение о том, что ориентация на букву – неотъемлемая часть языковой картины мира. В исследовании «Основания квантовой фонологии» Е.Ф. Киров (Москва) исходит из определения фонемы как «пучка» различительных признаков. Развивая идеи И.А. Бодуэна де Куртенэ, Р.О. Якобсона, В.А. Богородицкого, автор предпринимает попытку разделить артикуляционное и акустическое описание звуков, а также по-новому взглянуть на природу языкового знака как такового. И.Г. Добродомов (Москва) в своем докладе поставил вопрос об истоках и следах праславянской гортанной смычки, явления, вызывающего большой интерес в современной фонетике. По мнению ученого, именно конечная гортанная смычка после падения *ъ* и *ь* вызвала оглушение оказавшихся перед нею звонких шумных согласных. М.Б. Попов (Санкт-Петербург) рассмотрел традиции и проблемы сегментации речевого потока на фонемы в Щербовской фонологической школе. Сообщение Т.Е. Лешмановой (Москва) было посвящено взаимоотношению терминов «фонетика» и «фонология» МФШ и СПФШ. В докладе Д.Д. Беляева (Тула) описана процедура фонологического анализа для русского языка. Н. Лоуриц (Марокко) обратилась к проблеме адаптации французских заимствований в арабском языке. Отправной точкой исследования Г.М. Богомазова (Москва) «Эволюция роли слога в детской речи в области паралингвистической и лингвистической

фонетики» стала мысль о взаимодействии слога и ритмической структуры слова с системной организацией в целом.

Заседание секции «Сопоставительная фонетика» открыл доклад Е.Л. Бархударовой (Москва), в котором предпринята попытка анализа системы русского консонантизма по трем направлениям. Первое из них связано с разграничением универсальных, типологических и специфических черт фонетической системы, второе – с изучением соотношения вокализма и консонантизма, третье – с разделением языков на преимущественно парадигматические и преимущественно синтагматические. В докладе Г.Н. Шатиной (Санкт-Петербург) представлены результаты экспериментального исследования восприятия русских и английских словоформ и фонетических слов носителями китайского, английского, монгольского и русского. Данные эксперимента показали, что из компонентов, формирующих целостный образ иноязычной словоформы, лучше всего опознается ее слоговая структура и что лингвистический опыт испытуемых иногда способен «притуплять» перцептивную чувствительность носителей языка. К.И. Долотин (Москва) в докладе «Сравнительный анализ квазисегментной структуры речевых сигналов русской и китайской языковых систем» обосновывает необходимость поиска нового метода сегментации речевого сигнала, основанного не на системах единиц языка и речи, а на универсальности свойств речевых механизмов. В исследовании Е.А. Зобниной (Санкт-Петербург) ставится вопрос о том, на каких этапах обучения и с помощью каких методических приемов можно улучшить восприятие иностранцами новых для них русских слов. Для решения этого вопроса автор подробно рассматривает ошибки иностранных студентов, сделанные при восприятии незнакомых слов. Т.М. Белькова (Чебоксары) в своем выступлении охарактеризовала явления фонетической и интонационной интерференции в условиях русско-чувашского билингвизма. Главным тезисом доклада Э.Б. Яковлевой (Самара) «Контрастивное исследование специфики слухового восприятия звучащего многостороннего дискурса носителями разных культур» явилась мысль о том, что просодическая составляющая звучащего полилога выполняет функцию коннектора.

На заключительном пленарном заседании вспоминали ушедшую из жизни в марте 2007 года Л.В. Бондарко. Н.Д. Светозарова (Санкт-Петербург) рассказала присутствующим, насколько многосторонними были научные интересы Л.В. Бон-

дарко и насколько велик был ее вклад в изучение фонетики.

Р.Ф. К а с а т к и н а (Москва) в выступлении на тему «Компрессированные формы слов и фразовые позиции в русской речи» обратила внимание слушателей на то, что даже в кодифицированной речи присутствуют такие явления, как эллипсис гласных, согласных, целых слогов, и продемонстрировала, как степень компрессии зависит от фразовой позиции. От полных компрессивов, испытывающих в слабых фразовых позициях максимальную компрессию, Р.Ф. Касаткина предложила отделять частично компрессированные формы, испытывающие в слабых фразовых позициях неполную компрессию.

В докладе «Организация речевого дыхания при чтении текста» О.Ф. К р и в н о в а (Москва) обращается к одному из наименее изученных аспектов речевого производства. Автор обосновывает мнение о центральной роли пропозиции – клаузы в процессах порождения, понимания и озвучивания текста.

Исследование И. Ф у ж е р о н (Франция) «*Сам/сама* и другие» посвящено анализу употребления местоимения *сам* как в темо-рематических структурах (где местоимение функционирует в роли темы, являясь ее базовым элементом), так и в полностью рематических (где оно предшествует предикату и является носителем ядерного ударения).

Н.Д. С в е т о з а р о в а в докладе «Сверхполный тип произнесения и его отражение в тексте художественного произведения» выделяет несколько степеней перехода полного типа произнесения в сверхполный, в котором возможно неоднозначное определение нормативного состава фонем. Для каждой выделенной градации было приведено графическое обозначение в художественной литературе и авторские ремарки, указывающие на соответствующий тип произнесения.

В докладе «Ритмическая структура поэтической и прозаической речи» Е.А. Б р ы з г у н о в а (Москва) показала, что между поэтической и прозаической речью нет четкой границы, поскольку существуют такие структуры, как верлибр и стихотворения в прозе, которые так или иначе содержат элементы ритмизации. Е.А. Брызгунова подчеркнула, что в прозаическом тексте ритмизация может предопределяться порядком слов.

Л.Л. К а с а т к и н от лица авторского коллектива, в который входят также М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткина, представил доклад «Большой орфоэпический словарь русского языка: произношение и ударение», в котором рассказал о принципах составления этого нового словаря, способе подачи материала, системе помет. Новый словарь отличается от других словарей более детальным анализом орфоэпических явлений, а также включением таких явлений, которые ранее не рассматривались в орфоэпических словарях. Слушатели проявили большой интерес к докладу Л.Л. Касаткина, многие принципы составления словаря вызвали оживленную дискуссию.

Подводя итоги работы конференции «Фонетика сегодня», выступающие отметили, что научная значимость и актуальность тематики конференции были связаны как с дескриптивным аспектом фонетических исследований, так и с необходимостью решать при этом различные теоретические проблемы. Практическая значимость в первую очередь определяется задачами кодификации сегментных и просодических норм, при этом кодификационный процесс должен опираться на реальное произношение литературно говорящих людей разных поколений.

В.В. Тимофеев (Москва)